ФИЛИПП ВЕЙЦМАН



ТОМ 1,2

1981

ФИЛИПП ВЕЙЦМАН

БЕЗ ОТЕЧЕСТВА

ТЕЛЬ-АВИВ
1981

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ РУССКОГО ЕВРЕЯ

*Моей жене Сарре, моему другу и сотруднице,
без которой этот мой труд никогда бы не
видел света, и памяти моих родителей
я посвящаю эту книгу.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кто-то сказал: "Жизнь каждого человека достойна быть рассказанной"; а я еще прибавлю от себя: в особенности жизнь еврея.

Кажется Достоевский заметил, что чтобы быть автобиографом надо обладать непомерным эгоцентризмом. Если его замечание справедливо; если писание своей собственной биографии является действительно проявлением некоего эгоцентризма; то, в моем случае, этот эгоцентризм относится скорее ко всему нашему многострадальному народу, а, в особенности к его русской ветви, нежели к моей скромной персоне.

Конечно — я пишу о себе, иначе эта книга не была бы автобиографией; но, верьте мне, что если бы я близко знал жизнь другого русского еврея, жизнь более интересную нежели мою, ничем особенным не замечательным, то я, с радостью, согласился бы стать его биографом. К моему большому и искреннему сожалению я, близко, с таким евреем не знаком, и, следовательно, принужден писать о себе. Эта моя автобиография состоит из трех томов:

В первом томе я рассказываю историю моей семьи, протекавшей на фоне Истории с большой буквы; но я не историк, и потому прошу осведомленного читателя извинить меня за возможные ошибки или неточности.

В последних двух томах я, повествуя о себе, силюсь, главным образом, быть свидетелем наших дней, вследствие чего часто пишу о том, что всем моим современникам и без меня отлично известно.

Нет нужды!

В моем освещении текущих событий могут встретиться явные противоречия — они не случайны, но истекают из стремления честно отобразить все те настроения, симпатии и антипатии, которые я испытывал в каждую данную эпоху моей жизни.

Муссолини говорил: "Кто никогда не менял своих убеждений — их никогда не имел".

Красной нитью, лейтмотивом всей моей книги, проходит моя основная идея: Сионизм.

Эту мою книгу я назвал: "БЕЗ ОТЕЧЕСТВА".

Во всей, выходящей в Израиле, газетной и журнальной прозе, издаваемой на русском языке, я замечаю одну и ту же ошибку: смешение двух понятий: родины и отечества. Все они упорно называют Израиль нашей Родиной — Родиной русских евреев. Это, конечно, трогательно; но неточно. Родиной всякого человека является тот клочек земли, на котором он, действительно, родился. Счастливы те, для кого эти два понятия совпадают, что, впрочем, совершенно нормально для большинства людей на этом свете; но, увы! не для нас — евреев. Только для сабра Родина и Отечество тождественны.

Родина случайна; но Отечеством, т. е. землей наших отцов, был в веках Израиль, и Израиль им будет; где бы мы, по воле Всевышнего, не родились.

Мы, русские евреи, люди русской культуры, связаны с этой страной многими узами, как, вероятно, французский еврей является человеком французской культуры, английский — английской, и т. д.; но только сабра, говоря об Израиле, может воскликнуть: Родина — Мать! Для всех остальных наших братьев их родины суть только мачехи. Мачехой была для нас огромная, многонародная и многоязычная Россия.

Можно ли любить свою мачеху? Конечно можно; но такая любовь бывет редко взаимной. Жизнь людей вне их отечества, даже тогда, когда над ними не висит непосредственная угроза костров, погромов или газовых камер, все же проходит в условиях ненормальных, и если даже человек избежит физических пыток и насилий, то моральных ему их не избежать.

Увы! я замечаю, что эта простая истина, главным образом среди молодого поколения Диаспоры, но не только среди него, плохо сознается. Что же нужно еще нашему народу для осознания абсолютной необходимости иметь свой Дом, свое Отечество, если даже огонь и дым гитлеровских крематорий не убедил его в том?!

После всего вышесказанного прибавлю несколько слов о моем глубоком убеждении в том, что всякую родину можно и нужно, при первом удобном случае, менять на свое Отечество; но только на него. Никогда не следует менять родину на чужбину, за исключением, конечно, когда нам угрожает смерть или потеря свободы.

В этой моей книге, кроме всего прочего, я создал маленькую портретную галерею тех людей, с которыми мне пришлось столкнуться на моем жизненном пути. Такая галерея может быть интересна просто с общечеловеческой точки зрения.

Большинство личных имен я, конечно, изменил. Если кто-нибудь из читателей найдет в книге свое имя, или свой, не всегда лестный, портрет, то пусть он себе скажет, что это только досадное совпадение.

Лично о себе я стараюсь рассказать с предельной искренностью, может быть, иногда, и не в свою пользу.

В конце третьего тома я пишу о любимой женщине.

Еще одно последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил...

На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось событий полно
Волнуяся, как море-океан?
Теперь оно безмолвно и спокойно,
Немного лиц мне память сохранила,
Немного слов доходит до меня,
А прочее погибло невозвратно...
Но близок день, лампада догорает —
Еще одно последнее сказанье.

ПУШКИН (Борис Годунов)

ТОМ ПЕРВЫЙ

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

Державин.

Реки времен струи бурливы;
Но смерть не может победить.
Как наши предки, в нас, все живы,
Так мы в потомках будем жить.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мои отдаленные предки

Каждый человек, как и каждая нация, неразрывно связан со своим прошлым. Чтобы понять жизнь или быт целого народа, как и поведение одного человека, надо знать его историю.

Я происхожу от тех пастухов, которые, во тьме тысячелетий, пасли свои стада между Тигром и Ефратом, с одной стороны, и Нилом с другой. Их водили вожди-патриархи. Один из них, по имени Авраам, был моим предком, и ему обязано человечество первым понятием о Боге Едином.

Позже, гонимые засухой и голодом, его внуки и правнуки перешли Нил и попали в рабство к Египтянам, и в течении нескольких веков строили им пирамиды и храмы. Кончились века рабства, и их свободным потомкам Господь вручил, через Моисея, свои Священные Скрижали.

Вот кем были мои самые отдаленные предки.

Позже они стали воинами — завоевателями, земледельцами и строителями: победно воевали при Давиде и возводили Храм Всевышнему при Соломоне.

Предки мои, в вавилонском плену, остались верными Богу и Отечеству и вернулись к себе возводить стены Второго Храма, а их внуки сражались в рядах Маккавеев.

Пришли римские стальные легионы, покоряя все на своем пути. Новый завоеватель был непобедим, но и против него восстали потомки Великих Патриархов, ибо беспредельно верными и безрассудно смелыми были они.

Долго и упорно бились они за Святой Город, доколе не заплясало, в их расширенных от ужаса и отчаянья зрачках, отражение пламени горящего Храма.

Пал Иерусалим, сгорел Храм, но и тогда еще эти герои не сдались, и уже в безнадежной борьбе защищали последнюю твердыню Иудеи: твердыню Масады. Масада пала когда уже некому было сражаться за нее, и римские легионеры нашли на ее вершине одни только трупы. Долго еще восставали потомки славных защитников Иудеи, но их силы иссякли. Еще раз им сверкнула надежда при императоре Юлиане; но он был убит, и для них начались черные века изгнания.

Предки мои потеряли все, переплыв Средиземное море, но сохранили от гибели свою незыблемую Веру, и вечную верность Сиону.

То, что потеряв все материальные ценности они сумели сохранить ценности моральные, не могли им простить другие народы, среди которых, теперь, они были вынуждены жить, и за это их превратили в гонимых и презираемых парий. Потомки воинов Давида и Иуды Маккавея заслужили прозвание жалких трусов, ибо они не умели в чужих землях, и среди чуждого и враждебного им населения, одному против тысяч хорошо вооруженных и "смелых", закованных в сталь, воинов, и "благородных" рыцарей, бороться голыми руками, защищая от них своих жен и детей.

Многие из моих соплеменников пытались осесть в Италии, в Испании и в Византии, но мои прямые предки пошли на восток. Может быть, привыкнув на него молиться, они бессознательно искали там их потерянное Отечество, и сожженный Храм. Так или иначе, но в этом своем продвижении они проникли в Германию. Горько им пришлось на немецкой земле! Тем не менее много веков прожили они на ней, и даже усвоили ее язык. Теперь их собственный язык мои предки стали употреблять только в молитвах и при чтении Торы. Шли века, но для них ничего не менялось, и, гонимые окружавшим их населением, они медленно продолжали продвигаться к востоку, и перешли Эльбу. Средние века приближались к концу, но преследования все возрастали и, наконец, сделались непереносимыми. За восточными рубежами Неметчины простиралась большая страна — Польша, и это в ее двери постучались гонимые странники. Был четырнадцатый век. В то время, в Кракове, на польском престоле, сидел король Казимир Третий (Великий). Он широко открыл двери своей страны, и мои предки вновь двинулись на восток, и осели в Польше надолго.

Шли годы, умер король Казимир, и гонения возобновились. Некоторые из моих соплеменников повернули к теплому югу и

достигли богатой Украины. Там они хлебнули столько горя, сколько не хлебали еще ни разу. Попав между молотом и наковальней: между Польшей и враждующей с ней Украиной, они были избиваемы и теми и другими.

Явился Богдан Хмельницкий, и отделив свою страну от Польши, передал ее России. До сих пор еще памятны богдановы погромы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Мои прадеды.

К счастью для моих прямых предков, они не прельстились теплым и богатым югом, и оставаясь на севере, продолжали свое медленное продвижение к востоку. В начале восемнадцатого века, эти последние достигли Пинских болот. Там их застали войска Суворова. После раздела Польши, дед моего прадеда попал под державу "матушки" Екатерины Второй, и по ее повелению, как и все евреи, был должен выбрать, по своему желанию, себе фамилию. Он, подобно всем своим соплеменникам, выходцам из Германии, говорил на все том-же, однажды усвоенным ими старонемецком наречии. Этот язык был назван Идыш, и хотя перетерпел некоторые изменения, но, в основе, сохранил свои немецкие корни. Мой предок выбрал себе фамилию, на этом языке, и будучи торговцем пшеницей назвал себя: Вейцман (Пшеничный человек). Один из его внуков, по имени Моисей, был моим прадедом. Он много путешествовал, вероятно, по своим торговым делам. Во время одного из таких своих путешествий, мой прадед познакомился в Варшаве с зажиточной и религиозной еврейской семьей, и посватался к их дочери Хене (по-русски ее звали Женя). Ему тогда было лет двадцать пять, а его молодой жене — около тринадцати. В скором времени, по неизвестной мне причине, он навсегда покинул Пинскую область, и двинувшись на юго-восток, достиг побережья Азовского моря. Там, в городе Таганроге, на рубеже Украины и Области Войска Донского, он окончательно поселился, и остался в нем до самой своей смерти. Население в этом городе было богатое и разнородное: русские, греки, армяне; но евреев там было мало. Границы Украины лежали недалеко, но в окружавших Таганрог деревнях-станицах проживали донские казаки, и антисемитизм, в нем, был менее чувствителен.

Я знаю, из рассказов моих родителей, передавших это со слов моей прабабки, что ей, после свадьбы, обрили голову и надели чепец (вероятно семья была несколько хасидского толка). Во дворе дома, в котором они проживали, была навалена горка песка. В свободное время она убегала во двор, и несмотря на свое звание замужней женщины, снимала, со своей головы чепец, сыпала в него песок, и играла с ним. Она была еще совершенным ребенком. Все это не помешало ей родить моему прадеду двух сыновей: Иосифа и Давида, и дочь Рахиль. Рахиль Моисеевна умерла рано, не оставив после себя потомков. Их второй сын, Давид Моисеевич, был моим дедом. Мой прадед, Моисей Вейцман, умер в Таганроге в 1876 г. в возрасте приблизительно семидесяти пяти лет.

* * *

Моя прабабка Хеня умерла в 1907 году, девяносто трех лет отроду. Последние годы своей жизни она провела в семье своего второго сына, Давида Моисеевича, окруженная глубочайшим уважением его семьи. Когда старушка входила в комнату, все присутствовавшие при этом вставали со своих мест, и она сама не садилась до тех пор пока кто-нибудь, чаще всего ее сын, не придвигал ей стул. Удобно расположившись в своем кресле, моя прабабка проводила целые дни за чтением Библии на древнееврейском языке, и до глубокой старости регулярно посещала синагогу и исполняла все законы нашей религии. Однако не надо думать, что при всем этом она была ханжой; ей не чуждо было некоторое чувство юмора. Однажды один из ее внуков, Миша, будущий присяжный-поверенный, вольнодумец и шутник, застав ее за чтением Святой Книги, сказал ей: "Бабушка, что это вы все читаете Библию и молитесь? Все это пустяки и ничего нас, после нашей смерти, не ожидает". Она добродушно усмехнулась: "Ой, маловер, маловер! Ну положим, что ты и прав, так чем-же я рискую? Ну, а если я права? что-же тебе тогда будет на том свете?" И беззлобно засмеявшись, она вновь принялась за прерванное чтение.

Умерла она накануне Рош Ашана (еврейского нового года). Уже несколько дней, как ее одолевала слабость. Дня за два до праздника к моему деду зашел кантор городской синагоги. Она обрадовалась этому случаю и попросила кантора, ввиду того, что вероятно ей будет трудно пойти самой в синагогу, после Богослу-

жения зайти к ней и пропеть ей одну из молитв. Из уважения к старушке кантор согласился. Настал праздник. Вечером она легла спать, не жалуясь ни на какое особенное недомогание. Спала моя прабабка в одной комнате со своей внучкой Рахилью. Ночью она разбудила Рахиль и попросила ее помочь ей встать для своих надобностей. Рахиль подняла ее, но старушке было трудно двигаться. Однако, хотя и не без труда, внучке удалось и поднять и уложить свою старую бабушку, которая сказала, что теперь хочет уснуть, повернулась на бок, подложила руку под щеку и закрыла глаза. Смотрит на свою бабушку внучка, и не спокойно у нее на душе. Вышла она из комнаты, и тихо позвала своих родителей. Давид Моисеевич подошел к своей матери, взглянул на нее и промолвил: "Она спит"; но его жена, Софья Филипповна, посмотрев попристальней, возразила: "Нет, Давид, я боюсь, что она не спит; позови немедленно доктора". Глубокой ночью был позван домашний врач, наш отдаленный родственник. Он пришел немедленно, и после краткого осмотра старушки, подняв голову сказал: "Дай нам всем, Бог, такую смерть: свеча догорела".

На утро, после Богослужения, еще ничего не зная, пришел кантор. Услыхав о смерти моей прабабки, он промолвил: "Жива она или нет, но я свое слово сдержу", и он пропел моей, уже мертвой, прабабке, обещанную молитву. Суеверные соседки утверждали, что такой смерти может удостоиться только святая, и разорвали на куски ночную сорочку, в которой она скончалась. Эти кусочки материи должны были им служить амулетами. Ровно через год, жена Владимира, одного из внуков покойницы, родила дочь на той-же самой кровати, на которой скончалась его бабка. Роды были довольно трудные, и дочка шла с ручкой, подложенной под щечку, в той самой позе, в какой умерла ее прабабка Хеня. Эту девочку назвали в честь ее прабабки, Женей. Позже многие из моих двоюродных братьев и сестер носили ее имя.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Родители моего отца: Давид Моисеевич и Софья Филипповна.

Отец моего отца, Давид Моисеевич Вейцман, родился в городе Таганроге в 1850 году. Он был вторым сыном Моисея Вейцмана.

По окончанию религиозной еврейской школы (хедер), он умел не только читать и писать по древне-еврейски, но и говорить, читать и писать по идыш. Так как в Таганроге большинство населения было русское, то и на этом языке он писал и объяснялся не плохо. Не будучи очень религиозным, вне дома он ел все, и жил жизнью окружавшего его населения; но в своем собственном доме он строго исполнял все предписания Торы. Мой дед был умен, активен и обладал решительным характером.

В то время, в Таганроге проживала другая еврейская семья, по имени Гольдберг.

Филипп Моисеевич Гольдберг был родом из Риги. Его отец занимался там кустарным производством шапок и картузов. Его дела, по-видимому, шли не плохо, и семья жила безбедно. Еще молодым человеком Филипп Моисеевич приехал в Таганрог, и там женился на девушке из богатой, еврейской семьи коренных таганрожцев, по имени Болоновы. Гольдберг был одним из главных основателей и строителей нашей городской синагоги. Я ее хорошо помню, эту большую и красивую синагогу, построенную при участии моего прадеда. В одну из стен молитвенной залы была вделана мраморная доска. Перед ней день и ночь горела неугасаемая лампада. Выгравированная на доске золотыми буквами надпись, гласила:"Такого-то числа, месяца и года, посетивший проездом город Таганрог, Император Александр Второй, со своей свитой в день субботний, удостоил синагогу своим посещением, и прослушал в ней все Богослужение". Еврейская община Таганрога помнила этот жест Царя-Освободителя.

Филипп Моисеевич Гольдберг, чье имя я ношу, был, по воспоминанию его современников, очень почтенным евреем. В 1876 году, мой дед, Давид Моисеевич, влюбился в одну из его дочерей, в красавицу Софию, и попросил ее руки; но получил отказ. Несмотря на их явную взаимную склонность, родители молодой девушки не одобряли этого брака. Весьма вероятно, что всякий другой на месте моего деда, душевно переболев положенный срок, смирился бы перед непреодолимой преградой воли родителей невесты, и наверное, позже подыскал бы себе другую подругу, но предположить подобное мог только тот, кто плохо знал моего деда и его непреклонный характер. Продолжая тайком встречаться со своей любезной, он, в конце концов, уговорил ее с ним бежать. Организатором Давид Моисеевич был не плохим, и продумав все детали, он без больших помех, привел свой

план в исполнение. На перекор желанию родителей молодой,свадьба состоялась. В этом самом году умер Моисей Вейцман, а 13 июля (7 июля по старому стилю) 1877 года, у молодых родился первенец, и по нашему обычаю, ему дано было имя покойного отца мужа: Моисей. Этот первенец был моим отцом. Всего у моего деда, родилось семеро детей: Моисей, Арон, Владимир, Иосиф, Михаил, Виктор и Рахиль. Через несколько лет семью посетило большое горе: Арон перевернул на себя самовар и погиб.

Моя бабка, Софья Филипповна, была в молодости очень красивой, по крайней мере так о ней рассказывала моя другая бабка, с материнской стороны, урожденная Болонова, и приходившаяся ей родной теткой. Она рано поседела и к тридцати годам была совершенно белой, что ей очень шло. Я ее помню, конечно, уже старушкой: полной и седой дамой, но и в старости она казалась красавицей. Для своего времени Софья Филипповна была чрезвычайно образована, ибо окончила несколько классов русской женской гимназии, что в ту эпоху, для еврейской девушки было большой редкостью. Характера она была мягкого, и находилась в полном подчинении у моего деда. Он был прекрасным семьянином: любящим и верным мужем и горячим отцом, но обладал несколько деспотичным характером. В его доме все ему безусловно подчинялись, а дети перед ним трепетали. И то сказать: семья большая, а мальчиков пять человек.

* * *

Таганрог (Таганий Рог), возвышается на кривом, как ятаган полуострове, вдающимся в море. Город вырос вокруг старой крепости, воздвигнутой еще Петром Первым (Великим), во время его войны с Турцией, за Азов. До сих пор существует загородняя роща, место праздничных прогулок таганрожцев, именуемая Дубками, насаженной по преданию самим Основателем. Крепость стояла на острие этого рога, т. е. на самом мысе. Из нее шел подземный ход тянувшийся на пятнадцать верст до другого загородного парка, носящего странное название: Карантин. Вероятно, на его месте, некогда находился карантин. Стены крепости давно исчезли, но подземный ход сохранился, по крайней мере до моего отрочества. Я хорошо помню большую, всегда запертую, ведущую в него дверь. На самом мысе стоит маяк, и вокруг него был разбит маленький сквер, но до сих пор весь этот район носит назва-

ние Крепости. Вот в этой самой ''Крепости'', в одной из ее тихих уличек, в конце девятнадцатого века жил мой дед, Давид Моисеевич со своей, довольно многочисленной семьей. Позади дома находился большой двор общий для нескольких домов, как и большинство дворов моего родного города. В другом доме, выходившем в тот-же двор, жил старший брат моего деда: Иосиф Моисеевич. У него тоже было пять сыновей и одна дочь Нюра.

Когда все эти мальчуганы выбегали вместе во двор, то дело редко обходилось без драки и проказ. Одна немолодая русская женщина, проживавшая в том же дворе, при виде всей этой ватаги, горестно восклицала: ''Опять набежали эти проклятые Вейцманята, что то теперь будет?!''

Моя бабушка по мягкости своего характера не была в силах справляться с буйными своими сыновьями. Единственным оружием для поддержания порядка ей служила одна и та же угроза: ''Вот подождите до вечера, вернется отец, я ему все расскажу''. Угроза неизменно действовала, мальчишки притихали, а главный виновник норовил лечь спать, до прихода родителя.

Когда мой дед, садясь с семьей за вечернюю трапезу, был чем либо недоволен, он начинал нервно барабанить пальцами по столу. Этого одного было более чем достаточно: все бледнели и затихали, не исключая и бабушки. Он, потомок древних патриархов, в своей семье был таким же как они, но перед своей престарелой матерью, с глубочайшим почтением, как перед царицей, склонялся мой дед.

Семья была не бедная, но и не богатая. Давид Моисеевич совместно со своим старшим братом, Иосифом Моисеевичем, открыли мебельный магазин, но торговля в нем шла вяло.

Я хорошо знал Иосифа Моисеевича Вейцмана, моего двоюродного деда. В то время он был уже стариком, благообразным и седым, с большой белой бородой; все его внуки и внучатые племянники дали ему прозвище: Дедушка Мороз. Глубоко верующий еврей, он проводил почти все свое время в молитвах и над Талмудом. В отличии от него, мой дед кипел энергией, которая находила себе исход в общественной деятельности: он был одной из колон таганрогской, еврейской общины, и без него не проходили никакие выборы; к его мнению прислушивались. Итак, мой дед отдавал большую часть времени интересам общины и синагоги, а мой двоюродный дед в это самое время заседал в ней за изучением Талмуда. Я до сих пор не могу себе ясно представить,

как вообще могла идти торговля в их магазине, но она все же шла, и скромное суденышко, брошенное на волю Бога своими двумя капитанами, хотя и кренясь набок, и скрипя всеми своими снастями, продолжало плыть вперед, среди зыбей океана торговых предприятий. Конечно, семья жила безбедно, но скромно.

Как-то раз, быть может по случаю продажи или покупки мебели, мой дед познакомился с одним русским богачем, Николаем Петровичем Семеновым. Он был простым таганрогским купцом, нажившим миллионы, но совершенно неграмотным. Кроме очень крупных сумм, лежащих на его имя в банках, ему принадлежали в городе несколько домов. Семья этого купца состояла из двух женатых братьев-сапожников, таких же неграмотных как и он, но бедных.

Помогал ли он или нет? сказать не могу. Сам он женат не был, но уже многие годы сожительствовал с одной женщиной, которую все звали Ивановна. Мой дед близко сошелся с этим купцом, и они стали встречаться каждый день. Человеком он, вероятно, был в своем роде весьма интересным, ибо, даже в те времена, нужно было обладать недюжим умом, чтобы при полной безграмотности нажить миллионы. Мой дед в свободное время помогал ему во всем, что касалось всяких формальностей, столь необходимых при ведении коммерческих дел, и читал ему в слух газету. Так как все эти услуги мой дед оказывал ему совершенно бескорыстно, то, в конце концов, господин Семенов почувствовал к нему настоящую дружбу.

В восьмидесятых годах прошлого века, в то время как над Таганрогом стояла июльская жара, во всем приазовском крае разразилась очередная эпидемия холеры. Многие умерли тогда от этой ужасной болезни, и одной из ее жертв оказался несчастный Семенов. Ночью он почувствовал себя плохо и на другой день, в мучениях, но при полном сознании, скончался. Ясно сознавая, что умирает, он потребовал к себе священника и моего деда. Оба, хотя и не без опаски, пришли к нему. В редкие минуты, когда страдания его немного отпускали, он диктовал им обоим завещание, которое они засвидетельствовали своими подписями. Братьям он оставил несколько миллионов и пару домов, Ивановне — пять смежных домов с большим, прилегающим к ним двором, а моему деду он завещал сто тысяч рублей, лежавших на его текущем счете в одном из местных банков. Бедняга очень боялся, чтобы после его смерти, как нибудь, не обидели его друга, и уми-

рая повторял священнику: "Так не забудьте, Батюшка, Давиду Моисеевичу я оставляю 100.000 рублей". После его смерти воля покойного была свято исполнена — за этим смотрел священник. Мой дед получил 100.000 рублей, и дела его сразу поправились.

Рассказывали, что жены братьев умершего, после того как их мужья унаследовали по паре миллионов каждый, передрались из-за нескольких лубочных картинок, висевших на стене.

* * *

Говорят: "Малые дети — малое горе, большие дети — большое горе".

Пока братья и кузены носили короткие штанишки, избегая во дворе их родного дома: дрались, проказничали и наводили тоску на благомыслящих соседок-старушек, неприятности из-за них у моего деда были малые. Все обыкновенно кончалось разбитым носом, оконным стеклом, или загнанной курицей в помойную яму. Как и все дети, они иногда болели, но все обходилось благополучно. Только память о бедном Арончике омрачала эту, довольно спокойную жизнь. Но дети росли, и пока они превращались в юношей, менялся весь тысячелетний быт. Впервые за многие века общественно-политическое движение стало проникать в среду еврейской молодежи. Сестра моей бабушки, Ева Филипповна Гольдберг, училась на акушерских курсах, когда, 1 марта 1881 года, был убит Александр Второй. В заговоре Желябова, Перовской и других она, конечно, прямого участия не принимала, но что им сочувствовала, в этом никто не сомневался, и, быть может, состояла членом партии Народной Воли. Мой дед что-то подозревал, и как только пришла весть об этом преступлении, немедленно ей телеграфировал: "Выезжай, отец присмерти". Она примчалась в Таганрог, очень рассердилась, однако осталась дома до тех пор пока все не улеглось. Курсы она все же окончила, и вышла из нее классическая акушерка-либералка восьмидесятых годов; тип вошедший в русскую литературу. Для нашей семьи она была первой ласточкой.

Воцарился в России Александр Третий, а с ним воцарилась реакция. Сошли со сцены: Лорис-Меликов, Милютин, Ростовцев и другие деятели годов "Великих Реформ"; их всех заменил Оберпрокурор Святейшего Синода, недоброй памяти, Победоносцев. О нем сложились шуточки, вроде:

Победоносцев при Синоде;
Обедоносцев при Дворе;
Бедоносцев при народе;
И доносцев при царе.

Но сам Победоносцев отнюдь не шутил, и плохо приходилось всем, а в особенности евреям. Царь-"Миротворец" пил; Победоносцев правил Россией, обещая украсить все столбы при дороге между Петербургом и Москвой гроздями повешенных революционеров, и утверждая, что евреев следует систематически избивать, и тогда, по его словам: "Одна треть будет убита, другая убежит навсегда за границу, а третья перейдет в православие".

Пил царь, удушал страну Победоносцев, а граф Игнатьев сочинял свои "Временные правила". "Гнать и гнать и гнать его!", — писал об этом министре поэт Минаев.

Можно ли удивляться, что еврейская молодежь, сломившая в девятнадцатом веке во всем западном мире стены гетто; на рубеже двадцатого века, даже в отсталой России, не могла примириться с подобным режимом. Увы! беря пример с русской молодежи, они для себя избрали ложный путь. Один за другим молодые евреи делались социалистами.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Братья моего отца.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Владимир

Первым из нашей семьи, вступившим в партию социал-демократов, был Владимир, третий сын моего деда. Это был чистый и восторженный идеалист. В то время, по словам его русских друзей, своей внешностью он напоминал Христа.

Умер от пьянства Александр Третий, и на отцовский трон взошел его злополучный сын, Николай Второй. Реакция продолжалась, но власть ослабела. Около 1900 года у нас на юго-востоке был открыт какой-то серьезный заговор. Мне незнакомы его подробности. Начались аресты. Попался и мой дядя Владимир Давидович. Таганрог в то время принадлежал к Екатеринославской губернии, и потому всех участников заговора отправили в екатеринославскую тюрьму. Для их суда была созвана специальная су-

дебная сессия Палаты. В момент его ареста моему дяде было около девятнадцати лет. Для дедушки это событие явилось большим ударом, а бедная бабушка много плакала. Такого горя они неожидали, но несмотря на сильный испуг, как во всех случаях своей жизни, Давид Моисеевич духом не пал, а, напротив, решил действовать. Узнав все нужные подробности дела, он с первым поездом отправился в Екатеринослав просить приема у губернатора. Надо признаться, что начальник губернии принял его быстро и был с ним любезен. Давид Моисеевич произнес перед губернатором целую речь в защиту своего сына, и сумел доказать, что этот последний еще очень молод, и почти ни в чем не повинен. Губернатор ему поверил, и обещал распорядиться об освобождении неосторожного юноши. Дедушка вернулся в Таганрог успокоенный и ободренный. На следующий день после своего возвращения домой, открывая утреннюю газету, первое, что ему бросилось в глаза — было жирным шрифтом напечатанное на первой странице сообщение об убийстве социалистами-революционерами екатеринославского губернатора. Как карточный домик, рухнули все надежды. При создавшихся обстоятельствах предпринимать было больше нечего.

Собралась чрезвычайная сессия екатеринославской судебной Палаты, и приговор ее был немилостив. Не знаю какое наказание понесли главные зачинщики заговора, но что касается моего дяди, то он был сослан, без лишения прав, в Сибирь на многие годы.

"...................................
"В телеге той сидит, с осанкою победной,
Жандарм, с усищами в аршин;
А рядом с ним, какой-то бледный,
Лет в девятнадцать, господин".

Писал в середине прошедшего века Некрасов. И еще:

"Возле лица молодого, прекрасного,
С саблей усач-негодяй.......
Брат, удаляемый с поста опасного,
Есть ли там смена? Прощай!"

Я люблю Некрасова, но по правде сказать, колебался прежде чем привести эти стихи; уж очень наивными кажутся они сегодня. Но и в наивности есть своя правда. Для революционной молодежи, жившей на гране двух веков, добрая половина их настроений состояла из романтики самопожертвования из стихов Некра-

сова и других передовых поэтов, и из песен, вроде "Варшавянки":

"Вихри враждебные веют над нами,
Черные силы нас злобно гнетут,
. . . .

Чтож! мы с высоты нашего горького опыта последних шести десятилетий, глядя на недалекое прошлое, вправе улыбаться, слушая слова Варшавянки и других гимнов тех времен. Не такие еще вихри нам были суждены, и не такие еще черные силы нас угнетали, и гнетут до сего дня. Что тут поделаешь? Поколение моего отца не могло того знать, и упивалась романтикой революции. "Как приятно страдать!" — сказал, с присущим ему едким юмором, Ленин.

"Мрет, что ни день, с голодухи, рабочий.
Станем ли, братья, мы дольше молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид Эшафота пугать?"

Варшавянка.

Еврейская молодежь, как и русская, пьянела от подобных фраз. Пребывая в течении восемнадцати веков в стенах разных гетто, и вырвавшись наконец из хедеров, талмуд-тор и других институтов узкого традиционного воспитания, она не нашла сразу своей собственной дороги. С бьющимся от восторга сердцем, кинулась она, как и ее русские сверстники, вслед за призраком свободы. Куда вела и привела та дорога русскую молодежь — это не наша забота, но еврейскую молодежь она не привела никуда.

Итак мой дядя оказался в далекой Сибири под надзором полиции. Много слез пролили его родители. К счастью он сам был молод и предприимчев, а соскучившись в ссылке решил бежать. Надо было быть очень смелым, сильным и здоровым человеком, чтобы предпринять подобное путешествие: ибо путь был немалый, дорога опасная, а идти приходилось пешком. Еще раз вспоминается Некрасов:

"На воле рыскают кругом
Там только варнаки".
. . . .

Был в Восточной Сибири обычай: крестьяне на ночь ставили за околицей их сел и деревень еду и питье для беглых, и таким образом, эти последние не беспокоили мирных жителей. Так и проби-

рались беглецы, днем укрываясь в лесах, от деревни к деревне. Может быть также и пробирался в Россию мой дядя. Сколько времени он потратил на то, чтобы достигнуть Европейской России, я не знаю, но достигнув ее, мой дядя расхрабрился, и купив на оставшиеся карманные деньги железнодорожный билет третьего класса, доехал поездом до родного города. Первого, кого он увидел на таганрогском вокзале при выходе из вагона, был местный полицмейстер Джапаридзе. Этот последний знал моего дядю еще ребенком. В первый момент оба замерли от удивления и неожиданности, но пол минуты спустя Джапаридзе завопил на весь вокзал: "Володька, стой!" и кинулся за ним, с явным намерением исполнить свой долг, то есть арестовать беглеца. Мой дядя побежал, а Джапаридзе за ним. На перроне, по которому они бежали, стоял чей-то чемодан, и полицмейстер, споткнувшись об него, растянулся во весь рост. Легко представить, что мой дядя не стал его дожидаться, и когда тот поднялся, беглеца и след простыл. Мой дед, конечно, знал о бегстве своего сына, и поспешив укрыть его в надежном убежище, стал дожидаться визита полицмейстера. Ждать пришлось недолго — через двадцать минут он уже звонил у парадной двери дедушкиной квартиры.

— Давид Моисеевич, только что на вокзале я встретил вашего Володьку.

— Что вы говорите, господин Джапаридзе? Этого не может быть! Мой сын, как вы знаете, находится в ссылке в Сибири.

— А я вам повторяю, что только что видел на вокзале вашего Володьку.

— Почему же, господин полицмейстер, вы его не задержали?

— Почему? — взревел Джапаридзе, — я погнался за ним, да чей-то проклятый чемодан стоял на перроне; я споткнулся о него и упал, а ваш сын тем временем скрылся.

— Вы хорошо сделали, господин Джапаридзе, что споткнулись, — хладнокровно резюмировал мой дед. Джапаридзе был прекрасным человеком, посердившись для вида, он ушел, и серьезных розысков не предпринял.

Скажу несколько слов и о нем:

В 1905 году, когда волна еврейских погромов, организованных царским министром Дурново, прокатилась по всей России, и достигла Таганрога; в ответ на секретное предписание Министерства Внутренних Дел об устройстве в городе погрома, Джапаридзе созвал еврейскую молодежь, роздал им оружие, и поставил их на

дороге, по которой должны были пройти организованные черносотенскими агентами, погромщики. Сам он не достаточно доверял боевой способности молодых евреев, построил сотню казаков, и во главе их стал позади еврейской самообороны. При виде вооруженных юношей и конных казаков громилы разбежались. Таганрогский погром тем и кончился, но с ним кончилась и карьера Джапаридзе.

Не долго продолжалась радость свидания родителей со своим сыном; мой дядя, снабженный деньгами и фальшивым паспортом (об этом позаботился местный комитет Партии), сопровождаемый благословлениями и слезами своих родителей, уехал за границу, и благополучно добрался до Лондона. Дедушка регулярно снабжал моего дядю деньгами, и жить ему там было нетрудно. Дяде Володе шел 21-й год. Приближался призывный срок. В следствии этого он находился перед дилеммой: вернуться в Россию, предстать перед призывной комиссией и... очутиться в тюрьме за бегство из ссылки; или остаться в Лондоне и быть обвиненным в дезертирстве. После подобного обвинения возврат в Россию делался невозможным. За дезертирство полагался военный суд, грозивший дисциплинарным батальоном. По этому поводу интересно и грустно отметить какой, увы, регресс произошел в человеческих отношениях со времен, мною описываемого случая. Когда приблизился законный срок, мой дядя отправился в Русское Посольство в Лондоне, и там чистосердечно изложил свое дело, в результате чего Посольство ему выдало следующее свидетельство:

"Предъявитель сего, верноподданный Его Императорского Величества, Владимир Давидович Вейцман, уроженец города Таганрога, Екатеринославской губернии, мещанин иудейского вероисповедания, проживающий в настоящее время в Лондоне, по состоянию своего здоровья на военную службу призван быть не может, и должен рассматриваться как белобилетчик. О чем, основываясь на результате медицинского осмотра, свидетельствует Русское Императорское Посольство в Лондоне". Следуют подписи и печати.

Один из двух экземпляров этого свидетельства был им немедленно послан в военный округ, к которому принадлежал Таганрог. Нужно ли прибавить, что мой дядя, легко перенесший трудности бегства пешком через всю Сибирь, отличался недюжим здоровьем? Возможно ли сегодня что-либо подобное, не только в теперешней России, но и на Западе? Много плохого было в про-

шлом, но тогда еще чиновник не всегда бывал помесью человека с машиной, и при исполнении закона не превращался в автомата.

Прожив после этого в Лондоне еще около года, дядя все с тем же фальшивым паспортом, на имя какого-то православного мещанина, выданного ему Партией, вернулся в Россию. Конечно, он не мог показаться в Таганроге, где все его знали, и потому отправился прямо в Петербург. Перед своим арестом и ссылкой мой дядя уже служил в таганрогском отделении Азовского Банка. В Петербурге находилось центральное управление этого банка. Дядя пошел к самому директору, и рассказав ему все о себе попросил принять на службу. Его временно приняли в петербургское отделение под чужим именем. Об этом последнем обстоятельстве никто кроме директора ничего не знал. Немного спустя, вероятно в следствии каких-то политических амнистий, Владимир Давидович вернулся в Таганрог уже под своим настоящим именем, и занял прежнее место в таганрогском отделении Азовского Банка. Легко себе представить счастье и радость его родителей. Вскоре мой дядя женился на одной еврейской девушке (тете Лене), еще более отчаянной революционерке, чем он.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Иосиф.

Четвертым сыном моего деда был Иосиф. Дядя Йося окончил коммерческое таганрогское училище, и уехав в Феодосию поступил там на службу в какой-то банк. Он оказался очень исполнительным и честным служащим. Это был человек скромный, и политикой не только не занимался, но и не интересовался ею. Он рано женился на очень милой женщине (тете Тане). Она была зубным врачом и имела в Феодосии приличную практику. Вскоре у них родился их единственный сын: Михаил. Дядя Йося был прекрасным семьянином.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Михаил.

Пятым сыном моего деда был Михаил. О Михаиле Давидовиче стоит поговорить по подробней.

В детстве он был порядочным сорванцом, и нередко являлся домой с разбитым носом и порванными штанишками. Однажды, после очередной проказы, бабушка посадила его в чулан, и заперла дверь на ключ. Все было бы прекрасно: правосудие торжество-

вало, и юный преступник должен был просидеть два часа в темном чулане, месте своего предварительного заключения до прихода его отца, и неминуемого наказания. Первые десять минут Миша кричал и плакал, но потом затих. Спустя некоторое время моя бабушка забеспокоилась: что это Миша сидит слишком тихо. Увы! она забыла, что чулан был далеко не пуст, и служил для хранения разных домашних лакомств. Достав ключ и отперев дверь чулана, она замерла на пороге: мальчик сидел на ящике и с аппетитом ел вишневое варенье. Держа банку в одной руке, он вытаскивал пальцами другой ее содержимое, и был весь перепачкан сладким, розовым соком. Наслаждение было столь сильно, что даже грозящая ему расправа мало смущала лакомку.

* * *

По словам моих родителей, Миша был мальчиком живым и умным. Мой дед поместил его, как и других своих сыновей, за исключением моего отца, в коммерческое училище. Он готовил их всех, как и большинство евреев той эпохи, к торговой деятельности; но с самого начала Миша учился плохо. К этому времени увлечение революционной деятельностью в среде учащейся молодежи приняло характер эпидемический, и сделалось чем-то вроде кори. Большая часть этой молодежи переболела ею. К счастью, или к сожалению, но это увлечение, как и настоящая корь, было не серьезно и длилось недолго. Редко кто оставался революционером на всю свою жизнь. Кончали курс учения, начинали карьеру и обзаводились семьей. Все эти новые интересы были мало совместимы с революционной деятельностью.

В одной из своих поэм, поэт Минаев описывает банкет злых сил. Каждая из них, поочередно, встает и произносит речь. Настала очередь Пошлости. Подняв свой бокал она обратилась к "высокому" собранию, со следующей речью:

"Юношей пылких, готовых со злом
Смело бороться, идти на пролом,
Кровь охлаждаю я видами:
Близкой карьеры, и дальних степей,
Или волную гораздо сильней:
Минами, Бертами, Идами.

Смотришь: из юношей преданных мне,
Мужи солидные выйдут вполне:
С весом, с дипломом, с патентами.
Ну, а мужей, и особенно жен,
Я утешаю, с различных сторон;
Кантами, бантами, лентами,
Шляпками, тряпками, черт знает чем
Тешу, пока успокою совсем
Мужей,покрытых сединами;
С тем чтоб согреть их холодную кровь:
Фетом, балетом, паштетом и вновь:
Идами, Бертами, Минами".

В нашей семье первой жертвой увлечения революционными идеями, как я уже рассказывал выше, был мой дядя Володя. Но он оказался единственным исключением, и не поддавшись на соблазны Пошлости, остался на всю свою жизнь верен идеалам своей молодости. Шел, недоброй памяти, 1904 год. Гремели орудия на Дальнем Востоке; пылал Порт Артур; блестала на светских раутах, всеми своими драгоценностями, прекрасная француженка, Балетта, и тонул у острова Цусимы русский военный флот. В России начали вспыхивать забастовки и крестьянские беспорядки. Приближался 1905 год. Одна из таких экономически-политических забастовок вспыхнула и на таганрогском металлургическом заводе.

Сидит мой дедушка в своем мебельном магазине и ждет покупателей. Вдруг дверь отворяется и на пороге появляется грозная и разгневанная фигура полицмейстера Джапаридзе.

" — Давид Моисеевич, только что я был на металлургическом заводе; рабочие бастуют, и знаете ли вы кого я там видел?

— Как я могу знать, господин Джапаридзе, — возражает мой дед, — я не выходил сегодня весь день из моего магазина и на заводе мне делать нечего.

— Так я вам скажу, уважаемый Давид Моисеевич, кого я там видел: вашего Мишку. Этот паршивец держал речь к забастовщикам, и призывал их к сопротивлению. Я прогнал его домой, но если это повторится, и вы, как отец, не примите надлежащих мер, то в следующий раз я его собственноручно и при всем честном народе высеку моей нагайкой. Вы предупреждены".

Мой бедный дедушка понял, что новая катастрофа грозит его семье, и решил действовать не тратя времени.

В то время мой отец служил в Феодосии, во французской торговой фирме "Луи Дрейфус и Компания".

Пользуясь желанием Миши, им неоднократно выражаемым, бросить коммерческое училище, и экстерничать на аттестат зрелости, Давид Моисеевич решил послать его в Феодосию с сопроводительным письмом к моему отцу. Таким образом, Миша в спешном порядке был удален из Таганрога. Мой отец купил дяде Мише необходимые пособия, и нанял учителей; но без большой веры в успех. Однако, к удивлению всей семьи, Миша взялся за учение рьяно. Экстерничать за восемь классов классической гимназии было делом нешуточным; но дядя смело засел за изучение латинских склонений и спряжений, с их правилами и исключениями. Зубрит латынь мой юный дядя, временно забыв о Карле Марксе, а между тем седая История, склонившись над своей бесконечной летописью, и обмакнув свое гусиное перо в неиссякаемые чернила, начинает писать новую главу.

1905 год: Поп Гапон и 9 января; московское восстание и "сухопутный" адмирал Дубасов тонущий в его кровавых волнах; граф Витте старающийся удержать власть в своих руках; первая всероссийская забастовка и образование в Петербурге эфимерного рабочего правительства; Царь, дарующий России запоздавшую на пол века, конституцию и еврейские погромы организованные министром внутренних дел Дурново.

Мог ли дядя спокойно продолжать изучение речей, которые две тысячи лет тому назад, Цицерон произносил в стенах римского сената? Когда в России, а не в Риме, и сегодня, а не в далеком прошлом, по царскому указу созывалась Государственная Дума, и торжественно провозглашались все гражданские свободы: свобода слова, свобода собрания, свобода печати, свобода совести, свобода! свобода! И вот в первый же день опубликования Манифеста, перед городской феодосийской думой, окруженный такими же как и он молодыми социал-демократами, мой дядя произнес перед изумленной толпой восторженную речь.

Как приятно! как изумительно, опьяняющи приятно! сознавать, что ты свободный гражданин, и вправе выражать перед всеми, и обо всем свое личное мнение. Кончились времена, когда он, юный пророк счастливого будущего, боялся нагайки какого-то Джапаридзе. Пусть бы теперь попробовал! Теперь ему, Мише, нечего страшиться: он прав, и закон на его стороне. К вечеру того же дня, и к счастью для него, мой дядя уже сидел в тюрьме. Офи-

циально, он и его товарищи были обвиняемы... в устройстве еврейских погромов. В тюрьме он пробыл пару месяцев, и вышел из нее худой, грязный и вшивый; но очень довольный собой. В кутузке он побратался с каким-то опасным преступником, и в знак их вечной дружбы они обменялись картузами. Дома пришлось его раздеть догола, и все, что было на нем, не исключая и картуза бандита, сжечь. Сам он постригся, побрился, и выпарился в бане, и только после этого был допущен в среду цивилизованных людей.

В этом веселеньком, хотя и сомнительном, приключении заключалась для моего дяди вся Революция 1905 года. Вскоре он выдержал экзамен на аттестат зрелости, на круглое четыре, по всем предметам кроме русской грамматики (по этой последней он получил три с минусом), и вернулся к своим родителям в Таганрог. Вероятно, пользуясь еще неулегшейся волной освободительного движения, он, без особого труда был принят на юридический факультет харьковского университета. В том же году, и при том же университете, на первый курс медицинского факультета поступила молодая таганрогская девушка, из зажиточной еврейской семьи, по имени Анна Моисеевна Минкелевич. Молодые люди познакомились. На зимние ваканции мой дядя приехал к своим родителям в Таганрог. Анна Моисеевна поступила так же. Как всегда это случается — время ваканций пронеслось быстро. За несколько дней до их окончания, мирно беседуя со своим отцом, мой дядя вдруг выпалил:

Папа, я женюсь. Сделай, пожалуйста, для этого все нужные формальности, и как можно поскорей.

Мой дедушка ожидал всего от своего Миши, но в этом случае он все же опешил:

– Ты женишься?!

– Да.

– На ком? Кто твоя невеста?

– Анна Минкелевич. – Партия была не плохая.

– Ну и женись, за чем дело стало?

– Но, папа, я хочу жениться немедленно, еще до моего отъезда в Харьков.

– Почему же ты мне этого раньше не сказал? И вообще, что это такое? Жениться, не предупредив твоих родителей. Где это видано?

Молчит сынок, и только улыбается. Мой дед был одним из столпов еврейской таганрогской общины, и, что было мало воз-

можно для других, для него оказалось делом довольно легким. Через несколько дней Миша женился и уехал с молодой женой в Харьков продолжать учение. Женитьба не помешала моему дяде окончить юридический факультет в положенный срок. Иначе поступила его молодая жена. Тетя Аня, выйдя замуж, немедленно бросила университет.

* * *

По окончанию курса мой дядя приписался к одному довольно крупному таганрогскому присяжному-поверенному, и начал при нем свой стаж помощника.

Первое крупное гражданское дело, порученное ему его патроном, было очень запутано и кляузно. Какой-то русский богатый купец тягался из-за весьма крупной денежной суммы с другим, подобным ему, "вашим степенством". Мне незнакомы подробности этого дела, да и навряд ли они могут представлять теперь какой-либо интерес. Несомненно только то, что каждое из "степенств" старалось всеми силами "надуть" другое. Моему дяде было поручено защищать интересы одного из них, и он блестяще выиграл дело. Львиная доля немалого гонорара перепала, конечно, его патрону; но и дядя заработал на нем немало. Это дело положило начало материального благополучия молодого адвоката, и дало ему веру в свои профессиональные способности. Несмотря на все свои таланты, будучи только помощником, он зарабатывал значительно меньше, чем ему бы хотелось; и потому, закончив свой стаж, мой дядя немедленно приписался к адвокатскому сословию, и сделался присяжным-поверенным. Присяжный-поверенный Михаил Вейцман! Однако, как это могло случиться? По законам Российской Империи, сохранившими свою силу и после провозглашения "куцой" конституции, еврей присяжным-поверенным быть не мог.

Раз как-то тетя Аня рылась в ящиках дядиного письменного стола. Она была ревнива, и не без основания, и, вероятно, искала там женские любовные письма. И вот, вместо женского письма, тетя натыкается на дядин новенький паспорт, в котором, черным по белому было написано, что: предъявитель сего паспорта является православным из иудеев. Тетя была близка к обмороку. По возвращении дяди из суда, она подвергла его самому строгому допросу. Дядя признал себя виновным в инкриминированном

ему преступлении, но в оправдание себе произнес целую защитительную речь, в которой старался доказать, что без крещения всякая серьезная карьера была для него закрыта, и, что этот акт ничто как пустая формальность никого и ни к чему не обязующая, и т. д. Не знаю, убедил ли он тетю? Рассказывают, что один из досужих куманьков, встретив однажды на улице моего деда, ехидно его спросил:

— Давид Моисеевич, знаете ли вы, что ваш Миша крестился?

На что мой дед ему очень сухо ответил:

— Нет, этого я не знаю и знать не хочу.

Думается мне, однако, что в душе он страдал немало. А какого было моей бедной бабушке?! Вскоре у моего дяди родился сын — первенец. Он был крещен по православному обряду, и при крещении наречен Юрием. Мой двоюродный брат: Юрий Вейцман — урожденный православный.

Между тем дела дяди пошли, как говорится, в гору. Он быстро сделался довольно известным таганрогским адвокатом, и поселился в новой, фешенебельной квартире, в центре города, на Николаевской улице. Я помню эту квартиру. Мое ребяческое воображение поражала высокая зеркальная дверь, ведущая в спальню.

Для иллюстрации талантов моего дяди, приведу один нашумевший "пикантный" случай из его адвокатской практики:

Некий молодой человек, из хорошей, но небогатой, семьи, с недавних пор проживал в Таганроге. Жил он одиноко, в небольшой комнате, нанимаемой им у одной таганрогской мещанки. Он учился, готовясь к какому-то экзамену, и получал регулярно, от своих родителей из Ейска небольшое денежное пособие, позволявшее ему прилично существовать. Был он юношей тихим и скромным. Где и чем молодой человек питался в течении дня я не знаю, но он сговорился с одной казачкой — молочницей, чтобы та приносила ему по утрам кварту молока. Однажды, в осеннее ненастное утро, когда на дворе хлестал дождь, и улицы покрывала непролазная, черноземная грязь; вместо дебелой и несколько рябой бабы, ему принесла молоко ее двадцатипятилетняя, довольно миловидная, дочь. Наследив на полу своими грязными полусапожками, и налив кварту молока, она внезапно села на кровать, и расстегнув свой корсаж, предложила себя ему. Он был очень молод и не осторожен, о человеческих подлостях думал мало, а девица была аппетитная. Когда все было закончено, как казалось, к обоюдному удовлетворению, эта казацкая Мессалина,

внезапно обратилась в древнеримскую Лукрецию, и начала вопить на весь дом, что он ее изнасиловал. Прибежала хозяйка квартиры, сошлись все соседи, явился городовой. Несчастный молодой человек был арестован, и посажен, несмотря на его отчаянные отрицания, в таганрогскую тюрьму, по обвинению в изнасиловании молодой, хотя и совершеннолетней, девицы. Впрочем, эта последняя дала ему понять, что если он на ней женится, или заплатит ей некую крупную сумму, то она возьмет обратно свое обвинение. Это был самый классический шантаж. Бедняге грозили десять лет каторги, с полным поражением всех прав состояния. Только что начавшаяся жизнь должна была быть навсегда разбитой. Несмотря на весь ужас такого будущего, он не мог решиться жениться на подобной особе, а крупными денежными суммами его семья не распологала. Дело поступило в уголовную секцию Таганрогского Окружного Суда, и велось при закрытых дверях. Мой дядя был назначен защитником обвиняемого.

С самого начала приговор не вызывал никакого сомнения. Мать ''пострадавшей'' вопила; сама ''пострадавшая'' плакала навзрыд, и рассказывала как обвиняемый кинулся на нее, повалил ее на постель, зажал ей рот и обесчестил. Нанятый ими адвокат, а за ним и товарищ прокурора, призывали к отомщению попранной невинности, описывали, в ярких красках, моральные страдания обеих молочниц, требовали от суда примерного наказания гнусного насильника. Присяжные заседатели, в большинстве своем отцы семейств, думая о своих женах, сестрах и дочерях, угрюмо молчали. Что мог сказать в свое оправдание бедный молодой человек? Да и кто бы ему поверил?... Во время слушания дела мой дядя попросил разрешение задать ''пострадавшей'' пару вопросов:

— Скажите, сударыня, — начал он, — очень ли грязно было на улице в то несчастное утро?

— Да, очень грязно: шел проливной дождь, — прерывая рыдания ответила ''пострадавшая''.

— И войдя в комнату к обвиняемому вы, конечно, наследили ногами на полу?

— Не понимаю к чему эти вопросы? — плаксивым голосом ответила девица.— Как было не наследить? Я уже вам сказала, что на улице была страшная грязь.

— Больше у меня к пострадавшей вопросов не будет, — заявил мой дядя.

Во время допроса квартирной хозяйки, вызванной в суд в качестве свидетельницы, мой дядя спросил ее: была ли выпачкана уличной грязью простыня на постели обвиняемого.

— Нет, простыня уличной грязью выпачкана не была.

— Уверены ли вы в этом?

— Вполне.

После громовой речи обвинителей, настала очередь защиты. Дядя встал:

"Господа Присяжные Заседатели, вы все слышали, что сказала пострадавшая: на улице была непролазная грязь, и она, войдя в комнату к обвиняемому, запачкала своими полусапожками весь пол. С другой стороны, хозяйка квартиры категорически утверждает, что постельная простыня, этой самой грязью, запачкана не была. Следовательно, господа Присяжные Заседатели, пострадавшая, когда она, по ее собственным словам, была грубо повалена насильником на постель, довела свою деликатность до того, что дабы не запачкать простыни, сняла свои полусапожки.

Господа Присяжные Заседатели, я знаю — вы думаете о ваших дочерях, могущих сделаться жертвой гнусного насилия; но подумайте так же о ваших сыновьях, которые могут стать жертвой, подобно обвиняемому, еще более гнусного шантажа".

Молодой человек был оправдан, и ему было предложено преследовать, законным порядком, мать и дочь, за попытку шантажа и клевету. Он отказался.

* * *

Мой дядя обзавелся солидной практикой и разбогател. Грядущее благополучие рабочего класса; Равенство, Братство, Свобода; Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом; все это, понемногу, отошло в область юношеских бредней, и стало забываться.

Как-то раз сидел мой дядя в своем кабинете, в котором он принимал клиентов, рассматривая деловые бумаги. Постучавшись вежливо в дверь, вошел один из его помощников и доложил, что в приемной сидит некий Заречный, и хочет видеть моего дядю по личному делу. Кто такой был Заречный дядя не помнил. В кабинет вошел бедно одетый и небритый господин лет тридцати с небольшим, и с открытым видом радостно бросился к дяде.

"Здравствуй, товарищ; вот как ты устроился! Настоящий буржуй! Помнишь как мы работали вместе, в подпольном ко-

митете нашей партии, подготовляя забастовку на металлургическом заводе?"

Мой дядя теперь вспомнил Заречного, горячего революционера и хорошего товарища. Но, что ему, собственно, надо? Дядя сделал кисло-сладкую мину.

"А, это ты! Как я рад тебя видеть! Садись вот в это кресло. Не стесняйся, садись. Ну, что нового в Партии? Я, ты знаешь, отошел от активной работы. Слишком много дел. Очень занят. Совершенно не имею свободного времени даже для своих друзей. Целый день работаю: то выступаю в Суде, то принимаю, вот в этом самом кабинете, надо сказать, довольно многочисленных моих клиентов. Что делать! Кто не работает тот не ест; а у меня: жена, сын. Однако, товарищ, пять минут для тебя у меня найдутся. Чем могу служить?"

Бедного Заречного, как холодной водой окатили. Он пробормотал едва слышным голосом, что только вчера вышел из тюрьмы, и находится в затруднительном положении. Дядю передернуло.

— Тебя никто не видел, товарищ, когда ты шел ко мне?

— Кажется, нет.

— Сколько тебе нужно, на первых порах?

Бедняга назвал очень скромную сумму. Дядя дал ему больше названной цифры, и быстро выпроводил его из кабинета. Заречный ушел грустно покачивая головой.

* * *

Маленький Юра заболел; от самого своего рождения ребенок отличался слабым здоровьем. На этот раз у него оказались какие-то трудности при мочеиспускании. Врачи принуждены были сделать ему обрезание. И так, на третьем году жизни Юрика, совершилось то, что должно было бы иметь место через неделю после его рождения, и в порядке религиозного обряда.

Я очень смутно помню Юру. Однажды я был у него "на елке". Помню как Юрик декламировал, стоя у этой самой елки, какой-то детский стишок.

Дядя был вольнодумец и атеист; но это вынужденное обрезание его смутило.

Прошло еще два года. Однажды я играл в садике, при нашем доме в Геническе, а моя мать сидела на веранде, и одним глазом читала какой-то роман, а другим глазом смотрела на меня. Вдруг

я увидел моего отца, быстро идущего через сад, с взволнованным лицом, и с распечатанным письмом в руке.

"Нюта, я только что получил коротенькое письмо от Миши: Юрочка умер."

Мальчику было четыре с половиной года, когда он заболел дизентерией. В самом начале болезни чего-то не досмотрели, и лечили недостаточно серьезно, а когда спохватились, то оказалось слишком поздно. Кажется — в том была виновата, ходившая за ним, гувернантка. Что касается тети Ани, то она прямо обвиняла дядю, говоря, что это Бог покарал их. Как бы там не было, но позже, уже в 1917 году, у них родился второй сын. Ему дали имя, в честь прабабки Хени, Евгений. В то время рухнула Российская Империя, а вместе с ней рухнули, и превратились в прах все ее постоянные законы и временные правила. Второму сыну сделали обрезание, в положенный Моисеем срок, и приобщили его к вере предков. Сам дядя забросил свое свидетельство о крещении, и по большим праздникам стал посещать синагогу. Мальчик рос сильным и здоровым.

Да вынесет каждый, из всего выше сказанного, заключение по своему личному вкусу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Виктор.

Младшего брата моего отца звали Виктором. Он поступил в коммерческое училище, и окончил его весной 1907 года. К этому времени он, подобно двум своим старшим братьям, Владимиру и Михаилу, вступил в партию социал-демократов, и сделался довольно активным ее членом. После 1905 года Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия Меньшивиков была официально разрешена; но хранение и распространение революционной пропаганды преследовались строго. Началась столыпинская реакция.

Однажды, летним вечером 1907 года, вся семья сидела вокруг стола и ужинала. На своем почетном месте восседала, уже близкая к концу своего длинного жизненного пути, моя девяностолетняя прабабка Хеня. Час был не ранний, и раздавшийся на парадном крыльце звонок всполошил всю семью. Дедушка встал, и торопливыми шагами направился к двери. "Кто там?" Ответ был краток: "Отворите — жандармы". Новая туча нависла над

мирным домом моего дедушки. Через поспешно растворенную дверь вошел голубой жандармский офицер, в белых перчатках, а за ним — три жандарма. Приложив руку к козырьку, и оглядев всех присутствовавших, он вежливо осведомился:

"Кто здесь Виктор Давидович Вейцман? — Дядя Витя поднялся со своего места. — Молодой человек, соберите свои самые необходимые пожитки, и следуйте за мной, вы арестованы. — Потом, обратившись к остальным присутствовавшим, "голубой" офицер проговорил: — Простите, господа, очень сожалею, но по долгу службы я вынужден приказать, подчиненным мне жандармам, произвести обыск. Будьте любезны указать мне комнату Виктора Давидовича".

Комната была ему указана, и пока дядя Витя собирал все необходимое, жандармы производили в ней самый тщательный обыск. "Голубой" офицер остался в столовой. Увидя древнюю старушку, бывшую не в силах скрыть своего беспокойства, он приблизился к ней, и ласково спросил:

— Бабушка, вы испугались? Чего вам бояться?

Умная старушка, побеждая внутреннее волнение, ответила этому господину:

— Я нисколько не боюсь, господин офицер; чего же мне бояться? Мой внук ни в чем не повинен, и это, несомненно, простая ошибка".

Жандармский офицер усмехнулся, и отойдя от моей прабабушки, стал ждать окончания обыска. К счастью обыск не дал никаких результатов. Все же мой дядя был арестован, по обвинению в распространении запрещенной пропаганды, судим и приговорен к девяти месяцам тюремного заключения.

В 1840 году, поэт Лермонтов, ссылаемый на Кавказ, писал:

"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей".

В это самое время, когда мой дядя отсиживал положенный срок в одной из камер тюрьмы города Екатеринослава, куда он

был переведен после суда, его двоюродный брат, Абрам Иосифович Вейцман, сын Иосифа Моисеевича, старшего брата моего деда, отбывал, в том же городе, воинскую повинность. По несчастному совпадению, он был поставлен часовым при этой самой тюрьме, и случайно узнал, что его двоюродный брат заключен в ней. Быть тюремщиком своего брата он не мог. Несмотря на страшный риск попасть под военный суд, он покинул свой пост часового. Естественно, что Абрам Иосифович был арестован и предан этому самому военному суду. Ему грозил дисциплинарный батальон. На сей раз судьи оказались людьми с умом и сердцем, и приняв во внимание повод побудивший часового покинуть свой пост, приговорили его к довольно длительному заключению в военной тюрьме,... и только. По сравнению с угрожавшим ему наказанием, такое заключение было пустяком.

Когда дядя Витя, после отбытия своих девяти месяцев екатеринославской тюрьмы, вернулся домой, то, к счастью для всей семьи, он успокоился, и вскоре женившись, занялся коммерцией. В последствии у него родились трое детей: две дочери и сын: Валя, Женя и Зоя. Этих моих двоюродных братьев я знал очень мало. Дядя Витя был честнейшим и добрейшим человеком; но страстным коммерсантом. В жизни, конечно, можно соединять в себе все эти качества; но их совокупность богатства не порождает. Почти все коммерческие начинания моего дяди кончались неудачей, ибо он верил всем, и всякий, кому было не лень, обманывал его. Но устройством в России будущего социального рая он больше не занимался.

ГЛАВА ПЯТАЯ: Рахиль.

Тетя Рахиль, или тетя Роза, как называли ее племянники, была самым младшим ребенком в семействе моего деда. Он очень желал иметь дочь, а у бабушки рождались одни сыновья. Наконец, самой последней, родилась моя тетя, которой было дано имя, рано умершей сестры дедушки, Рахиль. Дедушка, как говорится, в ней души не чаял. Нянча ее он любил напевать арию из оперы "Жидовка": "Рахиль, ты мне дана небесным Провиденьем". Строгий со своими сыновьями, ей он прощал все. В результате такого воспитания, из Рахили вышла довольно избалованная девочка. Однако она окончила семь классов женской гимназии, и посту-

пила на зубоврачебные курсы, которые тоже окончила, но никогда не практиковала. Миловидная, хотя жеманная, она, во время своего пребывания на зубоврачебных курсах, познакомилась со студентом — медиком: Ароном Лазаревичем Ришес, и по окончанию их вышла за него замуж. Дядя Арон окончил медицинский факультет с отличием, и получил от университета, в виде премии, набор медицинских инструментов. В последствии он сделал блестящую карьеру, а после Революции получил профессорскую кафедру и место главного врача железнодорожной, симферопольской больницы.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Два двоюродных брата моего отца.

У Иосифа Моисеевича, старшего брата моего деда, было пять сыновей и одна дочь, Нюра. Одного из них, по имени Арнольд, я лично хорошо знал. Но теперь я расскажу о двух других: Моисее и Дмитрие.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Моисей.

Моисей Иосифович Вейцман был, несомненно, самым интересным и симпатичным из всех двоюродных братьев моего отца. В возрасте, в котором большинство его родных и двоюродных братьев делались социал-демократами, и не жалея ни себя ни своих родителей, кидались, сломя голову, в борьбу за лучшее будущее России и ее рабочего класса; он один, оставив избитую дорожку, ясно осознавал за что молодому еврею стоит и нужно бороться, и сделался горячим сионистом. Вскоре, примкнув к крайнему крылу этого движения, он вступил в ряды сподвижников Владимира Жаботинского. В конце 1919 года, в возрасте 26 лет, он заболел сыпным тифом и умер.

Да будет светла его память!

ГЛАВА ВТОРАЯ: Дмитрий.

Чтобы закончить веселой нотой описание семьи моего отца, я расскажу теперь историю женитьбы Дмитрия Иосифовича Вейц-

мана. В 1913 году Дмитрий был призван на военную службу. Недурной собой, интересный и образованный, он как-то познакомился с дочерью своего полковника и влюбился в нее. Чувство, испытываемое им к молодой девушке, оказалось взаимным, и она открылась во всем своему отцу. Полковник, человек передовых взглядов, являясь редким исключением в среде военных той эпохи, к евреям, ни вражды, ни снисходительного презрения не чувствовал. Он разрешил своей дочери привезти в дом молодого солдата, и представить его ему. Дмитрий Иосифович полковнику понравился, и было решено, что по окончанию военной службы он крестится и женится на дочери своего начальника.

Настал 1914 год. Грянула война. В доме полковника был спешно созван "военный" совет, состоящий из полковника, председательствовавшего на нем, его жены, его дочери и ее жениха. Вынесенное на нем решение, как и вообще решения всех военных советов, до времени держалось в глубокой тайне.

За неделю до отправления на фронт своего полка, полковник сделал ему торжественный смотр.

Полк весь в сборе, со знаменем впереди. Солдаты застыли в "смирно". Явился командующий полком, окруженный своими офицерами, а с ним и его дочь. Музыка, барабаны. Полковник произносит высоко-патриотическую речь, призывая всех присутствующих пролить свою кровь, и лечь костьми, за Матушку Россию и Батюшку Царя. Гремит гимн. Вдруг, из серых солдатских рядов, выходит Дмитрий Иосифович, и прямо подойдя к дочери своего полковника, целует, при всех, ее в губы. Какой ужасный скандал! Какое грубое нарушение дисциплины! Попраны все правила приличия, и это все в столь высокопатриотический момент! Виновник был немедленно арестован, и через пару дней, еще до отправки полка на фронт, предан военному суду. Председательствовал грозным трибуналом, судившим недисциплинированного воина, сам полковой командир. Приговор, на страх всем будущим виновникам подобных актов, отличался редкой жестокостью:

"Провинившийся рядовой, Дмитрий Вейцман, своим непростительным поведением, и не соблюдением самых простейших правил военной дисциплины, объявляется недостойным носить оружие и защищать Матушку Россию и Батюшку Царя, а потому Военный Трибунал постонавляет: немедленно переключить виновного из полка действующей армии в такую-то военную кан-

целярию, в глубокий тыл, где он будет принужден служить в качестве простого писаря, до самого окончания войны". Так ему и следует!

Вскоре он крестился и женился на дочери своего бывшего полковника.

Брак был счастливым.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Родители моей матери.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Мой дед.

Отец моей матери, Павел Михайлович Цейтлин, родился в 1849 году, в городе Бахмуте, в самом сердце Донецкого Бассейна. Происходил он из очень бедной еврейской семьи, и с ранней своей юности был принужден зарабатывать на жизнь. О таких как он, людях, говориться, что они учились на медные деньги, но по правде сказать, мой дедушка на свое образование за всю жизнь не истратил и медного гроша. Впрочем, в детстве его обучили еврейским молитвам, но этим и ограничился весь пройденный им курс наук.

Совсем еще молодым он покинул Бахмут, где для него не имелось работы, и приехав в Мариуполь, сделался приказчиком, при хлебных амбарах, в порту. Быть может, в начале своей карьеры, он был простым грузчиком. В возрасте двадцати трех лет он поступил на службу к некому Чебаненко, богатому хохлу, оптовому торговцу зерном. У этого последнего он прослужил, в качестве приказчика, ровно сорок пять лет, т. е. до самой Революции. К этому времени, по словам моего отца, он сделался редким, по глубине знания, специалистом зерна.

Мой дед, Павел Михайлович, был рыжеват, приземист и коренаст. В чертах его лица, и во всей его осанке было что-то монгольское. В молодости он отличался редкой физической силой и бесстрашием. Мои родители утверждали, что он одной рукой гнул подковы. Моя мама рассказывала, что когда какой-нибудь подозрительный шум пугал ночью женских обитателей их мариупольского дома, он один, с голыми руками, выходил проверять причину тревоги. Их дом находился на окраине города, вблизи тюрьмы, из которой нередко убегали опасные преступники.

Однажды утром, после одной из таких ночных тревог, были найдены, около самого дома, арестантские одежды, оставленные там беглецом.

Какого происхождения была семья моего деда? Когда и откуда прибыли его предки в страну шахт и к отлогим берегам Азовского моря? Никто на эти вопросы ответить не сможет. Известно только то, что предки моего деда, с незапамятных времен, жили на дальних окраинах Малороссии. Вероятней всего они были Хазарами: древними властителями юговосточных степей теперешней России. Быть может, что в жилах моего дедушки текли капли крови и печенегов, и половцев, и татар. Как я уже сказал выше, мой дед не получил никакого образования, но обладая не только громадной физической силой, но и редкими способностями, толкаясь в мариупольском порту между моряками и рабочими, он выучился говорить на нескольких языках. В двадцать лет он умел молиться по- древнееврейский, понимая дословно смысл молитв, говорил, читал и писал по-идиш, и по-русски, и по-украински, и бегло объяснялся по-немецки и по-ново-гречески. В то время, на всем юге России проживало немало немцев-колонистов и греков. Кроме филологических способностей, у моего деда были, несомненно, еще и математические. Эта склонность к точным наукам существовала, по-видимому, в его семье, так как один из его племянников сделался впоследствии профессором математики при Московском Университете.

Однажды, тетя Берта, вторая сестра моей матери, вернувшись из женской гимназии, в которой она училась, и просидев безрезультатно битых два часа над алгебраической задачей, пришла в отчаяние. Мой дедушка, заметив беспомощное состояние своей дочери, предложил ей показать ему задачу. Берта рассмеялась:

— Папа, да ведь это алгебра; ты в ней ничего не поймешь.

— А ты все-таки покажи мне ее, — настаивал мой дед. — К какому дню ты должна приготовить этот урок?

— К завтрашнему утру.

— Ладно.

Дедушка всю свою жизнь много курил, и имел обыкновение вставать среди ночи и расхаживать по комнате взад и вперед с папиросой в зубах. На этот раз его ночная прогулка длилась дольше обыденной, и вместо одной папиросы он выкурил две. Утром Берта встала рано с целью в последний раз попытаться решить

эту проклятую задачу. Но только что она села за свой стол, как явился ее отец.

— Не трудись, дочка, твоя задача уже решена: вот результат, а вот как ее следует решать.

К величайшему удивлению и радости моей тети решение было правильное.

Родившийся в еврейской религиозной семье конца первой половины девятнадцатого века, и получивший, в качестве своего единственного образования, знание молитв и обрядов, мой дед, как это не странно, был полным и убежденным атеистом. Когда кто-нибудь заговаривал с ним о Боге, и о возможности существования загробной жизни, он неизменно отвечал:

"Не рассказывайте мне глупостей; я отлично знаю, что будет со мной после смерти: трава вырастет на моей могиле и больше ничего".

Каким образом он сделался атеистом? Кто мне это объяснит? Может быть тут играла роль то, о чем говорил один французский мыслитель:

"Если бы я был круглым невеждой, то веровал бы как бретонский крестьянин; если бы я получил некоторое образование, то наверное, отстал бы от веры, и сделался бы, быть может, атеистом; но если я, продолжая учение, достиг бы высших степеней знаний, то вернувшись к Богу, стал бы веровать в Него, как бретонская крестьянка".

Да простит меня тень моего деда, память которого мне бесконечно дорога, и которого я глубоко уважал и любил; но думается мне, что атеизм свойствен многим самоучкам. Однажды, уже отцом довольно многочисленного семейства, в угоду своей очень религиозной жене, накануне праздника Пасхи, мой дед раскладывал по углам дома кусочки хлеба (хамец), а после, с молитвой, их собирал и сжигал в печке. Двое из его дочерей, совсем еще маленькие девочки, в их числе и моя мать, ходили за ним по пятам. Вдруг он остановился, и обращаясь к ним сказал:

"Глядите, девочки, на эту комедию: я раскладываю кусочки хлеба только для того, чтобы их собрать и сжечь. Для чего это? Одна сплошная комедия".

Невежественный человек решил бы, что в этом акте заключается таинственная сила; или просто: "Так приказал Господь". Мой дедушка понимал, что никакого тут колдовства нет, и, что Господь не приказывал раскладывать кусочки хлеба; но он не

знал, что такое символ, и какая сила кроется в нем. Как, порой, из-за раскрашенной тряпицы, именуемой знаменем, люди способны идти на смерть, и почему кусочки сжигаемого хлеба, являются мощным призывом для религиозного еврея к реальному очищению от всех накопившихся у него за год грехов.

В своей молодости мой дед разделял жизнь приказчиков и рабочих мариупольского порта. В тот период своей жизни он, по выражению Гоголя, любил: "хорошо поесть, а еще больше попить, а еще больше повеселиться". Это была очень широкая натура, и думается мне, что свою первую молодость он провел довольно буйно; но, к счастью для него, характером он обладал тоже черезвычайно сильным. В одну из пьяных пирушек, в которых он участвовал, с ним что-то случилось. Что именно — я никогда не смог узнать, но он сказал себе: "Баста! Больше никогда, до самой моей смерти, я не возьму в рот даже капли спиртного", и он сдержал свое слово. В то время у него было какое-то сильное любовное увлечение, о нем я тоже ничего не знаю. В 1875 году, в возрасте 26 лет, он познакомился с девушкой из богатой, еврейской, таганрогской семьи Болоновых, и женился на ней.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Моя бабушка.

В год ее свадьбы, моей бабушке, Софье Михайловне Болоновой, шел двадцать первый год. В противоположность своему мужу она была черезвычайно религиозной, почти фанатичной еврейкой. Получив очень ограниченное домашнее образование, она все же, кроме молитв, умела читать и писать по идиш, и бегло объяснялась по-русски. Моя бабушка строго исполняла все 613 предписаний и запретов Торы, и посещала регулярно синагогу. Супруги нежно любили друг друга, и эта любовь давала каждому из них возможность быть снисходительным к другому. Мой дедушка проводил в молитве и посте весь святой день Ем Кипура, бывал в синагоге по всем большим праздникам, и в первые два дня Пасхи устраивал у себя седер. В домашней кухне соблюдался строгий кашер. Вне своего дома дедушка ел все, и любил, грешный человек, полакомиться свининой. Его внук, пишущий эти строки, унаследовал от него такой греховный вкус. Бабушка отлично знала об этом, но не протестовала: "Вне дома пусть себе ест, что хочет". Все же, однажды, она сказала ему:

— Павлуша, ну что за еда — свинина? Какой в ней может быть вкус? Просто гадость!

— Как ты можешь это говорить? — рассмеялся дедушка, — ведь ты ее никогда не ела. Попробуй ее поесть — очень вкусно.

Бабушка не сердилась. Не сердилась она и на то, что дедушка, по субботам, не ходил в синагогу, а вместо молитв целый день курил.

Однажды она, в компании моей другой бабушки, Софьи Филипповны, доводившейся ей родной племянницей, гостила у моего дяди, Владимира Давидовича. Им обеим отвели комнату с двумя кроватями, над которыми на стене висела репродукция картины какого-то великого итальянского художника эпохи Возрождения. На этой картине был изображен Христос. Надо сказать, что дядя Володя уважал Христа, в его исторической перспективе, и утверждал, что он был одним из первых социалистов человечества. Кем-то вроде предтечи Карла Маркса. Софья Филипповна, мать моего отца и дяди, сразу поняла сюжет этой картины, но ничего не сказала своей очень религиозной тетке. Наутро, проснувшись и разговорившись, она спросила Софью Михайловну: знает ли та, кто изображен на картине, под которой они обе провели ночь. Нет, конечно, она этого не знала: картина как картина, и все тут.

— На ней изображен Христос.

— Что, что?! — Тетка испуганно уставилась на свою племянницу. — Идол? Да, что это?! Твой Володя с ума сошел, или, чего доброго, крестился?

Мать моего отца смеялась от всей души, и старалась объяснить, что висящая на стене картина отнюдь не икона, а репродукция знаменитой картины гениального художника, что это есть искусство, и т. д. Не думаю, однако, что племянница убедила свою тетку.

Моя бабушка, Софья Михайловна, не любила, в русской семье, ни есть, ни пить. Помимо вопроса о молочной и мясной посуде, и некашерном мясе, она была убеждена, что у всех "гоев" всегда немного грязно. И вот эти два, такие противоположные в своих убеждениях, существа, какими были родители моей матери, связанные любовью, и беспрерывно уступая один другому, прожили вместе очень счастливо, свыше пятидесяти лет.

— Павлуша, почему ты не пойдешь молиться в будущую субботу? Не только все мужчины, но даже все дамы будут в синагоге.

— Поговорим о твоих дамах, — отвечает дедушка. — Приходит с опозданием какая-нибудь Ципа Абрамовна и спрашивает соседку: "Что, уже плачут?" "Да, уже плачут", и она начинает: "а...а... а...". Ведь вы, дамы, когда молитесь, то смысла молитв совершенно не понимаете.

— Ну уж ты, известный раввин!

У них была соседка, по имени Шмеерхович — страшная грязнуха. Однажды, за несколько дней до Пасхи, стоя у своего окна, бабушка смотрела как эта самая Шмеерхович выносила во двор разную мебель, и с головой влезая в нее, мыла и скоблила каждый дюйм. Подошел дедушка:

— Видишь, Соня, на что нужна Пасха: без пасхальных законов о кашировке, эта наша соседка никогда бы не вздумала произвести чистку своего дома, и кончила бы тем, что утонула бы в собственной грязи. В этом одном и заключается смысл закона.

— Опять мой раввин толкует Талмуд, — в ответ иронизирует моя бабушка.

Однажды, уже в старости, собираясь в субботу утром идти в синагогу, и видя, что дедушка сидит за своим неизменным пасиансом, который, в последние свои годы, он раскладывал по целым дням, и курил папиросу за папиросой, моя бабушка обратилась к нему с укором:

— Павлуша, ты уже стар, а раскладываешь пасианс и куришь в святой день субботы.

— Послушай, Соня, ведь я тебе не мешаю ходить в синагогу, а ты мне не мешай раскладывать мой пасианс и курить. Поздно меня переделывать.

Твердо веруя в Бога, и исполняя все законы Торы, моей бабушке были совершенно чужды всевозможные суеверия, которых было немало. Она не верила ни в сны, ни в гадания, ни в тяжелые дни, ни во что вообще, выходящее за пределы Святого Пятикнижия Моисея. У бабушки, в горничных, служили только молодые крестьянки — хохлушки из соседних деревень; не любила она городской прислуги:

"Ну как к такой обратишься? Все: пожалуйста, да простите. Нет, это уже не прислуга. А хохлушке скажешь: Маруська, принеси, вынеси, помой, приготовь, и все тут".

Эти молодые служанки — хохлушки звали ее тетенькой, так что ее вторая дочь Берта всегда смеялась: "Мама, твоя племянница тебя зовет".

— Тетенька, а что я вам скажу!

— Что тебе, Маруся?

— Да вот: ваш домовой меня не взлюбил.

— Как так? — Спрашивает серьезно, приняв озабоченный вид, моя бабушка.

— Да так, тетенька: ночью, когда я сплю, он приходит ко мне, и давит меня, и душит.

— А ты скажи мне правду, Маруся, уж не кучер ли Иван — тот самый домовой, что тебя по ночам душит?

Нет, моя бабушка не верила в домовых.

У бабушки родилось пятеро детей: два сына и три дочери: Исак, Анна (моя мать), Берта, Арон и Ревекка (Рива или Рикка, как ее называли все домашние). Между рождением каждого из них, кроме Ревекки, проходило ровно три года. Ревекка родилась через семь лет после Арона.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

Братья и сестры моей матери.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Исак.

Старший сын Исак, родился в 1876 году. Он являлся живым портретом своего отца в молодости. Как и мой дед, обладая могучим телосложением, он, к двадцати годам был, как говорится, малый хоть куда. Родители его обожали. Увы! образование он получил небольшое, и после нескольких классов городского училища, по примеру своего отца, поступил в приказчики при хлебных амбарах в порту. Из него вышел человек: умный, честный, трудолюбивый и смелый. К величайшему горю всей семьи он умер в возрасте 23 лет. Он любил мыться в очень горячей ванне. Однажды его нашли в ней мертвым. Сердце не выдержало слишком высокой температуры. Так неожиданно ушел из жизни первенец и любимец семьи, и ее главная опора.

Раньше чем перевернуть эту страницу, хочу рассказать один случай ярко характеризующий моего покойного дядю.

Как-то раз моя бабушка, в сопровождении своего сына, возвращалась из гостей домой. Так как приятели, у которых они провели пару часов, жили не близко, то Исак нанял извозчика, дого-

ворившись, предварительно с ним о цене. Доехав до дому, и заплатив ему сполна все, что требовалось, дядя добавил еще несколько копеек ''на чай''. Извозчик внезапно рассердился:

— Чтой-то мало на чай даешь, господин хороший, аль копейки жалко?

Мой дядя возмутился:

— Я с тобой договорился о цене и заплатил тебе все, что ты у меня просил, да еще прибавил немного на чай. Чего же ты еще хочешь?

— То-то, что ''немного'', морда твоя — жидовская! — и тут он прибавил грубую ругань.

— Как! При моей матери ты смеешь так выражаться?!

И прежде чем здоровенный мужик успел опомниться, мой дядя схватил его за шиворот и сбросил с козел. Упав на дорогу, извозчик быстро вскочил на ноги, и с криком: ''Караул! убивают!'' пустился бежать вдоль по улице. Мой дядя, немедля ни минуты, сел сам на козлы, он умел прекрасно управлять лошадьми, и отвез коляску с конем в ближайший участок. Там он их оставил, изложив предварительно суть дела. Вскоре после ухода дяди явился извозчик, и захлебываясь от злости рассказал о том, как молодой жид напал на него, чуть не убил, и увел коня с коляской. Околодочный надзиратель успокоил расходившегося грубияна, и объяснив ему, что никакого грабежа не было, возвратил ему его лошадь и экипаж, добавив при этом, что все же он имеет право жаловаться мировому судье. В тот же день извозчик подал жалобу, и через неделю мой дядя был вызван к ''мировому''. На суде он рассказал как этот грубиян, получив все следуемые ему деньги, и с прибавкой ''на чай'', в присутствии матери позволил себе площадную ругань. Мировой судья приговорил извозчика к штрафу, и полностью оправдал моего дядю.

По окончанию суда они оба, почти вместе, вышли на улицу. У крыльца стояла та самая лошадь, запряженная в свою коляску. Мой дядя, подождав пока извозчик, бормотавший себе что-то сквозь зубы, взберется на козлы и возьмет в руки возжи, крикнул: ''Извозчик, подавай!''

ГЛАВА ВТОРАЯ: Берта.

Благодаря усилиям моего покойного дяди, материальное положение семьи несколько улучшилось. Мой дедушка купил лошадь

и дроги, и нанял кучера. Дроги служили ему для перевозки в порт некоторых грузов, и с этой целью бывали нанимаемы местными купцами. Заработок, получаемый таким образом, не только оплачивал кучера и лошадь, но и оставлял семье довольно значительную прибыль. Как следствие всего этого было решено дать Берте, их второй дочери, серьезное образование. Для женщин процентной нормы не существовало, и Берта поступила в Женскую Мариупольскую Мариинскую Гимназию.

Она была девочкой веселой, умненькой и миловидной; но с ленцой и с характером. Училась Берта упорно на круглые три. Всякий раз, когда бабушка попрекала ее за эту, едва удовлетворительную, отметку, то Берта, неизменно, возражала:

"Милая мама, чтобы получить три надо иметь здоровую голову; а чтобы получить круглые пять — здоровый зад".

В свободное от школьных занятий время, бабушка старалась приучить свою дочь к домашнему хозяйству; но безуспешно. В своей молодости тетя Берта терпеть не могла штопки, стряпни, стирки, уборки комнат и прочего в этом роде, предпочитая всему чтение интересной книжки. Однажды моей бабушке понадобилась помощь Берты. Она отлично знала, что ее дочурка дома; но на неоднократные материнские призывы ответа не было. В конце концов, и то только после продолжительных поисков, девочка была обнаружена, лежащей ничком за буфетом, и читающей какую-то книжку.

В четвертом классе гимназии преподавал математику некий Пашкевский, большой антисемит. Он никогда не отказывал себе в удовольствии сказать несколько колкостей, каждый раз, когда вызывал к доске ученицу-еврейку. Дошла очередь и до тети Берты.

— Цейтлин, к доске! Пишите задачу: "Купец купил... и т. д." Написали? Теперь решайте. Ай! Ай! и чтож это за еврейские цифры вы там ставите?

Тетя вспыхнула, положила мел, и села на свое место.

— Цейтлин, к доске!

— Я, Теофил Феликсович, вам отвечать не буду пока вы не возьмете обратно ваши выражения, касающиеся моих цифр.

— Так вы, Цейтлин, отказываетесь мне отвечать? Великолепно!

И до самого конца учебного года господин Пашкевский ни разу не вызывал мою тетю. В результате: нуль по математике и оставление на второй год.

Бабушка была очень опечалена, больше дедушки, который говорил: "Если Берта не будет хорошо учиться, и ненадо: беда не велика". Но бабушка настаивала на даче этой своей дочери хорошего образования. На следующий год, в первый же день занятий, Пашкевский подошел к Берте: "Ну, Цейтлин, давайте мириться. Повторение года иногда бывает очень полезно. В математике важна солидная база, а вы ее не имели. Я уверен, что теперь дело пойдет гораздо лучше". И в течение года он ставил тете хорошие отметки, и ни разу не позволил себе, по отношению к ней, никакой антисемитской выходки.

В своей гимназии тетя Берта была, как некогда гоголевский Ноздрев, "в некотором отношении исторический человек". Будучи уже в шестом классе, с нею случилась новая история. В то время моя мать была взрослой восемнадцатилетней девушкой. Однажды ее пригласили в знакомый дом на маскарад, Одев черное домино, и скрыв свое лицо под маской, старшая сестра Берты весело провела вечер. Между прочим ей встретился на балу незамаскированный молодой человек, с которым у нее были общие знакомые. Совсем недавно эти последние рассказали маме некоторые пикантные, хотя и невинные, подробности из его личной жизни. И вот, под защитой маски, она интриговала весь вечер этого господина, рассказывая ему его собственные секреты. Так как они были едва знакомы, и почти не встречались, то он совершенно не мог понять кто — эта таинственная незнакомка, и весь вечер умолял ее снять маску. Но мама ее не сняла, и уехала оставив беднягу в недоумении. Это было очень весело!

"................ и длится вальс старинный,
Его напев несется с темных хор;
И пляшут маски медленно и чинно,
Под легкий смех и тайный разговор".

Не помню имени поэта, автора стихов, отрывок из которых я здесь привел.

На следующее утро, в кругу своей семьи, моя мать рассказала, смеясь, об этой своей шутке. При рассказе присутствовала пятнадцатилетняя тетя Берта. История ей очень понравилась, и через несколько дней, в письме к одной из своих подруг, она приписала ее себе. Письмо было вскрыто на почте (это случалось, ... и нередко), и попало в руки почтмейстера. У этого почтенного чиновника была дочь, которая училась в том же классе гимназии, что и Берта. Он страшно возмутился подобным поведением одной из учениц

(шутка ли — маскарад!), и написал протестующее письмо директору гимназии, приложив к нему тетино письмо. Директор приказал Берте, до созыва специального педагогического совета, в гимназию не являться. Снова в доме начались сцены отчаяния со стороны моей бабушки, и снова дедушка только пожимал плечами. Моя мама попросила у директора аудиенции. Ее предупредили, что он старый самодур; но директор ее принял довольно милостиво, и выслушав распорядился прекратить дело. Тете был вынесен строгий выговор, и ей сбавили отметку по поведению, иначе ей угрожало исключение с "волчьим билетом".

В седьмом (последнем) классе, с Бертой случилась новая и пренеприятная история. Ей тогда было 17 лет.

В один весенний праздничный день, некоторые из ее соучениц устроили в городском саду игру в чехарду. Тетя была в их числе.

Я уверен, что в зрителях недостатка не было, и, что немало, среди этих последних, находилось молодых людей. Кто может утверждать, что всю эту игру девицы не придумали специально для некоторых из них? Сегодня подобная выходка вызывает только улыбку, но не так смотрели на условную мораль, в царской России, в конце девятнадцатого века. Всем участницам этой скандальной проказы было запрещено являться в гимназию, до решения педагогического совета.

Говорят, что история есть ничто иное как вечное повторение, но на этот раз положение казалось безнадежным, и молодым девицам грозил "волчий билет".

Среди провинившихся была некая Людмила Карсова. Ее отец, Дмитрий Карсов, происходивший из старинной дворянской семьи, но необладавший большими умственными способностями, занимал в Мариуполе скромную должность, специально для него созданную. Он был женат на дочери очень высокопоставленной личности, фрейлине Двора Его Величества.

И вот, надев свое придворное платье, с муаровой лентой через плечо, Вера Георгиевна Карсова явилась к престарелому директору гимназии, дотягивавшему последние месяцы до своей пенсии.

Дело было прекращено.

Наконец, к великой радости моей бабушки, Берта окончила гимназию, и поступила на зубоврачебные курсы. В то время большинство еврейских девушек, с средним женским образованием, выбирали эту карьеру. По окончанию зубоврачебных курсов, моя тетя несколько лет занималась практикой.

Еще курсисткой она страстно влюбилась в молодого помощника провизора, Наума Кассачевского, и вышла за него замуж. Он был весьма интересным и умным господином. Брак их был очень счастлив, и у них родилось двое детей: Екатерина и Аркадий. Из всех моих двоюродных сестер Катя Кассачевская была самой красивой, и пользовалась, в свое время, большим успехом.

Несколько слов о дяде Науме!

По окончанию своего стажа помощника провизора и для получения звания провизора, мой дядя должен был прослушать обязательный курс лекций при университете, но как еврей он принят на эти курсы не был. В тот год родился Цесаревич Алексей. Мой дядя подал всеподаннейшую просьбу Николаю Второму, прося Императора, в ознаменование столь счастливого события, дать ему возможность поступить в харьковский университет. Он был немедленно принят, окончил курс, сделался провизором и купил аптеку.

Из уважения к истине я принужден добавить, что он, будучи студентом, примкнул к революционному движению и принял участие в устройстве забастовки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Арон.

Младшим братом моей матери был Арон (Арончик). Он умер в возрасте четырех лет. В то время страшным бичем детей, и виновником их высокой смертности, был дифтерит. Медицина боролась с ним как могла, но для этой борьбы ей нехватало оружия.

Да сияет немеркнущей славой имя профессора Беринга! Свыше двухсот тысяч детских жизней, ежегодно, спасает его сыворотка.

Арончик заболел дифтеритом. Врач, лечивший его, приложил все усилия для спасения ребенка; но все было тщетно. Последними словами бедного мальчика были: "Не мучайте меня".

Ровно через восемь месяцев после кончины Арончика, в аптеках появилась дифтеритная сыворотка профессора Беринга.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Ревекка.

Самым младшим ребенком у моей бабушки была Ревекка (Рива или Рикка). В детстве, по словам моей матери, она была

смирненькой, худенькой и длинноносенькой девочкой. Я знал тетю Рикку, когда она уже была высокой, полной и красивой дамой.

Рикка, в отличии от Берты, никаких историй не имела: училась прилично; во время окончила женскую гимназию; поступила на зубоврачебные курсы; но по их окончанию не практиковала.

Она вышла замуж за скромного молодого еврея, Леонида Чудновского, с которым прожила долгую жизнь, как говорится, в любви и согласии. У них родились две дочери: Евгения и Валерия.

Счастливы не только народы не имеющие истории — счастливы и отдельные люди. Тетя Рикка была счастлива.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

Моя мать.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Детство.

Моя мать родилась в городе Мариуполе, первого мая, по старому стилю, 1879 года. При рождении ей дали еврейское имя Хая, что значит жизнь; но под этим именем она была записана только в ее метрическом свидетельстве; в паспорте же, и в других русских официальных бумагах, она значилась под именем Анны, а в домашнем кругу ее звали Нютой.

За несколько недель до рождения моей матери, ее родители договорились со знакомой акушеркой; но так как моя мать родилась 1 мая, то эту последнюю пришлось искать за городом, где она, со своими друзьями, устроила первомайский пикник. Акушерка приехала немедленно и в чем была, т. е. в своем весеннем, праздничном платье, и со множеством колец и браслетов. Все это она, конечно, поспешно сняла и положила на стол, рядом с роженицей. Когда родилась моя мать, она была, буквально, окружена золотом и драгоценностями, что было рассматриваемо всеми присутствовавшими как очень счастливое предзнаменование. Как бы там не было, но увидя на следующий день новорожденную, один из братьев счастливого отца не смог удержаться от восклицания: "Боже, какая уродливая обезьянка!" Однако "обезьянка" росла, и довольно быстро стала превращаться в здорового и миловидного ребенка. Моя бабушка была хоро-

шей кормилицей; но тем не менее она очень скоро стала прикармливать девочку всем тем, что сами они ели, не исключая и жирного мясного борща. Она утверждала, что подобный способ питания детей — самый лучший. Действительно, все шло ребенку на пользу. К двум годам Нюта стала довольно проворно ковылять на своих ножках, и лепетать на языке понятном только одной матери. Все это к великой радости родителей.

Маме было около трех лет, когда она заболела дифтеритом. С каждым днем положение ее ухудшалось. Ее лечил доктор — немец, знающий и добросовестный врач; но, что он мог поделать? Ребенок горел и дышал с трудом. Врач приходил два раза в день: утром и вечером.

Однажды утром, после очень тяжелой, для маленькой больной, ночи, только переступив порог дома, врач наморщил нос и сказал: "Фу, какой запах! Дифтерит уже разложился". Осмотр моей матери, на этот раз, длился не долго. Отведя в сторону моего дедушку, доктор сказал: "К несчастью — все кончено. Для очистски совести я вам припишу еще одну микстуру. Каждые два часа вы будете ею мазать горло бедняжке. Сегодня вечером я не приду, но завтра утром я буду у вас для выдачи вам необходимого свидетельства: этой ночи она не переживет". Мой дедушка все же побежал в аптеку, купил приписанное врачем лекарство, и согласно его предписанию, при помощи специальной щеточки, каждые два часа осторожно мазал этой жидкостью горло ребенка. В начале ночи положение больной резко ухудшилось: моя мать начала задыхаться и вся посинела, руки и ноги у нее стали быстро холодеть. Бедная бабушка, вся в слезах, взяла на руки умирающую дочь, и пытаясь ее согреть, поднесла к горячей печке. Голова ребенка запрокинулась, и из горла стал вырываться отрывистый хрип. Дедушка видя, что все кончено, схватил щеточку, и обмакнув в лекарство всунул ее в горло агонирующей дочке, стал, по его собственным словам, мазать ею на манер как мажут дегтем колеса телеги. Вдруг раздался звук, какой бывает при рвоте, из горла хлынула зловонная масса. Весь дом наполнился ужасной вонью, но девочка глубоко вздохнула, и начала свободно дышать. Конечности ее потеплели, лицо покраснело и она уснула. На утро пришел врач. При виде повеселевших родителей, он удивленно уставился на них: "Она еще жива?" — "Жива, и ей, кажется, лучше". Доктор скорыми шагами направился к ребенку. С его лица все еще не сходило выражение недоумения. После внимательного

осмотра больной, он поднял голову, сдвинул свои очки на лоб, и сказал: "Ваша дочка будет жить; видимо и в медицине бывают чудеса. Теперь я ей припишу еще одно лекарство, но она уже вне опасности".

Действительно, маленькая Нюта быстро поправилась, и снова начала бегать, и пытаться разговаривать.

Ей было только четыре года, когда, сидя рядом со своим старшим братом, и наблюдая как он учит азбуку, она сама научилась некоторым буквам. Один из родственников ее родителей посоветовал им не давать ей, до времени, в руки букварей. По мнению этого господина, такие ранние усилия мозга могли его утомить. Азбуку отняли; но мама стала считаться бесспорным "вундеркиндом" всей семьи.

Не имея возможности учиться читать, девочка стала прислушиваться к разговорам взрослых, и обогащать свой лексикон не только отдельными словами, но и целыми фразами, выражениями и поговорками.

Однажды моя мать играла во дворе со своей куклой, а вблизи от нее две горничные сплетничали, и, между прочим, говоря об их общей знакомой, любившей расхваливать все, что ее касалось, одна из них употребила довольно грубую русскую, народную поговорку: "Всякая свинья свое болото хвалит". Маме эта поговорка весьма понравилась, и она твердо решила, при первом удобном случае, употребить ее. Случай вскоре подвернулся. Одна из бабушек моей матери, в компании двух других старушек, сидела в гостиной, и мирно беседовала с ними о достоинствах их внуков и внучек. Моя мама, все с той же куклой в руках, тихо и скромно расположилась в углу на ковре. Моя прабабка, подозвав ее к себе, и погладив по головке, сказала: "А я утверждаю, что милее и умнее моей внучки Нюты нет ребенка". "Умная" Нюта, вспомнив услышанную ею недавно поговорку, звонким голосом заявила: "Конечно, всякая свинья свое болото хвалит". Надо признаться, что, по-видимому, в своем детстве и отрочестве, моя мать отличалась сильной склонностью говорить, не подумав, то чего не следует.

Торжественный пасхальный вечер. Седер подходит к концу, и мой дедушка, сидя на подушках на своем стуле, уже принялся за ритуальную песню: "Хадгадия". Любил он эту песню чрезвычайно, и способен был ее петь сколько угодно времени. Его забавлял текст песни, настоящего смысла которой он не пони-

мал, и смеясь утверждал, что это совершенно: "дедка за репку, бабка за дедку,..."

Между тем бабушка налила полный стакан вина для Пророка Ильи, и велела открыть настежь дверь ведущую во двор, дабы Пророк мог, невидимо, войти и отпить из предложенного ему стакана. Мама рассказывала, что в детстве она всегда пристально смотрела на поверхность налитого вина, и ей казалось, что легкая зыбь колеблет ее; "это Пророк Илья пьет", говорила она себе. На этот раз, по приказу своей матери, она побежала на кухню открыть дверь. Во дворе жил огромный пес Серко, по ночам стороживший дом. Уже давно чуткий собачий нос пронюхал, что сегодня в доме есть много съестного, и верный пес смирно стоял за дверью, ожидая удобного случая проникнуть через нее в дом. Как только мама, с бьющимся сердцем: "а, что если войдет Илья?" распахнула кухонную дверь, терпеливый Серко, умильно виляя хвостом, чинно проследовал за ней в кухню. И вот, нарушая торжественный тон конца пасхального седера, раздается Нютин звонкий голос: "Мама, я, как ты велела, открыла для Пророка дверь — Серко вошел".

Бабушка рассердилась: "Какие ты глупости болтаешь! Как тебе не стыдно?"

Но моему дедушке — атеисту вся эта сцена очень понравилась, и он от души смеялся.

С религиозными ритуалами у моей матери были давние счеты. Уже четырнадцатилетней девочкой, в компании подруг и нескольких молодых людей, она гуляла около своего дома. Беседа велась веселая, и время бежало быстро. Неожиданно открылось окно, и из него раздался голос моей бабушки: "Нюта, иди делать капурес". Этот обряд является остатком старинного жертвоприношения. Мама должна была взять живую курицу, и держа птицу крепко за лапки, покрутить ее положенное число раз над головой. Во время этой операции надо произносить известную молитву. Маме хотелось как можно скорее вернуться к друзьям, а кроме того она боялась курицы, которая обыкновенно билась своими крыльями. Однако делать было нечего, и взяв с отвращением за лапки, обреченную на бульон жертву, она стала вращать ее над головой, торопливо произнося непонятные для нее слова молитвы. Между тем, через открытое окно, доносились с улицы веселые голоса гулящей молодежи. Внезапно, уже в самом конце ритуала, когда нехватало всего нескольких последних слов

в произносимом тексте, курица, которую мама продолжала крутить над головой, отчаянно забилась. Этого нервы моей мамы вынести уже не могли, и она, радикально изменив последние слова молитвы, прокричала: "Иди ты ко всем чертям!" и бросила ее на пол. На этот раз моя бабушка серьезно рассердилась: "Ты, Нюта, совершенно с ума сошла!" Но вернувшись вечером с работы, мой дедушка, узнав об этой выходке своей старшей дочери, пришел в восторг, и долго спустя рассказывал всем своим знакомым, как его Нюта делала "капурес".

В отроческие годы у моей мамы был приятель, двумя годами старше ее. Звали его Яша Шленский. Он был симпатичным подростком: умненьким и развитым. Яша любил доставать хорошие книги, и по прочтению давать их читать моей маме. Когда ей было 13 лет, а ему 15, он достал в русском переводе, "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго. "Нюта, прочти обязательно эту книгу", и Нюта прочла, хотя и с большим трудом, но от строчки до строчки. Благодаря ему моя мать рано познакомилась со многими шедеврами русской и иностранной литературы.

Несколькими годами позже, из этого мальчика вышел прекрасный юноша: серьезный, честный, и здоровый. Он погиб рано и трагически. Будучи признанным пригодным для военной службы, он, 21 года отроду, был призван "под ружье".

Прошли годы службы, и в начале осени Шленский должен был быть демобилизован.

Стояло жаркое лето. В один воскресный день капитан его роты послал Яшу зачем-то в город, отстоящий от их лагеря в шести километрах. Исполнив поручение, и сильно устав, Шленский шел по пыльной дороге к себе в полк. Навстречу ему катил на велосипеде молодой офицер из соседнего полка. Несмотря на еще сравнительно ранний час, этот последний был уже изрядно пьян.

— Стой! Ты из какого полка будешь?

Шленский, как полагается, остановился, отдал честь и отрапортовал по форме.

— Жид?

Шленский покраснел:

— Так точно, Ваше Благородие, — я еврей.

— Подойди поближе. — Шленский повиновался.

— Почему ты, жид, гуляешь, а не сидишь у себя в роте? Вы все мастера от службы бегать.

— Никак нет, Ваше Благородие, я был послан в город моим капитаном.

Шленский был очень уставшим после стольких верст ходьбы в сильную жару, и все эти незаслуженные оскорбления больно били по его нервам.

— Врешь, грязный жид! — за этими словами последовала непечатная брань.

— Никак нет, Ваше Благородие, я не вру; со мною пропуск моего капитана.

— Ах ты, грязная жидовская сволочь! Ты смеешь мне возражать?!

С этими словами пьяный офицер ударил Шленского по лицу. Молодой еврей измученный долгой дорогой, голодный, обруганный, побитый, как говорится: не взвидел света. Он никогда не был слабым, а ярость утроила его силы; он бросился на офицера, сразу обезоружил его, сломал ему шпагу, сорвал погоны, и избил ими по лицу пьяного хама, а затем, подмяв под себя, начал его бить по чем не попало. Подоспевшие, ехавшие в телеге, крестьяне, оттащили рассвирепевшего юношу, и уложив в нее избитого офицера, отвезли обоих в город. Офицер отделался синяками, разбитым носом и сломанным ребром; но был судим судом чести, и разжалован в солдаты. Так кончилась его военная карьера. Но не такой конец ожидал Шленского. Арестованный военными властями, он был судим, и приговорен к четырем годам и восьми месяцам дисциплинарного батальона. Об этом учереждении ходили ужасные слухи: систематические, зверские избиения, морение голодом, всяческие издевательства, грязь и вши. Утверждать или отрицать это может только тот, кто пробыл в нем положенные годы, и вернулся из него живым. Шленский ничего не рассказал о муках им там перенесенных,... ибо мертвые не говорят. Так трагически закончил свою жизнь еврейский солдат на русской, царской, военной службе.

В возрасте восьми лет моя мама поступила в гимназию; но, пробыв в ней два года, оставила ее. Виною этому было материальное положение семьи, тогда еще не вполне поправившееся. До семнадцати лет она помогала своей матери в домашнем хозяйстве.

В Мариуполе проживала очень богатая и знатная греческая семья Палеологов. Их дочь Фрося имела свою собственную породистую лошадь, для верховой езды, и выезжала на ней, сидя ама-

зонкой, за город. Она была единственной наездницей в целом городе, и вызывала почтительное удивление обывателей. Однажды, гуляя по улице, в компании своего отца, мама повстречала молодую наездницу.

— Знаешь ли ты кто эта девушка? — спросил дедушка мою мать.

— Фрося Палеолог.

— А кто такие Палеологи?

— Греки.

Дедушка рассмеялся:

— Знаю, что греки; но Палеологи — прямые потомки последней, царствовавшей в Греции, династии императоров. Фрося гораздо более благородного происхождения, чем русские великие княжны.

Мама задумалась:

— Папа, я тоже хочу ездить на лошади.

Мой дедушка поощрял все спортивные начинания, и выучил свою дочь ездить верхом на смирной лошадке, которую впрягали в повозку. Зимой он устроил во дворе дома каток, и научил ее кататься на коньках. Позже моя мать стала ходить на городской каток. Бабушка была очень недовольна: она боялась, что Нюта может упасть, и сломать себе что-нибудь; но мой дедушка был другого мнения, и его дочь продолжала свои спортивные упражнения. Однажды, желая похвастаться перед своими родителями, пришедшими на городской каток поглядеть на нее, моя мать сделала слишком трудный пируэт, и упала, к счастью без последствий.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Молодость.

Когда моей матери исполнилось семнадцать лет, она решила работать. В ту эпоху, в провинциальном русском городе, вроде Мариуполя, продавщиц в магазинах, секретарш, почтовых чиновниц и т. д. еще не существовало. И вот она, на удивление всех их друзей и знакомых, поступила кассиршей в аптеку, к некому Чудновскому — однофамильцу будущего мужа ее младшей сестры, Рикки. Родители мамы не очень были довольны, а мой дедушка даже сердился; но мама настояла на своем, и сделалась, в некотором роде, достопримечательностью ее родного города. Многие мариупольские обыватели приходили в аптеку для покупки какого-нибудь пустяка, вроде мятных лепешек, только для того,

чтобы взглянуть на "барышню", сидящую за кассой. Чудновский ценил эту рекламу, и платил маме прилично.

Мадам Чудновская была единственной дочерью богатейшего еврейского промышленника с юга России. Злые языки утверждали, что будучи уже провизором, и работая в чужой аптеке, не имея денег для приобретения собственной, Чудновский женился на Эсфирь Соломоновне, по страстной и искренней любви к... одной из аптек, присмотренных им заранее. Однако нужно сказать, что мадам Чудновская могла понравиться и помимо ее огромного приданного. Она была красивой брюнеткой, всегда элегантно и со вкусом одетой, и очень тонной. Эсфирь Соломоновна получила редчайшее, для еврейской девушки, образование: она окончила в Одессе "Институт Благородных Девиц". Нужно было обладать громадными богатствами ее отца, и всеми его связями, чтобы открыть для своей дочери двери "Института".

Эсфирь Соломоновна говорила, читала и писала по-французски, как по-русски, и знала немецкий и английский языки. Но из всех наук ею усвоенных, была одна, которую она изучила лучше других: наука уметь хорошо себя держать в любом обществе, и при любых обстоятельствах, как настоящая дама высшего света.

Мадам Чудновская полюбила мою мать, и часто, заходя в аптеку, беседовала с нею, уча ее разным правилам светского обращения.

"Видишь, Нюта, — говорила она маме, — дама должна уметь, войдя в любой салон, сделать приличный реверанс, сесть, встать, выйти; все это очень важно. Когда знакомый господин подходит к даме, он ей целует руку, а она его целует в лоб. Когда дама входит, все мужчины должны встать, и стоять до тех пор пока она не сядет или не уйдет; но неучтиво, по отношению к мужчинам, продолжать стоять, и стоя разговаривать, так как, в этом случае, все они будут принуждены не садиться на свои места. Однако, если в салон, в котором сидят дамы, войдет принц крови, то все они должны встать и склониться перед ним в реверансе". И т. д.

Аптека Чудновского находилась в центре города, и славилась одной из лучших. Однажды в Мариуполе остановилась, проездом на пару дней, жена екатеринославского губернатора. В середине дня, когда все служащие были на своих местах, к аптеке подкатила коляска, из нее вышла пышно одетая молодая дама, и подала провизору какой-то рецепт. Мадам Чудновская присутство-

вала при этом. Увидя ее, вошедшая дама радостно вскрикнула, и бросившись к ней с восклицанием: "Какая встреча!" заключила ее в свои объятия. Это была жена губернатора, подруга по пансиону Эсфирь Соломоновны. После первой минуты радостного удивления обе дамы, усевшись поудобней, в течении получаса оживленно щебетали по-французски.

Несколько анекдотов из жизни аптеки Чудновского, рассказанных мне моей матерью:

Мариупольские аптеки обслуживали не только городское население, но и ближайшие деревни и села. Однажды в аптеку пришли две хохлушки: свекровь и невестка. Молодка стояла молча, а ее свекровь объясняла:

"Пане добрый, як, значит, поженили мы сынку, четыре года буде; невестка — баба здорова, и к работе охоча, грех що говорить против, та и сынку у меня хлопец ладный. Мы у всих дохторов бувалы, и до святых мощей ходылы, и чего тилькы нэ робылы, а дытин у ных нэма да нэма. Можэ вы, панэ, якое такое лекарство знаете? Век будем за вас Богу молиться".

Провизор улыбнулся:

— Нет уж, мать моя, если не только что все доктора ничего поделать не могли, но и святые мощи не помогли, так я уж тут бессилен. Нет у меня такого лекарства? А, только, все ли вы средства испробовали?

— Уси, пан добрый, уси.

— А может другого мужика надо было бы попробовать? — усмехнулся провизор.

— А и то було! — созналась энергичная свекровь.

Невестка стояла молча, скромно опустив глазки.

Другой случай рассказал врач по женским болезням, приятель господина Чудновского:

Приемная полна больными; многие женщины пришли со своими мужьями. Доктор, окончив осмотр очередной больной, велел впустить следующую. В кабинет вошла молодая хохлушка вместе с хохлом, несколькими годами старше ее. Врач расспросил молодую бабу — на что она жалуется, и приступил к внимательному ее осмотру. Мужик сел на стул, в двух шагах от нее, и терпеливо, но несколько тупо, уставился на врача и пациентку. Окончив добросовестный осмотр больной, врач обратился к мужику:

— Надо будет купить лекарство, которое я сейчас пропишу.

— Як трэбо, так трэбо, — равнодушно согласился последний.

— А через месяц она должна будет вновь придти ко мне; необходим второй осмотр.

— Як трэбо, так трэбо.

— А после, может быть, и операцию придется ей делать.

— Як трэбо, так трэбо — повторяет спокойно хохол.

— Операция будет стоить довольно дорого, а пока с вас, за визит, я возьму 5 рублей.

— Як с минэ? Да ни!

— Как так: "да ни"? — возмутился врач. — Кому же как не мужу платить за свою жену?

— Да якая винэ минэ жинка? Я-ж ее в первый раз вижу.

— Что же вы, черт вас побери, делали тут? — рассердился врач.

— Так это моя жинка минэ к вам послала. Вчера она вашей жинке две дюжины яиц продала. А ваша жинка и говорит моей: "Завтра зайди к моему мужу", к вашей милости то есть, "он и заплатит". Так и я пришел за грошами.

Во все это время, молодая баба стояла и безучастно смотрела то на врача, то на мужика.

Приходил в аптеку молодой и очень красивый господин. Он регулярно, два раза в неделю, приносил довольно длинные рецепты. Однажды, после его очередного визита, моя мать сказала провизору:

— Какой красавец этот господин.

— Я вам, барышня, не советую в него влюбляться, — улыбнулся провизор,-он такой больной. Бедняга недавно мне сказал, что, по его собственному выражению, всякий раз, когда он заказывает в аптеке свои лекарства, то этим самым платит таможенную пошлину на французский товар.

Мама поняла, и покраснела.

В период ее работы в аптеке, у мамы образовался целый рой поклонников. Самым постоянным и верным из них был молодой коммерсант — еврей, по имени Оранский; но по причине слишком маленького роста он ей не нравился. Когда мама ему отказала, он был глубоко несчастен, что не помешало ему, через несколько лет жениться на молодой и интересной фармацевтке. У них родилось двое детей: мальчик и девочка. Оба ребенка умерли в раннем детстве. Сам Оранский внезапно сошел с ума, и вскоре скончался.

Был у мамы, среди ее поклонников, один очень милый русский юноша: Коля Семенов; но моя бабушка воспротивилась

всяким с ним встречам. "Я знаю, — говорила она, — Коля очень милый молодой человек; но... всякое может случиться. А ты, Нюта, знай, что если выйдешь замуж за гоя, и, следовательно, крестишься, то я сяду на пол, в знак траура, на семь дней, как по мертвой, ибо таков закон, и ты для меня умрешь".

Моя бабушка, с материнской стороны, как я уже писал выше, принадлежала к зажиточной, еврейской, таганрогской семье Болоновых. Раз в год она ездила в Таганрог повидаться со своими родителями. Обыкновенно эта поездка совершалась зимой на санях, так как железная дорога между Таганрогом и Мариуполем, делала огромный крюк. Если морозы были достаточно сильными, то по выезду из Мариуполя сани спускались к морю, и по его замерзшей поверхности, придерживаясь берегов, скользили до самого Таганрога. В нем проживало много родственников, и между ними семья моего отца.

Еще будучи маленькой девчонкой, мама играла с моим отцом в "папы и мамы". Ей было около двадцати лет, когда, в одну из таких поездок в Таганрог, возвращаясь из гостей, в сопровождении моего отца, тоже гостившего у своих родителей, этот последний, безо всякого вступления, сказал: "Нюта, давай повенчаемся". На что моя мать ответила ему весьма лаконично: "Давай".

Родители моего отца были против этого брака: они прочили за своего первенца дочь одного богатого купца, и с большим приданным. Но мой отец решительно заявил, что он женится на девушке. которую любит, а деньги он сам сумеет заработать. Делать было нечего, и после неудачной попытки расстроить этот брак, Давид Моисеевич решил, для своего старшего сына, сыграть очень пышную свадьбу.

Шестого января 1901 года (новый стиль), свадьба состоялась. Она имела место в таганрогской синагоге, и была очень богато и торжественно обставлена; при появлении молодых, оркестр грянул марш из "Аиды". Эта церемония стоила дедушке много денег, и он заявил, что то что им было сделано для его старшего сына, больше не повторится; на будущие свадьбы своих сыновей он тратить такие деньги не станет. Свое слово он сдержал.

Мой отец получил перевод в Мариуполь, и временно поселился у родителей моей матери.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

Мой отец.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Детство.

Мой отец, Моисей Давидович Вейцман, родился в городе Таганроге, 7 июля 1877 г. по старому стилю. Он был старшим сыном у моего дедушки. Здоровьем, в первые годы своей жизни, мой отец отличался довольно хорошим: никакая детская болезнь к нему не прилипала; но так как в своем самом раннем детстве он много кричал, то у него образовалась грыжа. В последствии она его спасла от военной службы. Мой дедушка Давид Моисеевич, имея некоторые средства, решил дать своему первенцу хорошее образование. Семи лет отроду мой отец был отдан в Таганрогскую Классическую Гимназию, в "старший приготовительный", а через год он перешел в первый класс, ровно за год до опубликования процентной нормы для евреев. Одновременно, мой дедушка раздобыл для своего сына совершенно пушкинского "Мусью": француза-гувернера, который, за очень скромную плату, но обязательную рюмку водки, учил ежедневно моего отца французскому языку, и водил его гулять. Такое воспитание позволило ему, по окончанию своего образования, владеть одинакого хорошо двумя языками: русским и французским.

По поводу введения процентной нормы, расскажу следующий факт, героем которого был восьмилетний мальчик, Хаим Гольдберг, троюродный брат моего отца.

Хаиму страстно хотелось поступить в гимназию, и родители подготовили его в первый класс. К этому времени Таганрог был присоединен к Области Войска Донского, а в "областях", эта самая норма, была еще строже, и равнялась двум или трем процентам. Мальчик имел хорошие способности, но перескочить через подобное препятствие было не по его силам.

В один из январских морозных дней, город посетил Святополк-Мирский: Наказный Атаман Области Войска Донского. Хаим узнал об его приезде из разговоров взрослых.

В этот день мальчик стоял у замерзшего окна, и печально глядел на заснеженную улицу. Делать ему было совершенно нечего, и это его томило. Улица, на которой он жил, была центральной. Внезапно он увидел быстро идущую, по самой середине мосто-

вой, группу казаков, и среди них пожилого военного, видимо генерала, явно окруженного почтением всех его сопровождавших. Мальчик понял, что перед ним Наказный Атаман. Ничего не сказав родителям, он в чем был: без пальто, без шапки и очень легко одетый, выскочил из дому на пятнадцатиградусный мороз, и бегом приблизившись к Атаману, бросился перед ним на колени в снег. При виде восьмилетнего мальчугана, почти раздетого на подобном морозе, и на коленях в снегу, Святополк-Мирский поднял его, и закутав в свою теплую бурку, спросил: "Мальчик, чего тебе надо?" – "Я хочу поступить в классическую гимназию, но я еврей, и процентная норма мне этого не позволяет". – "Как тебя зовут?" – "Хаим Гольдберг, Ваше Высокое Превосходительство". Атаман подозвал своего адъютанта, и велел ему записать: имя, отчество, фамилию и адрес маленького просителя, а Хаиму велел немедленно идти домой, чтобы избежать простуды. Через несколько дней директор таганрогской гимназии получил приказ из Новочеркаска, подписанный самим Святополком-Мирским, о принятии в нее еврейского мальчика, по имени Хаим Абрамович Гольдберг, и каждый триместр присылать ему его отметки. Мальчик учился хорошо, и благодаря этому атаману, получил возможность окончить классическую гимназию. Всякое бывало в царской России! Не следует, конечно, забывать все зверства, гонения и несправедливости, низвергнутого, и ушедшего в историю режима; но не следует забывать и его светлых сторон. Сегодня, в Советской России, для еврейской учащейся молодежи, официально, процентной нормы не существует. Увы! – она существует неофициально. Так! но нет больше Святополк-Мирских, имеющих власть и сердце смягчить подобные законы.

Спасибо тебе, благородный Атаман, от всего еврейского народа, что ты дал, хотя бы одному Хаиму, возможность получить образование.

Население Таганрога было космополитно: русские, евреи, греки и армяне; но в этом, основанным Великим Петром, городе не было отдельных кварталов для каждой народности, и все они жили в перемежку и довольно мирно. Однако и в нем водились хулиганы. Еврейских детей нередко задирали на улице, обижали, а порой и били.

Мой отец, потомок выходцев из западноевропейских гетто, не отличался большой физической силой, но это не мешало ему быть смелым мальчиком, и не давать себя в обиду.

Как жаль, что его единственный сын, пишущий эти строки, бездетен. Кто знает? если бы не это обстоятельство, то не стоял бы сегодня один из его правнуков — сабра, с автоматом в руке, на границе Израиля, под сенью бело-голубого знамени, защищая, если понадобится, своею кровью, вновь обретенное Отечество.

Однажды, идя из гимназии, он повстречал двух русских мальчишек-хулиганов, которые обозвали его пархатым жидом. Недолго думая, мой отец кинулся в драку, и получил удар кирпичем в нос. Трудно было потом остановить текущую кровь, а его нос остался несколько искривленным на всю жизнь.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Царская гимназия.

Что такое была русская мужская классическая гимназия, которую окончил мой отец?

До второй половины прошедшего века, в области образования, на территории Российской Империи, царил относительный хаос. Были: городские школы, сельские, приходские, ремесленные училища, бурсы, так отлично описанные Помяловским, семинарии, гимназии с древними языками и без оных, вплоть до Царскосельского Лицея. При Александре Втором, Министр Народного Просвещения, Граф Толстой, произвел крупную реформу, оставшуюся в основном без изменения до Революции 1917 года. Она покоилась на идее, что только классическое образование дает право человеку считаться вполне образованным. Из этой аксиомы вытекало правило, что только классическая гимназия выдавала, окончившим ее, "Аттестат Зрелости" — ключ, открывавший все двери университета. Основными науками преподававшимися в такой гимназии были: русский язык (8 лет), латынь (8 лет), древнегреческий (5 лет). На втором месте стояли: математика (не идущая дальше элементарной алгебры, элементарной геометрии и некоторых понятий о тригонометрии), история (исключительно хронология) и география. На третьем месте стояли: естественные науки и иностранные языки. Эти последние, обыкновенно, преподавались очень плохо. Важным предметом, но обязательным только для православных учеников, был Закон Божий. Он заключался в беглом обзоре Ветхого Завета, и в более подробном Нового. Преподавателем его бывал священник.

Каждый день, перед занятиями, все ученики собирались в, так

называемом, "Актовом Зале", или в гимназической церкви, и хором пели, один после другого, два гимна: "Боже, Царя храни" и "Коль славен наш Господь в Сионе". После этого пения все шли в классы. Каждый урок длился 55 минут, и между ними были пятиминутные перемены. Посреди дня бывала получасовая "большая перемена". Во главе каждого класса стоял "классный наставник" – старший учитель. Кроме этого последнего имелся еще и "классный надзиратель", человек непринадлежащий к педагогическому корпусу, следивший, главным образом, за порядком. Во главе гимназии стояли: директор и его помощник — инспектор. Вся Россия делилась на учебные округа, по числу университетов, к которым они были прикреплены. Окончивший гимназию обыкновенно бывал направляем в университет его округа. Во главе каждого учебного округа стоял "попечитель". Русский язык считался самым основным предметом, но при изучении русской литературы не шли дальше Пушкина, Гоголя и "Записок Охотника" Тургенева. Конечно: в младших классах гимназии учили стишки Тютчева, Майкова и других второстепенных поэтов прошедшего века. Зато на экзамене на аттестат зрелости, несколько не на месте поставленных запятых, могли вызвать провал кандидата, и повторение года. Почти столь же требовательны были экзаменаторы по древним языкам. Надо отметить, что карьеру инспектора и директора делали почти исключительно учителя латыни и древнегреческого.

Русскую историю проходили по знаменитому учебнику Иловайского: известного на всю Россию крайнего реакционера и антисемита. Этот учебник сводил все к царям и войнам: такой-то царь царствовал от и до. При нем были следующие войны:... Окончились они таким-то миром, и т. д. Никаких объяснений или комментарий не полагалось. О цареубийствах, которыми столь полна русская быль, ни пол слова. Сам Иловайский, от времени до времени, публиковал антисемитские статьи и памфлеты.

Он был уже глубоким стариком, когда разразилась Революция. В середине 1918 года, старый черносотенец был арестован и посажен в ЧК. Его дети и внуки кинулись ко всем представителям новых властей, умоляя освободить старца. Одним из молодых комиссаров-чекистов, от которого могла зависить дальнейшая судьба этого человека, был еврей. "Как! — вскричал комиссар, когда ему сказали, что в подвалах ЧК сидит Иловайский, автор учебников по русской истории, — тот самый Иловайский,

по книгам которого я учился? Бедняга! Освободить его немедленно!" Так старый юдофоб был спасен молодым евреем. Ирония судьбы.

Сурова была гимназическая дисциплина! Все гимназисты, как и преподаватели, обязаны были носить специальную форму. В классах ученики должны были держать себя чинно. На улице, при встрече с учителем, ученики снимали фуражку и кланялись. Если им встречался директор гимназии, или какой-либо генерал, то они становились во фронт, и сняв шапку, провожали глазами начальство. Курить воспрещалось, и за нарушение этого запрета полагались очень тяжелые наказания, идущие вплоть до исключения из гимназии. Вечером, после установленного часа, ни один ученик не имел право, без специального на то разрешения, выходить на улицу. Если он хотел пойти, даже в сопровождении своих родителей в театр или на концерт, то был обязан просить у директора письменное разрешение. Каждый гимназист должен был носить с собой, в специальном, для этой цели, существующем, кармане, гимназический билет, род свидетельства личности, с указанием его фамилии и имени, а так же класса и названия учебного заведения к которому он принадлежал.

Всякий представитель властей, от генерала до простого городового, мог, в случае предосудительного поведения гимназиста, потребовать у него этот билет и отнести его директору гимназии, подробно, при этом, изложив суть инкриминируемого ученику проступка. Чтение книг бывало строго контролируемо, и никто не смел, даже у себя дома, читать запрещенную гимназистам литературу. Каждый гимназист был обязан иметь отдельную комнату, в которой он работал и спал. Кроме довольно высокой платы в гимназию и обязанности обладать отдельной и удобной комнатой, каждый учащийся должен был иметь, за свой счет, гимназическую форму и все учебные пособия. Если эти условия не были удовлетворены, то такой гимназист, даже если он был первым учеником в классе, бывал принужден оставить гимназию. Для бедных детей существовали учебные заведения низшего типа, как например: прогимназия, ремесленное училище и некоторые другие; но они не давали возможности получать аттестат зрелости, и не допускали учащегося, по окончанию курса, переступить заветный порог университета. Знаменитый циркуляр о "кухаркиных детях", достаточно красноречив. Интересующегося познакомиться более подробно с этим удивительным, в своем роде,

документом, я отсылаю к бессмертному творению В. Г. Короленко: "История моего современника".

Классный надзиратель имел право, во все часы дня и ночи, явиться в дом гимназиста, с целью обревизовать его комнату и посмотреть: как он работает, что читает, как спит.

Малейшее нарушение, со стороны гимназиста, установленных правил морали, каралось исключением, с "волчьим билетом", т. е. с потерей права поступления во все другие учебные заведения Российской Империи.

В актовом зале каждой классической гимназии стояли две доски: белая и красная. Белая называлась серебряной, а красная — золотой. Имя ученика, окончившего гимназию на круглое четыре, вписывалось навсегда на "серебряную доску", а ему самому выдавалась серебряная медаль. Если же ученик кончал на круглое пять, то его имя вписывалось на "золотую доску", и ему выдавалась золотая медаль. Обе доски, со всеми именами счастливцев, оставались стоять в актовом зале, пока существовала сама гимназия.

Одну из таких классических гимназий, ту самую, которую до него окончил знаменитый писатель Чехов, и при почти том же педагогическом составе, окончил мой отец.

Двадцатью годами раньше, провинившегося или плохо учившегося ученика, по постановлению педагогического совета, пороли розгами; но во времена моего отца порки больше не существовало.

Выдержан последний выпускной экзамен. Счастливый кандидат, лихо надвинув на лоб, заранее приобретенную студенческую фуражку, и с дымящейся папиросой в зубах, смело переступает порог директорского кабинета. Он пришел получить аттестат зрелости, и попрощаться со своим бывшим грозным начальником. Теперь этот последний ему не страшен. Он — студент! Такое поведение, только вчера окончившего гимназиста, считалось большим шиком.

Еще два слова:

Педагогический персонал, как и все чиновники Министерства Народного Просвещения, имели честь принадлежать к трем государственным организациям не бравших взяток (и это в стране, в которой все держалось на них). Второй такой организацией было Министерство Правосудия. Третьим, не бравшим взяток, как ни странно, являлся жандармский корпус.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Таганрогские легенды.

Таганрог — мой родной город. В нем родились: мой дед, две мои бабки, мой отец и я. На его еврейском кладбище покоются: мой прадед Моисей Вейцман, моя прабабка Хеня, мой прадед Филипп Моисеевич Гольдберг и мой дед Давид Моисеевич Вейцман.

Много раз я смотрел на почтенное здание классической гимназии, находившееся недалеко от Нового Рынка, и старался себе представить мальчика, в гимназической форме, с ранцем за плечами, входящего в его двери. Этим гимназистом мог быть Моисей Вейцман — мой отец. От Нового Рынка ведет к маяку и приморскому бульвару длинная и прямая улица. Когда мой отец, или маленький Антон Чехов, шли по ней в гимназию, она называлась Монастырской. Теперь эта улица носит имя великого писателя: Чеховская. Антон Павлович родился, и провел все свое детство, в одном из одноэтажных домиков, выходящих на эту улицу. В его доме, в мое время, помещался Чеховский музей.

Почему прежде эта улица называлась Монастырской? Никакого монастыря, сколько мне известно, не только при мне, но даже в эпоху детства моего отца, на ней не было. Зато на параллельной к ней Александровской улице помещался большой греческий монастырь. Когда, еще маленьким мальчиком, я жил в моем родном городе, этот монастырь был пуст и тих: над ним, как и над всей страной, пронеслась Революция. Но много позже мой отец мне рассказывал, и его рассказ в последствии мне подтвердил один таганрогский грек, что "святые отцы", проживавшие в его стенах, являлись постоянным предметом скандала всего города. Говорили, что приличная женщина не могла проходить мимо. Оргии в нем сменялись оргиями, и по вечерам из его открытых окон вырывалось хоровое пение, ничего общего с псалмами и молитвами не имевшее. Не могу понять, как это высшее духовенство могло терпеть такое поведение монахов, хотя бы и греческих.

Не только скандальный греческий монастырь, чеховский домик и подземный ход, ведущий из Крепости в Карантин, являлись достопримечательностью Таганрога. В этом провинциальном городке существовал императорский дворец, т. е. небольшой одноэтажный дом, в котором прожил очень короткое время и умер "Царь Благословенный", Александр Первый. Да умер ли он там?

Белая петербургская ночь; спит столица. Перед Зимним Двор-

цом шагает часовой. Еще одну бессонную ночь проводит в своем покое, не по возрасту состарившийся и почти оглохший господин. Он глубоко несчастен, и очень устал. Кто, увидя его в эту минуту, смог бы сказать, что это тот самый человек, о котором один поэт, в порыве чрезмерного восторга, воскликнул:

"Мира вождь, царей диктатор —
Наш великий Император!"

В последние годы Александр Павлович впал в самый мрачный мистицизм; но ничто не давало забвения. Ведь он знал о готовившимся дворцовом перевороте, и мог бы его предотвратить. Но можно ли было оставлять власть в руках безумца?!

Екатерина Великая предвидела это, и лишив трона сумасшедшего сына, завещала корону ему, ее любимому внуку. Безбородко сжег завещание — старый развратный негодяй! Глубокой ночью заговорщики проникли в спальню Павла Первого, и задушили его там. Пален! Николай Зубов! Проклятые убийцы! "Нельзя съесть яйца не разбив его". "Бедный Павел! Бедный Павел!" Видит Бог: он не предвидел этого! Да правда ли, что не предвидел? А Петр Третий? Нет, он не знал, он не хотел этого! Он невинен! Он совсем невинен! Господи, прости отцеубийцу.

Царь очень болен. Он уехал лечиться в маленький южный приморский городок: Таганрог. Эта новость облетела всю Россию. Но почему такой странный выбор — Таганрог? Какое там лечение?

Снова ночь; но другая: южная, темная, таганрогская. Поздняя осень; холодно; падает легкий снег. Перед дворцом шагает часовой. В окнах дворца свет. Царь умирает. По крайней мере так утверждали вчера в казарме. Шагает часовой, глядит перед собой в пустынную ночную улицу Таганрога, и думает о том, что все люди умирают: даже цари. Вдруг, дворцовая дверь открывается, и в ее освещенном прямоугольнике появляется, закутанная в военный плащ, знакомая фигура царя. Часовой застывает на месте, и отдает поспешно честь. Царь козыряет в ответ, и любезно улыбнувшись, поспешными шагами удаляется от дворца, и скрывается во мраке ночи. Часовой удивлен; но удивляться не его дело: он должен, до смены, стоять на часах. Через пол часа его сменили, и войдя в казарму он услыхал потрясающую новость: умер царь. "Это неправда! — воскликнул солдат. — Пол часа тому назад я сам его видел. Он вышел из дворца, и прошел мимо меня".

Так родилась еще одна русская легенда. Рассказывали, что им-

ператорский гроб был подозрительно легок. Говорили, что в Сибири появился старец, в котором будто бы узнали покойного царя. Мало ли, что еще рассказывали! История России, как и всего человечества, полна подобными неразрешимыми загадками; но Таганрог обогатился еще одной исторической легендой. Но не одной только ею знаменит мой родной город.

Таганрогский порт невелик, и море Азовское неглубоко; однако мелкосидящие торговые суда, русские и иностранные, способные пройти через Керченский пролив, постоянно заходят туда. Вот и сегодня, в этот летний день 1834 года, в нем стоят и грузятся несколько кораблей. На корме одного из них плещет на ветру пьемонтский флаг. Наступающие сумерки постепенно скрывают, расположенный на невысоком мысе, маленький город, и остатки старинной крепости.

В порту, над дверями кабаков, трактиров и разных других увеселительных учреждений, зажгли огни. Из обжорок тянет аппетитным запахом жареной рыбы, а у дверей домиков, с красными фонариками, стоят женщины и зазывают идущих мимо моряков.

Молодой пьемонтский матрос, лет двадцати с лишним, светлый шатен, с открытым и симпатичным лицом, украшенным маленькой бородкой, тоже сошел на берег. Он, как и его товарищи, за несколько дней плавания, проголодался, и теперь мечтает о свежей жареной рыбе, о стакане хорошего вина или рюмки русской водки и о женщинах. С чего начать? Ночь еще вся впереди; и он, не долго думая, заходит в первый подвернувшийся кабачок. Там уже шумно и дымно. Найдя свободный столик, он садится за него, и объясняет подошедшему половому, на каком-то невозможном наречии, что он хочет бутылку красного вина, и какую-нибудь закуску. Половые портовых кабаков понимают совершенно все языки мира, и через несколько минут, перед молодым пьемонтезцем, стоит уже бутылка красного донского вина, и тарелка с кусками жареной рыбы. Матрос наливает себе стакан и пьет: вино недурно; но уступает итальянскому.

За соседним столиком сидят два молодых человека, и о чем-то, в пол голоса, оживленно беседуют между собой. Один из них — жгучий брюнет, а другой — шатен. Около брюнета лежит газета, напечатанная на родном языке. Матрос читает ее название: "Молодая Италия". Он уже и раньше, несколько раз, где-то видел эту газету; но не интересовался ею. Во всяком случае рядом сидят

земляки, и это очень приятно. Надо заговорить с ними: "Друг, одолжи мне, пожалуйста, твою газету". Оба итальянца, как по команде, поворачиваются к нему, и окидывают его всего подозрительным взглядом; но тот, около которого лежала газета, пожимает плечами, и передает ее матросу: "Чтож почитай – это полезно. Да ты сам кто будешь? Откуда?" Акцент у вопрошающего тягуч и певуч, не оставляя, у слушающего его, никакого сомнения, что брюнет родился под сенью Везувия. "Я матрос", – и вопрошаемый назвал имя своего судна.

– Откуда ты родом? – продолжал допрашивать неаполитанец.

– Я пьемонтезиц, и родился в Ницце.

– Да, что ты его допрашиваешь точно в австрийском застенке, – прерывает брюнета его товарищ. – Не видишь что ли?: парень простой и симпатичный. Эй, дружище, присаживайся к нашему столику.

Судя по акценту, вступившийся за матроса был уроженцем Милана.

– Ну-тка, поговорим немного: что ты думаешь о нашей несчастной Италии? На севере царят проклятые австрийцы; в центре сидит папа, а на юге – Бурбоны.

Молодой матрос весь загорелся:

– Давно пора их всех выгнать из нашей земли. Только как это сделать?

– А вот мы и хотим добиться этого.

– Вы кто же? Карбонарии?

– Нет, не карбонарии; это устарело. Мы члены тайного общества "Молодая Италия", и наш вождь, издатель этой самой газеты, немногим старше тебя, генуэзиц Мадзини. Мы хотим объединить всю страну, от Сицилии до Альп, и освободив ее, провозгласить в ней Республику. Хочешь быть с нами?

– Конечно хочу, – радостно восклицает матрос, – запишите меня в ваше тайное общество.

– Что ж, запишем его? – обращается с вопросом Ломбардиец к своему неаполитанскому товарищу, – ведь нам нужны такие парни как он.

– Запишем. – Соглашается Неаполитанец. – Как тебя зовут, матрос?

– Джюзеппе Гарибальди.

Правда ли, что свою геройскую эпопею Освободителя, вели-

кий Гарибальди начал в порту моего родного города? Или это только легенда? Кто мне ответит на этот вопрос?!

Было у нас еще одно предание, которым мы, впрочем, не очень гордились: будто, в тюремной камере таганрогской крепости, при "Матушке" Екатерине, посаженный туда за мелкое воровство, начал свою полуразбойничью, полуреволюционную, карьеру, казак Емельян Пугачев.

На тихой уличке, благоухавшей акацией и сиренью, стоял одноэтажный особняк, отделенный запущенным маленьким садом, от таких же, как и он, особняков. Давно, давно в нем никто не жил, и кому он принадлежал я не знаю; но очень дурной славой пользовался этот простенький домик. Говорили в народе, что по ночам он бывает посещаем привидениями. Может быть, попросту, мои гордые сограждане не могли примириться с мыслью, что, дескать, все уважающие себя города имеют хотя бы один дом с привидениями, а у нас такого нет; вот и выдумали они этот дом. Может быть в нем, по ночам, как говорили другие обыватели, собирались воры и всякий сброд, а то, чего доброго, и фальшивомонетчики. Так или иначе; но вот что, в девяностых годах прошлого века, произошло в его стенах:

Как всегда бывает в подобных случаях, нашелся молодой и смелый вольнодумец, заявивший, что в привидения и в чертей он не верит, и готов, на спор, провести в этом доме всю ночь. На случай если, действительно, в нем собирается всякий сброд, он берет с собой шестизарядный револьвер, а там, по его словам: "Увидим кто кого!" В теплый и тихий июньский вечер, молодой человек был отведен его друзьями, с которыми он держал пари на довольно крупную сумму, в этот особняк.

В одну из его, давно пустовавших, комнат были поставлены небольшой кухонный стол и стул. Молодой человек взял с собой подсвечник, несколько свечей, пачку папирос, коробку спичек, и, конечно, шестизарядный револьвер. Устроив там их приятеля, друзья поспешили уйти; но, во избежании обмана, уходя, наложили печати на две входные двери, и на окна особняка. Удобно усевшись на стуле, и положив перед собой револьвер, смелый юноша закурил папиросу, и приготовился провести так короткую июньскую ночь. Тихо было в заброшенном домике, только "сверчал" сверчок, да потрескивала порой горящая свеча.

На утро пришли приятели, сняли печати, открыли дверь и вошли в комнату. За столом, около догоревшей до конца свечи,

навалившись всем телом на стол, сидел их друг. Он был мертв. Его правая рука безжизненно повисла, а рядом, на полу, лежал, выпавший из нее, револьвер. Он был разряжен, и дуло его закоптело. Было ясно, что бедняга выпустил весь заряд. Очень скоро, в стене напротив стола, были найдены шесть отверстий, сделанных пулями. Видимо, перед смертью, он стрелял в кого-то, или во что-то, в этом направлении. Все печати на дверях и окнах были нетронуты, и никаких следов присутствия в доме других людей не было найдено.

Вскрытие тела несчастного указало на отсутствие каких-либо следов насилия. Врачи установили смерть, пришедшую, несомненно, от очень сильного душевного волнения; может быть, страха или ужаса.

Никто больше проводить в этом доме ночь не пытался, и дурная слава установилась за ним окончательно.

Дом простоял до Революции, и во время гражданской войны в него вселили взвод буденовцев. Обитавшие в нем ранее духи не появились, и, вероятно, покинули его навсегда, не выдержав крепкого "духа" бравых красноармейцев.

В двадцать первом году дом был разрушен, и его окна, двери, полы и потолки пошли на топливо, и сгорели в "буржуйках".

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Начало служебной карьеры моего отца.

Мечтою юности моего родителя было стать медиком-психиатром; но когда, в 1896 году, с аттестатом зрелости в кармане, он в последний раз переступил порог гимназии, требования реальной жизни заставили его выбрать совершенно иную деятельность: нужно было подумать о будущем младших братьев и единственной сестры. На семейном совете было решено, что мой отец не будет продолжать своего образования; но начнет работать и помогать своей семье.

В шестидесяти верстах от Таганрога расположен большой и шумный торгово-промышленный город — Ростов на Дону. В нем жило несколько семейств наших отдаленных родственников, и среди них, гостивший в то время в Таганроге, троюродный брат моего отца, Яков Городецкий. Узнав о решении семьи, он предложил свои услуги. Через неделю оба троюродных брата уехали в Ростов.

"У меня имеются отличные связи, — сказал отцу Яков. — Сначала пойдем в Азовский банк, и если там тебя примут на службу, то твоя будущность обеспечена".

Директор банка встретил их очень любезно, внимательно выслушал, и предложил им зайти к нему снова недели через две.

"А пусть он идет к черту! — воскликнул, по выходе из банка, рассерженный Яков Городецкий. — Зайти к нему через две недели — это не ответ; пойдем к Дрейфусу".

Французская хлебная, экспортно импортная фирма Луи Дрефус и К., ворочала миллиардами, и покрывала густой сетью своих отделений весь мир. В Ростове помещался административный центр, управлявший всеми конторами этой фирмы, расположенными на территории России, и сам он подчинялся непосредственно Парижу; а в нем, окруженный своими самыми ближайшими сотрудниками, управлял еще твердой рукой, всей своей мировой, торгово-финансовой империей, престарелый сын ее основателя, Леопольд Луи Дрейфус.

Главный директор, выслушав Якова Городецкого, и поговорив с отцом, велел ему на завтра явиться на службу. Так началась карьера моего отца.

В первые дни ему поручили работу, не требовавшую больших знаний: с помощью специального пресса снимать копии с некоторых деловых бумаг. К счастью, такая его деятельность продолжалась недолго. Через пару месяцев посетил ростовскую контору, старший сын и наследник Леопольда Луи Дрейфуса, Альберт Луи Дрейфус. Директор представил ему всех служащих, и между ними моего отца. Наследник фирмы заинтересовался новым молодым сотрудником, и заговорил с ним по-французски. Услыхав как свободно он объясняется на этом языке, Дрейфус удивленно спросил: "Скажите, сколько времени вы жили во Франции?" Мой отец, со скромным видом, объяснил, что он никогда не выезжал за пределы России, но этому языку выучился у своего гувернера — француза. "Молодой человек, - заявил Альберт Луи Дрейфус, — вы сделаете у нас карьеру". Вскоре после его отъезда, мой отец был переведен в ростовский порт на пост помощника магазинера.

По приезде в Ростов, мой родитель поселился у своего двоюродного дяди, доктора Островского. Так как евреи, не родившиеся в этом городе, права жительства, без особого на то разрешения, не имели, то доктор Островский, заплатив кому сле-

довало, приписал его к своей семье. Этот двоюродный дядя моего отца был известным в городе врачем – венерологом, и считая, некоторым образом, себя ответственным за жившего у него молодого человека, старался предостеречь его от опасностей, серьезность и размеры которых он, благодаря своей профессии, знал лучше, нежели кто другой. Гуляя по вечерам с моим отцом по Большой Садовой, главной улице города, дядя – врач поучал своего племянника: "Видишь этого господина, который разговаривает с той уличной девицей? О чем он ее спрашивает?" – "О цене", ни минуты не задумавшись отвечает экзаменуемый. "Правильно: на пять с плюсом; но о цене на что?" – "О цене на любовь", – засмеялся мой отец. "Какие ты глупости говоришь! – возмутился доктор Островский, – при чем тут любовь? Он просто спрашивает девицу: – Сколько возьмешь за сифилис? – а та ему отвечает: – Пять рублей. – Дорого, я не миллионер, скинь немного. – Они сойдутся на трех рублях, а через пару недель, этот самый господин придет ко мне, или к одному из моих коллег, лечиться, но только это ему будет стоить много дороже, и не только в смысле денег. В результате подобных уроков по венерологии, мой отец возымел такой страх перед болезнью, и бедными женщинами, предполагаемыми ее носительницами, что уже много позже он постарался передать этот страх и мне, но надо сказать правду – без большого успеха. Однако природа имеет свои незыблемые законы, и вскоре он подружился с миловидной и чистенькой швейкой. В его времена подобная связь называлась "гигиенической".

Будучи помощником магазинера, а вскоре и магазинером, мой отец был принужден ходить на службу в порт, чуть ли не на рассвете. Ростовский порт, как и все порты мира, кишел всякого рода босяками и хулиганами. Кто-то посоветовал ему раздобыть себе хороший, шестизарядный, револьвер, что он и сделал. Представить себе моего родителя с огнестрельным оружием в руках – выше моих сил. Более невоенного человека я никогда не встречал. Однажды, рано утром, при спуске в порт, ему повстречалась группа парней совершенно каторжной наружности. Втайне изрядно струсив, но внешне не потеряв присутствие духа, мой отец выхватил свой револьвер, и судорожно сжимая это смертоносное оружие, в своей несколько дрожавшей руке, угрожающе направил его на приближавшихся парней. Один из них, ничего не говоря, пошел прямо на моего отца, и подойдя вплотную к нему, спо-

койно начал разжимать, один за другим, пальцы руки державшей револьвер. Все это он проделал без слов, без угроз и довольно деликатно. Разжав все пальцы и отняв револьвер, он повернулся, и не говоря ни слова, присоединился к молча ожидавшим его товарищам, и вместе с ними удалился в противоположном направлении. Картина!

Прослужив около двух лет магазинером, отец был переведен, с повышением, в известное кубанское село, Белую Глину. Белая Глина — самое большое село всей России. Население его равнялось числу жителей небольшого города, но состояло почти исключительно из земледельцев. В этом селе помещалась небольшая контора Дрейфуса, штат которой состоял из пяти человек, включая мальчика на побегушках. Эта контора занималась, на месте, закупкой пшеницы у землевладельцев. Мой отец был назначен туда бухгалтером, и по совместительству, помощником директора. Директором конторы состоял некий Вольфман, господин 35 лет. Он был женат, и его хорошенькой жене было 24 года, а моему отцу около двадцати. Подробностей я не знаю, но месяцев через шесть, Вольфман стал слезно умолять высшее начальство о переводе моего отца в другое отделение. Ростов снизошел к мольбам ревнивого мужа, и нарушитель семейного спокойствия господина директора был переведен в Харьков. Расстались они врагами на всю жизнь.

Харьков — громадный университетский город; один из самых больших городов России. Как и все крупные жизненные центры страны, он находился вне "черты оседлости". Исключением из этого правила служила только Одесса. Такова была воля царского правительства. Приехав в Харьков, и явившись на место своей службы, мой отец занялся оформлением своего права на жительство. Первым делом он пошел к приставу того городского района в котором он намеревался поселиться, и осведомился о цене. Договорившись, и заплатив "блюстителю порядка" требуемую взятку, он, со спокойной совестью нанял комнату в одном из больших и комфортабельных домов, не далеко от места своей службы. Не знаю, что сказали, в ближайшем участке, старшему дворнику этого дома, но при встрече с моим отцом он неизменно почтительно снимал перед ним фуражку, и кланялся. В Харькове мой отец прожил больше года, до самой своей свадьбы, незадолго до которой он, по его личной просьбе, был переведен в Мариуполь, где проживала семья моей матери.

После свадьбы мои родители оставались жить в семье моего дедушки.

ГЛАВА ПЯТАЯ: Гадания и сны.

Лето 1902 года. Мужчины на службе, а женщины дома. Бабушка хлопочет по хозяйству; она все еще оплакивает смерть своего старшего сына, и ежедневной работой старается заглушить свою душевную боль. Мама и тетя Берта сидят в тени, во дворе, а маленькая Рикка забавляется в доме со своей куклой. Мама читает модный роман, а Берта мечтает. В этом году она окончила гимназию, и собирается поступить на зубоврачебные курсы. Но не о курсах размечталась восемнадцатилетняя девушка. Недавно она познакомилась с очень интересным юношей, будущим провизором, Наумом Касачевским; но он теперь в Харькове, а Харьков далек. Ах, как хочется любить! У моей мамы другие заботы: вот уже полтора года как она замужем, а ребенка все еще не предвидится. Врач, к которому она обратилась, не понимает причины. У двух молодых и совершенно здоровых людей должны быть дети, и мама надеется их иметь. Мама вновь погружается в чтение романа, но ненадолго — скрип калитки отрывает ее от книги. Во двор входит пожилая, смуглая цыганка. "Здравствуйте, голубки. Дайте двадцать копеек — погадаю: всю правду вам расскажу". Мама боялась гадалок: "Скажет еще тебе что-нибудь плохое, хоть и не веришь, а невольно думаешь". На этот раз, однако, ей захотелось приподнять занавесь над будущим, и для этой цели она дала цыганке двадцать копеек. Гадалка проворно спрятала деньги, и вынув горсть бобов, начала подбрасывать их на руке и говорить нараспев: "Счастлива будешь, голубка, богата будешь, долго жить будешь". — "Ладно, — улыбнулась мама, — а ты мне лучше скажи: сколько детей буду иметь?" Цыганка пристально взглянула на нее и сделалась серьезной. Подбросив раза два свои бобы, и внимательно глядя на них, она заявила: "Не будет у тебя детей; совсем не будет". — "Типун тебе на язык!" — рассердилась на нее моя мать. "Постой, голубка, не сердись", — возразила гадалка, и еще несколько раз подбросила бобы на своей руке. Теперь смуглое лицо ее сделалось еще серьезней, и приняло напряженное выражение. Она смотрела на них и что-то шептала. Наконец, подняв голову, гадалка категорически заявила: "Будет у тебя, голуб-

ка, один ребенок, а больше детей не будет". — "А теперь мне погадай, — сказала Берта, — скоро ли я увижу моего любимого мужа? Два месяца как уехал, и вестей не подает". Цыганка быстро взглянула на нее. "Ну, чего брешешь? Ты еще девица, и никакого мужа у тебя нет". Берта рассмеялась. В это время из дома вышла моя бабушка, и увидя цыганку рассердилась: "Вот еще занятие нашли: грех это. Да и цыгане все воры, такой уж народ: вечно что-нибудь украдут. Пошла вон!" — "Не серчай, не серчай. Я знаю, что ты — ух, какая сердитая! а сердце у тебя доброе, да только на нем горе лежит камнем тяжелым — горькое горе". Услыхав это моя бабушка, как говорится, растаяла. Велела позвать ее на кухню и хорошо накормить. Потом дала ей немного денег, и она ушла очень довольная. Предсказание ее сбылось.

Год спустя, мой отец гостил, у своих родителей, в Таганроге. Однажды ночью ему приснился сон: он стоит на еврейском кладбище, и со страхом видит, что из всех могил поднимаются мертвецы. Все они в белых саванах. Один из них, высокий старец, с длинной белой бородой, приблизился к нему со словами: "Не бойся — я твой дед, и пришел тебе сказать, что жена твоя родит тебе одного сына, если сможет удержать его в чреве своем". Все исчезло! Портрета моего прадеда не существовало, так как, в его время еще строго соблюдалась Вторая Заповедь, запрещающая воспроизводить образы живых существ. Но когда, на утро, мой отец рассказал своей старой бабушке Хене свой сон, и описал ночное видение, она воскликнула с удивлением: "Да, да: он был точно таким!"

ГЛАВА ШЕСТАЯ: Снова Ростов.

У Дрейфуса был свой особый способ образования кадров: переводить, то и дело, с места на место, и обучать таким путем, избранных им служащих, всей многосторонности своего громадного предприятия. Каждый такой перевод сопровождался повышением по службе и увеличением жалования. Осенью 1902 года, мой отец, по воле высшего начальства, вновь очутился в Ростове на Дону. Но какая, однако, огромная разница! Что общего между безусым юношей, принятым на скромную должность копировщика деловых документов, и этим двадцатипятилетним женатым господином, одним из помощников главного бухгалте-

ра, огромной и сложной центральной бухгалтерии ростовской конторы Дрейфуса. Ему больше незачем вставать с петухами, и спешить в порт, рискуя встретить банду хулиганов. Работа теперь у него спокойная и чистая, а жалование несравненно большее. Но в жизни не все так просто, как кажется: по крайней мере – для еврея. Покинув, в свое время, по долгу службы, Ростов, и гостеприимную семью дяди-врача, он вновь потерял право на жительство в этом городе. Будучи теперь человеком совершеннолетним и женатым, мой отец не мог больше рассматриваться, как член этого семейства.

Ростов на Дону был вторым административным центром, и первым по величине городом, Области Войска Донского. Кто теперь ясно себе представляет разницу между областью и губернией? А между тем она была немалой. Одной из характерных отличительных черт была взятка. В губерниях ее брала вся администрация: от старшего дворника и городового, до пристава, полицмейстера, а нередко и до губернатора. Приведу для примера два анекдота:

1

В эпоху, о которой я повествую, в России были в ходу разноцветные ассигнации: зеленые трехрублевки, синие пятирублевки, красные десятирублевки и т. д.

Дело происходит в грязном полицейском участке. На одной из стен висят портреты "высочайших" особ, густо засиженных мухами. Воздух в участке: "хоть топор вешай". Под портретами, за запачканным чернилами столом, сидит околодочный надзиратель. Перед ним, сняв свою фуражку, стоит какой-то полупочтенный "господин". Между ними происходит следующий диалог:

Околодочный: Ты у меня, мерзавец, покраснеешь!

"Господин": Позеленею, Ваше Благородие.

Околодочный: А я тебе говорю – покраснеешь!

"Господин": Позеленею, Ваше Благородие.

Околодочный: Покраснеешь, мерзавец!

"Господин": Ваше Благородие, я посинею.

Околодочный: Посинеешь, говоришь? – Ну, черт с тобой, синей!

Из рук одного мерзавца, в руки другого, переходит синяя пятирублевка, и двери на волю, для одного из них, широко открываются.

2

Поспешим, дорогой читатель, из вонючего полицейского участка, в фешенебельный кабинет крупного дельца. Опустимся невидимкой в удобные, кожаные кресла, и понаблюдаем: все здесь чисто; воздух благоухает дымом дорогих сигар, и немного одеколоном. За большим письменным столом восседает сам хозяин этого кабинета. Он проектирует дело по поставке материалов на постройку дороги, долженствующую пересечь энскую губернию. Все было бы хорошо, и делец прибавил бы себе, к двум десяткам уже имеющихся миллионов, еще один; да вот беда: губернатор делает всяческие затруднения, и, верх бесстыдства: взяток не берет.

"К вам пришел молодой человек, о котором я вам вчера докладывал; — почтительно произносит, вошедший в кабинет секретарь — прикажете принять?" — "Пусть войдет". В кабинет смело входит молодой человек лет двадцати пяти. Одет он с претензией на моду, но безвкусно: волосы у него напомажены, манеры самоуверенные, глаза наглые.

Делец (не приглашая садиться) : "Мне передавали, что вы можете уладить известное вам дело; так ли это?

Молодой человек (садясь без приглашения) : Совершенно верно: могу.

Делец (с любопытством рассматривая нахала) : Объяснитесь.

Молодой человек: Две катеньки пожалуйте. (Получает двести рублей, и прячет их в карман) . У вас прекрасные сигары: разрешите одну. Благодарю вас. — Закуривает.

Делец: К делу!

Молодой человек: Вам вероятно известен ресторан "Лондон". Он у нас считается лучшим в городе. С губернатором вы, кажется, лично знакомы. Выдумайте любой предлог, и пригласите Его Превосходительство на ужин, в этот самый ресторан: икра, водка, шампанское, белорыбица, дичь, иностранные вина и т.д. Словом, не мне вас учить. Можно нанять цыганский хор. Его Превосходительство любит цыганское пение, и, гм... молодых цыганок. После окончания банкета, я уверен, вы с ним расстанетесь друзьями. Хозяину ресторана прикажите доставить счет на дом. Не позже чем через сутки вы этот счет получите. После цен на все яства будет стоять: "За разбитое зеркало — 100.000 рублей. Кстати: если вы суеверны, то зеркал можете не бить. Этот счет вы оплати-

те немедленно, а затем смело приступайте к делу: никаких больше затруднений не последует.

Делец: А если вы меня обманываете?

Молодой человек (сухо) : Ваш риск.

Но делец обманут не был.

Теперь, после этого обвинительного акта, я хочу сказать несколько слов в защиту обвиняемой взятки:

В своем бессмертном произведении "Былое и Думы", Александр Герцен рассказывает о том, как в царствование Николая Первого, наследник одного богатого помещика, проживавшего за границей, донес Императору, что этот помещик изменил своей вере и перешел в католичество. В силу существовавшего закона, все имущество вероотступника переходило к его прямому наследнику, а за неимением оного – в казну. Доносивший просил Царя о применении закона. Николай Первый поставил на прошении следующую резолюцию: "Проситель: подлец, но поступать по закону". По этому поводу Герцен замечает: "Проситель, конечно, подлец, но, главное, закон – подлец". Не мало было таких законов – подлецов в русском царском законодательстве. Если взятка часто помогала подлецам всех калибров обделывать безнаказанно их грязные делишки, то она же, еще чаще, помогала десяткам тысяч честных людей избегать подлецов – законов. К сожалению все правые и неправые законы распространялись не только на губернии, но и на области. Разница состояла только в том, что в казацких областях высшая администрация взяток не брала, а низшая если и брала, то с оглядкой.

Область Войска Донского делилась на округа, а эти последние состояли из города и ближайших к нему станиц. Во главе их стояли, свободно избираемые казаками, атаманы: окружные и станичные; но всей Областью правил Наказный Атаман, т. е. назначенный Петербургом, и этот сановник являлся чем-то вроде вице-короля, с почти царскими прерогативами, идущими вплоть до права миловать приговоренного. Обыкновенно он не был казаком, и принадлежал к высшему петербургскому обществу. Предложить ему взятку было все равно, что предложить ее самому царю. Младшая администрация равнялась на старшую, и еврею, не имевшему там право на жительство, обойти этот закон было почти невозможно.

Во время своего проживания в губернском городе Харькове, мой отец, как я уже писал выше, платил полицейскому чиновни-

ку ежемесячную взятку, и все шло как по маслу. Приехав в Ростов, он попытался применить тот же метод, и с этой целью отправился к приставу своего участка. Пристав взятку принял, был любезен, но объявил напрямик, что может закрыть только один глаз, и то на время, на такое явное нарушение закона. В продолжении нескольких месяцев, мой отец, каждое первое число, ходил к нему, и платил его благородию все увеличивающуюся сумму. Наконец, сей блюститель законов, заявил, что в силу оных: Моисей Давидович Вейцман, таганрогский мещанин, иудейского вероисповедования, безотлагательно обязан покинуть город. Как мой отец мог согласиться на это? Вся его карьера у Дрейфуса находилась под угрозой. Чтобы выиграть время, он обещал уехать, и, конечно, остался. В один прекрасный день, сам пристав осчастливил отца своим посещением, и велел ему немедленно собираться в дорогу. Когда сборы были окончены, этот господин проводив до вокзала, посадил его в поезд, идущий в Таганрог, и терпеливо дождался на перроне его отхода. Что было делать моему бедному отцу? Доехав до первой станции, станицы Гниловской, он вышел из вагона, и дождавшись встречного поезда, вернулся в Ростов. Однако так продолжаться далее не могло. В дело вмешалась, со свойственной ей энергией, моя мать. Посоветовавшись с некоторыми опытными людьми, она написала прошение на имя Наказного Атамана, о даровании ее мужу, необходимое ему право на жительство, и одна поехала в Новочеркаск. Увы! там ее ожидало разочарование: Атаман был в отъезде, и его ждали не раньше чем через неделю. Вместо него мою мать принял, очень любезно, какой-то высокопоставленный чиновник, и выслушав благосклонно суть дела, взял прошение. Выйдя от чиновника мама задумалась: она предполагала передать просьбу в руки самого Атамана. Поколебавшись с минуту, она вновь постучалась в двери кабинета. При виде ее, чиновник удивился: "В чем дело, сударыня?" — "Простите меня, но я желала-бы вручить прошение в руки самого Атамана". — "Уверяю вас, что это все равно, но как вам будет угодно", и с недовольным видом он вернул ей просьбу. Мама ушла немного смущенная, и развернув бумагу увидела, что на ней уже стояла, написанная красными чернилами, резолюция: Разрешить. Под резолюцией стояла подпись. Конечно она пожалела о своем необдуманном поступке, но было слишком поздно.

Прошла неделя, и узнав из газет, что Атаман вернулся в Новочеркаск, моя мать вновь отправилась туда. На этот раз ей при-

шлось, со многими другими просителями, ждать довольно долго, сидя на стуле, в длинном и довольно широком коридоре, служившем чем-то вроде приемной. Какие-то чиновники поминутно входили и выходили. Наконец появился молодой казацкий офицер, адъютант Атамана, и громко обьявил: "Атаман идет: прошу встать!" В приемную вошел пожилой военный, в эполетах полного генерала, и с орденами на шее и на груди. Каждый из ожидавших его выхода, в нескольких словах передавал ему содержание своей просьбы, после чего немедленно уходил. Моя мать поступила так же, но не ушла сразу, ибо ее вновь охватило недоумение: она ожидала, что резолюция по ее делу будет вынесена на месте. Атаман почувствовал это, и повернувшись к ней, с улыбкой сказал: "Хорошо, хорошо: вы можете идти; я рассмотрю вашу просьбу". Через две недели мой отец получил из Новочеркаска официальную бумагу, подписанную самим Наказным Атаманом, о даровании ему пожизненного права на жительство в Ростове на Дону.

Жизнь вошла в свою колею, и мой отец мог спокойно работать в бухгалтерии ростовской конторы Дрейфуса, огражденный, раз и навсегда, атамановым декретом от полицейских вымогательств. Все было бы хорошо, но одного в доме не доставало: у моих родителей все еще не было детей. Наконец, летом 1903 года, моя мать поехала в Харьков, посоветоваться с известным профессором-гинекологом. В Харькове она остановилась на квартире у своих дальних родственников со стороны ее отца. Визит к профессору ничего не дал: он нашел, что моя мать совершенно здоровая женщина, и не понимал причины ее бездетности. Пришлось примириться с этим фактом, тем паче, что она была еще очень молода и времени впереди было много.

Дня за два до своего возвращения в Ростов, идя по Сумской (главной улице Харькова), мама увидала группу молодых людей, юношей и девушек, в своем большинстве студентов, быстро строющихся в колонну. Среди этих молодых людей было немало евреев. Через несколько минут образовалось шествие, появился красный флаг, и молодежь, довольно стройно, запела хором русскую Марсельезу и Варшавянку. Мама, в то время, очень симпатизировала социал-демократам, и при виде начинающегося шествия примкнула к нему. Количество демонстрантов быстро росло. Мерный шаг и стройное пение создавало восторженное настроение, и так ярко полыхал впереди алый флаг, что казалось идущим: у них вырас-

тают за плечами крылья. Июльское солнце, голубое небо, и такие чудесные, зовущие слова:

Отречемся от старого мира;
Отряхнем его прах с наших ног.
Нам ненадо златого кумира;
Ненавистен нам царский чертог.

Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на борьбу, люд голодный!
Раздайся клич мести народной!
Вперед! вперед! вперед!

И шествие шло вперед по Сумской. Внезапно, откуда ни возьмись, появились конные казаки с нагайками в руках. На всем скаку они врезались в колонну демонстрантов и, изо всех сил стали стегать ими идущих. В одну минуту все смешалось; красный флаг упал. Моя мать едва успела выскользнуть из шествия, и зашагав по тротуару, как ни в чем не бывало, сделалась невольной свидетельницей страшных сцен: вот, нагнав бегущего студента, казак хлещет его по спине, и легкая летняя шинель, от удара, лопается на нем; здесь, другой студент, заслоняя лицо обеими руками, беспомощно мечется перед самой мордой лошади, а казак, сидя на ней и дико гикая, зверски избивает его с высоты своего седла; там, третий, спасаясь от преследования, вбегает в открытую дверь магазина, а конный казак пытается проникнуть туда, вслед за ним, вместе со своим конем. Один студент подбежал к маме, и взяв ее под руку, прошептал: "Ради Бога молчите: идущих по тротуару парочек не трогают". Действительно: казаки на них не обратили внимания, и моя мать благополучно достигла своего дома.

Мне хорошо понятен восторг и святой гнев тогдашней русской молодежи (где она теперь?). Всякий, искренне любивший свое Отечество, не мог примириться с возмутительным строем существовавшим в то время в России; но, что там делало еврейское юношество? Чье Отечество пыталось оно освободить? Кто был бы им за это благодарен? Думали ли они, свалив ненавистное самодержавие, уничтожить с ним и антисемитизм? Разве он является продуктом того или иного политического строя? Разве не при всех режимах он процветал всегда и везде, и процветает доныне? Только освободив свое собственное Отечество, можно надеять-

ся, и то со временем, убить эту двухтысячелетнюю и миллионоглавую гидру. У молодых евреев, начала двадцатого века, не было даже возможности оправдаться незнанием фактов: Сионизм уже существовал.

Глава седьмая: Феодосия.

Менее двух лет мой отец пользовался, дарованным ему Атаманом, правом на жительство в Ростове. Летом 1904 года он был переведен в феодосийскую контору, на должность главного бухгалтера. Контора Дрейфуса в Феодосии заведовала закупкой зерна на всем юге и югозападе России. Ей подчинялась вся огромная сеть отделений, покрывавшая Крым, Украину и Бессарабию, т. е. самую черноземную часть страны. Во главе этой конторы стоял ее главный директор, венгерский еврей, господин Зингер. Когда мой отец ему представился, Зингер сказал: "Молодой человек, вам предстоит ведержать трудный экзамен. Ваш предшественник был замечательным бухгалтером, но еще большим мошенником; он много наворовал, и очень умело запутал счетоводство. В конце каждого года, как вам известно, все бухгалтерские книги отправляются, для утверждения, в Париж. Если вам удастся привести их в порядок до декабря, то они будут утверждены, в противном случае я лично рискую быть в ответе. Покажите мне теперь ваши способности и знания, и я вам этого никогда не забуду. Завтра же принимайтесь за дело — я вам дам четырех хороших помощников".

Мой отец работал, непокладая рук, до самого конца года, но свое задание выполнил, и Париж утвердил баланс.

В январе 1905 года, Зингер назначил моего отца своим заместителем.

Уездный город Феодосия расположен на западном берегу залива, носящего то же название. При Александре Третьем он стал портовым городом. Этому много содействовал личный друг Императора, знаменитый художник Айвазовский. На юго-западе от города начинаются крымские горы. На первых их отрогах были расположены виллы богатых феодосийцев, а дальше, в горах, ютились татарские деревушки. Недалеко от Феодосии, на морском дне, покоятся развалины древнего Херсонеса. Городское населе-

ние состояло из: русских, татар, евреев, караимов и греков. В нормальное время все эти народности жили между собой довольно мирно. Правда, однажды, евреи и караимы сильно поспорили о том: кому принадлежала, откопанная недавно в горах, старинная синагога; но найденная при ней миква положила конец спорам в пользу первых.

Мои родители наняли квартиру, в хорошей части города, в доме, принадлежавшему одному очень богатому и знатному татарскому князю: Ширинскому. Сам князь жил в своей роскошной вилле, на склоне холма, откуда открывался вид на город и море. В этом человеке странно сочетались образованность с дикостью. Собственник богатейшей библиотеки, и сам будучи весьма начитанным человеком, однажды, в споре со своим тестем, он откусил ему нос. Несмотря на свою женитьбу на простой русской бабе, князь был принят при Дворе.

В конце зимы мой отец захворал: вероятно он простудился. Мама испугалась довольно высокой температуры и позвала врача. Ей кто-то посоветовал доктора Алексеева. Он оказался пожилым, одиноким господином, горбатым, с маленькими черными и проницательными глазами. Бегло осмотрев моего отца, он уселся к нему на кровать, и стал говорить с ним о политике. Наконец, окончив обзор всего политического положения мира, доктор Алексеев встал, попрощался и вышел в прихожую.

Моя мать, ждавшая с нетерпением этого момента, поспешила за ним, и следуя обычаю того времени, стыдливо всунула ему в руку гонорар, надеясь, что он теперь, наконец, заговорит с ней о больном. "Вы, барыня, молоды, а я уже стар: помогите-ка мне, пожалуйста, надеть пальто". Мама не выдержала, и помогая ему одеться, спросила: "Скажите мне, доктор, чем болен мой муж? Это опасно?" — "Вы, мадам, знаете, что у него?" — ответил на вопрос вопросом Алексеев. "Я не знаю, — удивилась мама, — ведь вы врач, а не я". — "Вы не знаете и я не знаю: может быть, у него брюшной тиф, а может и что другое", — флегматично ответил врач. "Боже, мой! что вы говорите?!" — испугано воскликнула моя мать. "Да вы не волнуйтесь: в первый день никто ничего не может знать. А вот через два дня вы придете ко мне и расскажете о состоянии его здоровья — тогда увидим. Пока что ничего страшного нет. Спокойной ночи".

Действительно, через два дня, мой отец был уже совершенно здоров. Мама все же пошла к врачу. Выслушав ее, доктор Алек-

сеев усмехнулся: "Теперь совершенно ясно, что у него ничего нет: простудился немного". Он был прекрасным врачем, но большим оригиналом. Социалист по убеждению — бедных он лечил даром.

У моих родителей служила молодая горничная. Ей случилось заболеть. Мои родители позвали к ней доктора Алексеева. Он пришел немедленно, со всевозможным вниманием осмотрел больную, и написал ей рецепт, поставив на нем: "Prome". Это "Prome" (для меня) давало ей право на получение, в любой аптеке, лекарства бесплатно. Мама хотела заплатить ему за визит. "Ни в каком случае: у прислуг я денег за визит не беру". — "Но это я вам плачу, а не она", — возразила ему моя мать. "Это все равно: сегодня вы мне заплатите мой гонорар, а завтра удержите всю или часть уплаченных мне денег из ее жалования". Никакие уверения и уговоры не помогли, и он ушел не взяв ни копейки.

Несколько лет спустя доктор Алексеев внезапно умер, сидя в своей коляске, между двумя визитами к больным.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: Революция 1905 года.

1905 год. Генеральная репетиция Великой Русской Революции. После убийства Александра Второго, черная реакция воцарилась над страной. Много было написано и сказано об этой эпохе, и не мне соревноваться, в ее описании, с ее живыми свидетелями. Скромно передаю перо самому талантливому поэту начала двадцатого века: Александру Блоку. Привожу отрывок из его прекрасной, но неоконченной поэмы: "Возмездие":

. . . . Грянул взрыв
С Екатеринина канала,
Россию облаком покрыв.
Все издалека предвещало,
Что час свершится роковой,
Что выпадет такая карта...
И этот века час дневной —
Последний — назван ПЕРВЫМ МАРТА.
. . . .

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня ни ночи,
А только — тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна;
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно
И затуманилась она,
Заспав надежды, думы, страсти...
. . . .
Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?
Но в эти времена глухие
Не всем, конечно, снились сны...
. . . .
Но в алых струйках за кормами
Уже грядущий день стоял,
И дремлющими вымпелами
Уж ветер утренний играл,
Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой,
Грозя девятым января.
Александр Блок.

Пока что, жизнь в Феодосии шла тихо и мирно. Мой отец получил от своего отца письмо, в котором он просил его взять к себе брата Михаила, и нанять ему хороших учителей. Об обстоятельствах вызвавших это письмо, и об отъезде дяди Миши из отчего дома в Феодосию, я писал выше.

За горами, за делами, за десятком тысяч верст от мирного, голубого крымского побережья, на Манджурских Сопках, отгремели пушки. Девятое января в Петербурге взволновало русское общественное мнение. Но мало ли чего не бывало на "Святой Руси?!" Поволновалась вся мыслящая часть населения, и успокоилась. В Феодосии, в одном из банков этого города, устроился

на службу третий брат моего отца, Иосиф, и вскоре женился. Его жена была зубным врачем. Моя мать очень подружилась с ней.

Начиналась крымская весна; зеленели сады вокруг богатых вилл. Единственные бури, свидетелями которых, в ту весну, были феодосийские обыватели, это — весенние штормы на Черном море. Порою подымался знаменитый Норд-Ост, и тогда оно из темно-синего превращалось в совершенно черное, и его чернильного цвета волны покрывались сверху белой, как снег, пеной. Но когда ветер утихал, и рассеивались тучи, то вновь проглядывало ласковое крымское солнце, и хорошо было тогда жить в теплой и уютной Феодосии, вдали от, пугавших робкие души, событий, так сильно волновавших всю Россию.

Наступило лето. Как прекрасен в июне южный берег Крыма! — Согретые солнцем приморские сосны благоухают хвоей; поют цикады, и звенят своими бубенцами, пасущиеся в горах, стада татарских коз. Все распологает к миру, к неге, к лени. Однако, несмотря на все соблазны южной природы, каждый был занят своим делом.

Мой отец много работает в конторе, он теперь — главный бухгалтер и заместитель директора. Дядя Иосиф начал свою банковскую карьеру. Его жена, тетя Таня, ожидает ребенка. Дядя Миша, несмотря на все соблазны крымской природы, прилежно зубрит латынь. Мама вступила в еврейский, дамский комитет благотворительности, и очень занята. Штиль! В музее Айвазовского, в Феодосии, любители живописи могли видеть его самую знаменитую картину: "От штиля к буре".

Газеты писали о волнениях в черноморском флоте, о бунте на броненосце Потемкине Таврическом, но все это было где-то за пределами феодосийского горизонта. И вот, в один из жарких дней конца июня, из-за этого самого горизонта, показалось большое военное судно: это был мятежный броненосец. Став на рейде, он грозно навел свои тяжелые орудия на мирно дремавшую, в летнем зное, Феодосию. От него отделились несколько шлюпок и пристали к берегу. Из них вышли вооруженные матросы, и смело пошли в город. Они потребовали у местных властей: хлеба, свежих овощей, мяса и угля. Странно было видеть этих моряков, с красными бантами на груди, спокойно расхаживающих по улицам, полных жандармами, полицейскими и военными. Угрожающе глядели жерла пушек, на затихший, в страхе, город. Но все

обошлось благополучно, и погрузив, к великому облегчению жителей, некоторое количество необходимого провианта, "Потемкин Таврический" оставил феодосийский рейд, и снова скрылся за далеким горизонтом. Трагическая эпопея, для несчастного броненосца, окончилась в румынской Констанце, но для огромной России она только начиналась.

Крымская осень — виноградный сезон. Но не до винограда было в этом году. Наступил октябрь, начались бури, задул свирепый Норд-Ост. Тяжело и тревожно было у всех на душе. Рабочие волнения явно приняли политический характер, и наконец, перешли во всеобщую, всероссийскую забастовку. Все остановилось. 30 октября 1905 года, царь Николай Второй, под давлением разразившейся Революции, "счел за благо" даровать стране "куцую" конституцию.

В тот же день, по секретному приказу Дурново, тогдашнего министра внутренних дел, во всей России начались, организованные полицией, кровавые еврейские погромы.

Как только весть о царском манифесте достигла Феодосии, великая радость вспыхнула в сердцах ее жителей. На площади, перед зданием городской Управы, появилась трибуна, и на ней стали выступать разные ораторы, по преимуществу — молодежь. В их числе находился и Миша. Все были счастливы, и чувствовали себя именинниками. Но к четырем часам дня, зловещие слухи поползли из далеких окраин и портовых притонов города.

В конторе Дрейфуса работа была окончена раньше обыкновения, и все служащие разошлись поспешно по своим домам. Но, когда мой отец вышел из конторы на улицу, то ему сразу стало ясно, что в городе начался погром. Уже слышался в дали все нарастающий вой пьяной и разнузданной толпы. Он бросился искать извозчика, но побоялся нанять русского, опасаясь предательства. Вскоре ему посчастливилось найти татарина, и тот повез его переулками, избегая больших улиц, и прислушиваясь откуда доносились крики громил. Татарскому извозчику удалось благополучно довести моего отца до дому. Мама ожидала его в страшном волнении. Но и дом не являлся убежищем: погромщики, при содействии всеведующей полиции, отлично знали адреса евреев. В это время приехал дядя Иосиф, со своей беременной женой. Оба они были бледны как снег, и рассказывали, что им едва удалось добраться сюда, так как в их районе уже льется кровь. Далекий гул зловеще нарастал. Внезапно, перед домом,

остановился роскошный экипаж, на дутых шинах, запряженный парой кровных лошадей. Из нее вышел князь Ширинский, и поспешно вбежал в квартиру: "Немедленно собирайтесь и поедем ко мне на виллу. Только там вы будете в безопасности. Через пол часа мои родители, вместе с дядей Иосифом и тетей Таней, все кроме Миши, находились на княжеской вилле. Князь отвел моим родителям свою собственную спальную комнату. С балкона ее были видны, далеко внизу, улицы Феодосии, и двигающиеся по ним толпы погромщиков. Отдаленный гул доносился до самой виллы. Неожиданно, неизвестно откуда, вбежала русская жена князя, и затараторила: "Только что я была у наших соседей. Они говорят, что мы укрываем у себя евреев". Князь побагровел: "Если ты еще раз выйдешь без моего позволения из нашей виллы, я тебя застрелю вот из этого ружья". При этих словах он подошел к стене, на которой у него висела целая коллекция огнестрельного и холодного оружия, и снял с нее большое ружье. Потом, обратившись к моим родителям, он прибавил: "Вы можете спать спокойно: только через мой труп погромщики смогут добраться до вас".

Три дня и три ночи длился погром, и три ночи не спал князь, шагая с ружьем, как часовой, перед своей виллой. Первые сутки мои родители очень беспокоились о судьбе Миши, но на второй день им удалось узнать, что все ораторы, произносившие речи на площади, перед городской Управой, были арестованы, и теперь спокойно сидят в тюрьме.

Трое суток буйствовали черносотенцы. Под крики: "бей жидов!", они убивали, ударами дубин по голове: мужчин, стариков и детей; насиловали молодых женщин и девушек; грабили и разбивали все еврейские дома и магазины, уничтожая все, что не могли унести с собой. Из распоротых матрасов и подушек, по улицам летали перья и пух. Три дня лилась еврейская кровь. Рассказывают, что громилы были все вооружены новенькими, совершенно одинаковыми дубинками, заранее приготовленными для них полицией. Один молодой еврей, знакомый моих родителей, получив страшный удар дубиной по голове, сделался, на всю жизнь, эпилептиком. Многие видели как по улице бежала простая русская базарная торговка, и голосила, заливаясь слезами: "Ой лихо! Там молодому еврейчику голову дубиной, проклятые, проломили. Лежит бедненький на мостовой, и из головы кровь течет".

В эти ужасные дни, доктор Алексеев объявил, что двери его до-

ма широко открыты для всех евреев. Но, что он мог поделать? На четвертый день, в феодосийский порт вошел военный крейсер. В город с него сошли вооруженные матросы, под командой офицеров, и погром немедленно прекратился. Феодосия была объявлена на военном положении. Конечно, все это было организованно заранее, как и в остальной России, центральным петербургским правительством. Полицмейстеры и пристава всех городов Империи получили тайный приказ об устройстве погромов: еврейских, везде, где проживали евреи; армянских, в Закавказии; а там, где не было ни армян, ни евреев — местной интеллигенции. (Бей его в грудь — у него грудь слабая! Бей его, я его знаю, — у него брат-студент!.) Царское правительство пыталось этим способом отвлечь народные массы от революции. К счастью, не все полицейские чины выполнили столь рьяно этот преступный правительственный приказ, как это сделали феодосийский полицмейстер и его помощник. На тайном заседании местного подпольного комитета партии Социалистов-Революционеров, им обоим был вынесен смертный приговор. Две недели спустя, при возвращении вечером к себе домой, полицмейстер был убит у самых своих дверей; исполнитель приговора выпустил в него всю обойму своего револьвера. На следующий день, помощник полицмейстера бежал из города и скрылся в необъятной России.

В ноябре вспыхнуло восстание моряков и солдат в Севастополе. Ими руководил лейтенант военного флота: Шмидт. Восстание было подавлено и Шмидт был казнен 6 марта 1906 года. В том же 1906 году, произошли два крупных события: ушло в отставку правительство графа Витте, и была созвана первая Государственная Дума. На место Витте, Николай Второй поставил Столыпина. Кончился пролог к Великой Русской Революции, и вновь наступила Реакция.

Столыпин решил действовать в двух направлениях:

1) Рассматривая Россию как страну, главным образом, земледельческую, он рассчитывал путем проведения крупных земельных реформ, в пользу раскрепощенных, но нищих, крестьян, привлечь их на сторону правительства.

2) Вновь, при первой возможности, изменить даже эту "куцую" конституцию, и получив легальную возможность, крутыми мерами разгромить и напугать все левое политическое движение существовавшее в стране.

Созванная в 1906 году Дума, была распущена в 1907 году. Со-

званная, немедленно, вторая Дума, просуществовала и того меньше. 16 июня 1907 года, Столыпин совершил государственный переворот, и после роспуска второй Думы, изменил конституцию, сведя почти к нулю все свободы, арестовал и сослал в Сибирь большинство левых депутатов, а в созванной третьей Думе оставил заседать только представителей правых партий и умеренного центра. Началась знаменитая столыпинская реакция, которую, один из поэтов тех лет назвал, с горькой иронией: "Днями Свободы". Привожу стихотворение этого поэта, имени которого я, к сожалению, не помню. Оно начинается пародией на известное стихотворение Лермонтова: "Казак усталый задремал, склоняся на копье стальное..."

"Дни Свободы".

Поэт усталый задремал,
Склоняся на перо стальное;
Всю ночь он желчно обличал,
Стихом своим, насилье злое.
Не спи, поэт: во тьме ночной
Следят жандармы за тобой.

Рабочий за станком стоит,
И Марсельезу напевает;
Трудом измучен, грудь болит,
Но песня силы прибавляет.
Умолкни, труженик, не пой:
Следят жандармы за тобой.

Крестьянин за сохой идет,
И урожай у Бога просит;
А между тем, про всех господ,
Кой что, негромко, произносит.
Молчи, крестьянин за сохой:
Следят жандармы за тобой.

Дитя играет на дворе;
Мать нежно смотрит из окошка,
Как ей, забывшийся в игре,
Платочком красным машет крошка.

Дитя, запрячь платочек твой:
Следят жандармы за тобой.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

Служебная карьера моего отца (1908—1911).

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Перевод отца в Геническ.

В начале 1908 года, директор феодосийской конторы, Зингер, позвал моего отца к себе в кабинет, и сказал: "Господин Вейцман, наступил для вас решающий момент: вы можете продвинуться по службе. Теперь я хорошо знаю ваши способности и вашу честность. Под моим управлением, как вам известно, находится геническая контора, а ей, в свою очередь, подведомственен весь север Таврической губернии, и юг Екатеринославской, со множеством маленьких отделений. До сих пор этой конторой управлял француз: Г. Н. Н. Он отзывается в Париж, так как высшее управление им недовольно. Надо вам знать, что Геническ является гнездом воров, мошенников и разбойников всякого рода. Впрочем, все они никто другие как всеми весьма уважаемые местные купцы — миллионеры. Последнее время Дрейфус потерял там немало денег. Так далее продолжаться не может. Теперь я решил назначить туда заведующим вас, с тем, однако, чтобы вы, в кратчайший срок, очистили мне эти "Авгиевы Конюшни". Не скрою от вас, что центральная контора в Ростове, против вашего назначения, но я настоял и уверен, что это задание вы выполните и там останетесь на должности управляющего, под моим прямым начальством. Через месяц вы отправитесь туда".

Мой отец был в восторге, и придя домой, первым делом рассказал моей матери об этом неожиданном продвижении по службе. На следующий день мама поделилась новостью со всеми своими знакомыми. Один из них, пожилой господин, хорошо знавший Геническ, воскликнул: "Ради Бога, любезная Анна Павловна, скажите вашему супругу, чтобы он отказался от предложенного ему места. Мне слишком знаком этот скверный городишко. Там более опытные люди, нежели ваш муж, сломали себе голову. Это — совершенное безумие! Повлияйте на него, и поверьте мне: я знаю, что говорю".

Вечером, по возвращении отца со службы, моя мать рассказала ему о своем разговоре с пожилым и опытным господином, и посоветовала ему отказаться. Мой отец немного испугался, и на следующее утро явился к своему начальнику, и откровенно высказал ему свои опасения. Г. Зингер, выслушав его со вниманием, улыбнулся и сказал: "Господин Вейцман, можно нежно любить и уважать свою жену, но в служебных вопросах нужно принимать решение самому. Если я вас назначаю туда управляющим, то будьте уверены, знаю, что делаю. Кроме всего, я обещаю поддерживать вас во всех затруднительных случаях. Поезжайте: это будет для вас началом большой карьеры. Если вы откажетесь, то дальше должности главного бухгалтера, по службе, не пойдете". Мой отец принял предложенный ему пост, и в первых числах марта переехал с моей матерью в Геническ.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Геническ.

Геническ расположен на берегу Азовского моря. Когда мои родители поселились в нем, он всего несколько лет как, перестав числиться селом, был возведен в ранг заштатного города, Мелитопольского уезда, Таврической губернии. Одновременно, при нем, был построен маленький порт, годящийся, главным образом, для рыбачьих баркасов и лодок. Все грузовые суда, а их в то время приплывало немало, были принуждены останавливаться на рейде.

Главная улица в Геническе называлась Проспектом. Одним концом она упиралась в центральную площадь с собором и рынком, а другим свои концом — в кладбище. Лет десять до описываемого мною времени, посередине этой площади находилось нечто вроде пруда, или просто непросыхаемой никогда огромной лужи. Но в эпоху приезда в Геническ моих родителей, пруд был осушен, и на его месте: летом было море пыли, а зимой — море грязи. Параллельно Проспекту, но ближе к морю, проходила, проделывая ряд зигзагов, Вокзальная улица. На ней, как это можно легко угадать, находился генический вокзал. Перпендикулярно к ним шел род широкого бульвара. Он именовался Искуйской улицей, и шел из порта в степь, постепенно переходя там в пыльную проселочную дорогу, ведущую в село Искуи. Кроме этих трех главных артерий, в городе было множество уличек и переулков. Верстах в двенадцати от города, на магистрали Харьков—

Севастополь, лежала маленькая станция: Новоалексеевка. От нее шла одноколейная железнодорожная ветвь в Геническ. Недалеко от города, кроме Искуев и Новоалексеевки, было расположено много сел: Каракуи, Атманай и другие. Во всем Мелитопольском уезде было немало немецких земледельческих колоний, а в 50 верстах к северу от Новоалексеевки находилось, известное нам всем юге России, богатейшее поместие Фальстфейна: Асканья-Нова.

За городским кладбищем начинался Сиваш (или иначе: Гнилое море) — нечто вроде Мертвого моря, с его богатейшими соляными приисками. От Азовского моря его отделяет песчаная коса, именуемая Арбатской Стрелкой. Начинаясь у самого Геническа она тянется до северного побережья Крыма, и упирается в Керченский полуостров. Эта "стрелка" представляет собой прекрасный пляж, в сотню верст длиной. От его крымского окончания до Феодосии — не более тридцати верст. Из Геническа на Стрелку можно было попасть, проделав весь путь по суше: верст с пять; но гораздо удобнее было достигнуть ее на лодке. В Геническе Арбатскую Стрелку называли: "той стороной". "Поедем сегодня на ту сторону", — говорили геничане. У самого города, в начале Стрелки, был расположен рыбачий поселок. Летом рыбаки сдавали в наем комнатки в своих домишках нетребовательным дачникам. Соседство Сиваша делало воздух соленым и йодистым; климат там был здоровый.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: "Высшее" общество.

"Высшее" общество этого заштатного городка, в котором пришлось много лет вращаться моим родителям, состояло из богатых купцов, среди которых было немало евреев, управляющих отделениями крупных торговых фирм, городской администрации, православного духовенства, врачей и т. д. Большинство из них, как и мой отец, были членами единственного в городе клуба, в котором по вечерам они все собирались. Мой отец довольно близко сошелся с управляющим, конкурирующей с Дрейфусом, русской фирмой: Абрамом Давидовичем Либман. Он был женат на варшавской еврейке: Марье Григорьевне. Много позже у них родился сын Соломон (Соля), друг моего раннего детства. Самым высокопоставленным, по своему происхождению, лицом, являл-

ся заведующий местными, государственными, соляными приисками: Александр Николаевич Лесенков. В своей первой молодости он был блестящим гвардейским офицером, и проживая в Петербурге, прокучивал, с товарищами по полку, в шикарных ресторанах, и других злачных местах Столицы, отцовское наследство. Протратив на цыганок и шампанское почти все свои деньги, он неожиданно влюбился в миловидную мещаночку, дочь начальника небольшой железнодорожной станции,... и женился на ней. Его роман походил на пушкинского "Станционного Смотрителя", однако без увоза девицы. Главной жертвой этой истории оказался он сам, так как, в следствии, столь неравного брака, был принужден покинуть гвардию. Перевестись в армию и там продолжать свою военную карьеру было, по всей вероятности, ниже его достоинства, и он подал в отставку. Человек прекрасного воспитания, мягкий и симпатичный по характеру, он, увы! кроме гвардейской службы, не знал и не умел ничего. К счастью, для него, у него был друг, личность очень высокопоставленная и близкая ко Двору, в свое время известный на всю Россию: Безобразов. Этот последний устроил своего приятеля, заведующим государственными соляными приисками в Геническе. На этой должности бывший гвардейский офицер ничего не делал: за него работали инженеры — специалисты и другие служащие. Жалование он получал великолепное.

Марья Михайловна, его жена, была женщиной умной, умнее его, довольно красивой, но вульгарной и, что называется, вздорной: ей нехватало воспитания.

Во главе местной полиции стоял пристав: Петр Федорович Калмыков, а представителем судебных властей был следователь — караим: Шишман.

Высшее духовенство города состояло: из Отца Петра, протоиерея местного собора, седобородого и благообразного господина, с большим золотым крестом на груди, человека серьезного и глубоко религиозного; и из иерея, Отца Николая. Отец Николай был членом клуба: любил выпить, закусить и поиграть в картишки. Тогда в моде был "Преферанс". Однажды, в середине такой партии, когда его партнер сильно обремизился, до слуха почтенного отца церкви донесся призывный звон колокола. Отец Николай бросил, в сердцах, на стол свои карты, и воскликнул: "Черт бы побрал этого пономаря! — вечно торопится; мог бы и подождать!" Если о духовном здравии населения заботились два вышеупомя-

нутых попа, то о физическом здоровье пеклись два врача: Козлов и Сикульский. Козлов, русский дворянин, занимал пост городского врача. Он был женат на еврейке, и у них родилась дочь, несколькими годами старше меня: Тамара. Сикульский, еврей, жил частной практикой. Оба "эскулапа" ненавидили друг друга, и вечно враждавали между собой.

Начальником местной таможни был господин Широкий; эта фамилия, как нельзя более, подходила к его огромной, грузной и несколько медвежей фигуре.

Из богатых купцов назову несколько имен: Бердичевский, Апенанский, Фельдман; банкиры: Абрам и Яков Шинянские, Рашевский и другие. Кроме них в городе проживал богатый русский мукомол: Троник. Труба от его паровой мельницы гордо возвышалась над одноэтажными домами Геническа. Была еще и вся банда богачей мошеничевших в городе, но имена их я не привожу, да и членами клуба, несмотря на их богатство, они не были.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Предшественник отца.

По приезде в Геническ, моих родителей встретил Г. Н. Н. Отцу предстояло принять у него управление местной конторой. Познакомившись с отцом и представившись моей матери, он пригласил их, на следующий день к себе на обед. Назавтра, в назначенный час, после обычных приветствий, Г. Н. Н., немного заикаясь, объяснил моим родителям, что он уже несколько лет сожительствует с одной женщиной, и просит разрешения представить ее им, и позволить ей обедать с ними. Мои родители были в то время людьми молодыми, и вполне свободными от предрассудков: какое им было дело до того, что женщина, с которой, пригласивший их хозяин дома живет уже несколько лет, жена его или нет. "Жена — не жена, а почитай, что жена", — говорили благодушно в этих случаях люди.

Она оказалась высокой, красивой казачкой, но очень простой, хотя и милой, женщиной. Первые четверть часа она смущалась и жеманилась, но заметив, что к ней относятся как к равной, разговорилась. Язык, на котором она изъяснялась, оказался народным, но красочным и черезвычайно богатым. После обеда мужчины заговорили о делах, а молодая женщина повела мою мать, к кото-

рой она почувствовала живейшую симпатию, в крохотный садик при их доме, показать ей цветы. Она подарила маме прекрасную, только что распустившуюся, розу, и при этом пояснила, на своем звучном языке, с легким южным акцентом: "У нас есть еще много распуколок". А моя мать и не знала, что на настоящем русском языке надо сказать: распуколка, а не бутон — слово французское. Дней через десять, Г. Н. Н., сдав дела моему отцу, оставил навсегда Россию, и уехал в Париж. Своей временной жене он выдал приличную сумму денег, и она вернулась в свою родную донскую станицу.

ГЛАВА ПЯТАЯ: Мой отец и местная полиция.

Прошло несколько дней после отъезда Г. Н. Н. Мой отец сидел в своем директорском кабинете и внимательно изучал текущие дела. Предстояла борьба с местной "мафией", и надо было серьезно продумать с чего начать. Ответственность на нем лежала немалая; все ему было вновь, а в грязь лицом ударить не хотелось.

В дверь постучались, и вошел секретарь: "Господин Управляющий, в контору пришел пристав местной полиции, с двумя околодочными надзирателями, и желает Вас видеть". Мой отец немного испугался: что этот визит мог обозначать? Геническ находился в черте оседлости, и разрешения на жительство в нем, не требовалось; с другой стороны никакой вины он за собой не чувствовал, но еврей виноват уже в том, что он еврей. Приготовившись ко всему, и подтянувшись, новоиспеченный заведующий встал с кресла, и несколько бледный, вышел из-за своего письменного стола, на встречу представителям Власти. Вошел пристав, и приложив по военному руку к козырьку своей фуражки, отчетливо произнес: "Честь имею представиться: пристав полиции города Геническа, Петр Федорович Калмыков. А вот эти господа — мои помощники". С этими словами он указал на вошедших с ним двух околодочных надзирателей, скромно жавшихся у дверей. Несколько опешив, мой отец однако пожал, с солидным видом, руку приставу, и указав ему на стул, попросил сесть, а сам уселся в кресло, на свое место, за письменным столом. Видя, что пристав робко садится на краешек предложенного ему стула, он, вдруг, почувствовал себя в роли гоголевского Хлестакова. "Простите, господин пристав, мне очень приятно было с вами познакомиться, но не сочтите, пожалуйста, этот вопрос нескромным: что имен-

но заставило вас представиться мне, как если бы я был вашим начальником?" — "Господин управляющий, — возразил пристав, — Вы, некоторым образом, действительно являетесь моим начальником. У нас, в Геническе, уж так оно повелось: раз в месяц контора Дрейфуса дает местной полиции, ну, скажем, на благотворительность, немного денег (при этом он назвал сумму)". "Ладно: сегодня я вам дам то, что вы у меня просите; — с этими словами, достав чековую книжку, он выписал на имя пристава чек на требуемую сумму, — но помните, что это в первый и последний раз. Больше я вам денег давать не буду". Пристав, однако, поблагодарил моего отца, но удалился не очень довольный. Через несколько дней отец уехал в Мелитополь. Там он попросил приема у полицмейстера, который очень любезно принял его. Отец рассказал ему о своем разговоре с приставом, и пояснил, что со своей стороны он предпочитает платить раз в год, и сколько будет необходимо, для процветания благотворительности во всем мелитопольском уезде, а не только в Геническе, лично в руки господина полицмейстера, но с тем, чтобы местная полиция его оставила в покое. Полицмейстер нашел идею отца превосходной, и быстро сошелся с ним в отношении суммы. Расстались они друзьями. После заключения этого договора, каждый новый год, от имени конторы Дрейфуса, на дело благотворительности и, конечно, на имя мелитопольского полицмейстера, посылалась установленная сумма. Однако, кое что, несомненно перепадало и генической полиции, так как местный пристав, не только не сделался врагом моего отца, но возымел к нему большое уважение. Конечно, он получил, кроме всего прочего, соответствующее предписание: не беспокоить больше господина заведующего. Что касается самого полицмейстера, то между ним и моим отцом установились самые прочные дружеские отношения, и, однажды, в знак искренней приязни, он прислал, на новый год, моему отцу ящик шампанского. Еще несколько слов о приставе Калмыкове: В 1905 году, как и все полицейские чины, он получил секретный приказ из Петербурга, об устройстве еврейского погрома. Взволнованный и совершенно растерявшись, пристав прибежал к Лесенкову просить у того совета. Бывший гвардеец ответил коротко: "Если вы, Петр Федорович, устроите у нас в городе погром, я вам никогда больше руки не подам". — "Но, что мне делать? — чуть не плача, спросил несчастный пристав. — Поймите, уважаемый Александр Николаевич, я рискую потерять место". — "Де-

лайте, что хотите, — сухо оборвал его Лесенков, — все кроме погрома.

В назначенный петербургским правительством день и час, группа хулиганов, вооруженная дубинками, прошлась по Проспекту с пением: "Боже, Царя храни", и прокричав несколько раз: "Бей жидов!", разбила витрины двух или трех еврейских магазинов, и разошлась не тронув ни кого и ничего. После этой демонстрации, нанятые приставом парни, получили от него "на водку", и все в городе успокоилось. Через три дня, пристав послал по начальству тайное донесение, что предписанный правительством погром, в Геническе состоялся.

ГЛАВА ШЕСТАЯ: Мой отец и "мафия".

Покончив с вопросом о своих отношениях с местной полицией, мой отец почувствовал себя более уверенно на своем новом посту, и стал ждать к себе других гостей. Ждать оказалось недолго. Дней через пять после возвращения из Мелитополя, ему доложили, что господин К. желает его видеть. На этот раз, в кабинет вошел один из главарей местной "мафии", уже многие годы обкрадывавшей в Геническе, в числе других, фирму Дрейфуса. Этот К. успешно сотрудничал с прежним заведующим, и теперь решил, не теряя времени, ибо время — деньги, войти в "деловые" сношения с новым. Он был принят отцом как нельзя лучше. Приказав подать чашку кофе и бутылку Бенедектина, и поставив перед гостем коробку дорогих сигар, новый заведующий попросил уважаемого господина К., изложить дело. Очарованный столь теплым приемом, этот последний, удобно развалившись в кресле, и дымя ароматной сигарой, стал объяснять в чем состояла предлагаемая афера, и какие выгоды мог извлечь из нее господин директор. Жаль, что мне не известны все подробности этого крупного жульничества, но только оно состояло в передаче, из рук в руки, и без свидетелей, за весьма немалую взятку, коммерческих документов, дающих права на товары. Так происходило это воровство до приезда моего отца, и так предпологала "мафия" действовать и впредь. Подобное мошенничество было недоказуемо. Мой отец спокойно и деловито выслушал К., но нашел, что предполагаемая ему взятка, недостаточна. Такое отношение к делу, нового заведующего, понравилось "рыцарю индустрии", и поторговав-

шись минут с десять, они сошлись в цене, и условились о дне и часе этой операции, долженствовавшей иметь место в этом самом кабинете. Конечно, моему отцу надо было дать время приготовить требуемые бумаги, это К. сам понимал отлично. Ушел мошенник очень довольный. Как только за К. затворилась дверь, мой отец позвонил по телефону судебному следователю, господину Шишману, и условился с ним о встрече. Чтобы не возбудить подозрений: город был маленький, Шишман, вечером того же дня, принял моего отца у себя надому. Там они установили план действий. В назначенный день, за пол часа до прихода К., Шишман сидел уже в кабинете отца, и после уточнения последних деталей предстоящей операции, спрятался за дверью соседней комнаты. С деловой точностью, достойной всяческих похвал, в назначенный час, минута в минуту, явился К. Требуемые бумаги были уже приготовлены и лежали на столе.

Зажав документы в своей левой руке, и в тот самый момент, когда вор-миллионщик, беря их правой, протягивал ему обещанную сумму левой, мой отец нажал кнопку звонка. Дверь внезапно отворилась, и в комнату вошел судебный следователь. Хищник видя, что он попал в капкан и, что крышка над ним захлопнулась, бросил бумаги и пустился бежать. Шишман хладнокровно уселся в кресло, и закуривая папиросу, спокойно сказал: "Пусть себе побегает — далеко не убежит".

Тем же вечером К. был арестован, а на следующий день за ним последовали в тюрьму все его ближайшие сотрудники. Дело оказалось более серьезным, чем это можно было предпологать. Во время допроса, подобно тому, как вишня тянет вишню, начали выходить наружу многие другие, совершенные бандой, мошенничества и преступления. Судил их окружной мелитопольский суд, и им угрожали арестантские роты, если не Сибирь. Мой отец начал получать анонимные письма, в которых его предупреждали, что в случае сурового приговора, он будет убит. В следствии этих угроз, он раздобыл себе револьвер, второй в его жизни, и долго не расставался с ним. При его умении обращаться с огнестрельным оружием, риск для окружающих был немалый. Каждый день, по возвращении домой со службы, отец ходил по комнатам своей квартиры, осматривая все ее закоулки, держа в вытянутой руке эту опасную игрушку. В один из таких обходов, к счастью — дома никого не было, внезапно перед его глазами сверкнул огонь, и он услыхал, у самого своего уха, гулкий выстрел; в тот же

миг песочные часы стоявшие на комоде разлетелись в дребезги. Первой мыслью моего отца было, что он чуть не сделался жертвой покушения, и, что в него стреляли через окно, и только легкий дымок, еще струившийся из дула револьвера, объяснил ему сущность происшедшего. Узнав о случившемся, моя мать очень рассердилась и заставила его расстаться с револьвером.

"Мафия" наняла лучших петербургских адвокатов, благо — деньги у нее были, и, не имея возможности подкупить судей, подкупила добрую половину присяжных заседателей. В результате чего обвиняемые отделались кратковременным тюремным заключением и огромным штрафом, но все это дело влетело банде в сумму астрономическую.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Большие и малые воры:

1) Аварии господина Ж.

У Дрейфуса служил владелец паровой баржи, некий господин Ж. Он занимался перевозом зерна из Геническа в Керч, там перегружал его на глубоко сидящие грузовые суда, на те из них, которые, в следствии малой глубины Керченского пролива, не могли проникнуть в Азовское море.

С самого начала своего управления, во время разбора деловых бумаг, мой отец обратил внимание на частые аварии вышеупомянутой паровой баржи, которые происходили регулярно от одного до двух раз в год. Каждая такая авария сопровождалась потерей большей части перевозимого зерна, но сама баржа, неизменно, спасалась от гибели. Объяснения господина Ж. были всегда правдоподобны, но новому директору удалось узнать, что этот последний продавал под полой зерно все той же "мафии".

Прямых доказательств против Ж. не имелось, но отец решил, во чтоб это не стало, прекратить подобные мошенничества. В один прекрасный день он вызвал к себе хозяина баржи, и потребовал от него серьезного объяснения. "Господин управляющий, — оправдывался Ж., — при чем тут я? — аварии от меня не зависят. Сами знаете каково Азовское море: сейчас — штиль, а через час — шторм. Что тут поделаешь? Невезет мне — я и сам понимаю". — "Я тоже понимаю, — ответил мой отец , — чтож поделаешь: невезение, штормы; но, однако, вот что: просите у Бога, чтобы эта полоса

вашего невезения прекратилась. Штормы или штиль, но после следующей аварии вы больше у Дрейфуса не служите".

Нужно ли прибавить, что после этого разговора, аварии совершенно прекратились.

2) Ограбление кассира.

В селе Атманай, находилось небольшое отделение Дрейфуса, зависящее непосредственно от Геническа. Его управляющим был некто Дудьянов: человек деловой, серьезный и честный. Необходимые суммы денег из Геническа в Атманай, перевозились, обыкновенно, на повозке, запряженной лошадью. В те времена разбойники на большой дороге не водились. Перевозку денег поручали кассиру Р. Однажды Дудьянову понадобилась, для закупки у крестьян зерна, сумма большая чем обыкновенно. Кассиру, под расписку, выдали эти деньги, и он отправился в путь. По неизвестной причине Р. замешкался перед отъездом, и выехал, когда стало темнеть. До Атманая он не доехал, а на утро его нашли на городском кладбище, слегка раненым, и связанным по рукам и ногам. Денег при нем, конечно, не нашли. Освобожденный от пут Р., плача и стеная, рассказал ужасную историю нападения на него во мраке, замаскированных разбойников, о его отчаянном и героическом сопротивлении, и об ужасной ночи проведенной им на кладбище. Мой отец отправился в полицию, и сообщил приставу Калмыкову все подробности ограбления, искренне пожалел бедного кассира, перенесшего такие ужасы. "Мне жаль больше кассира чем деньги", — добавил он. Калмыков усмехнулся: "Деньги, уважаемый господин Вейцман, еще не пропали, а что касается, как вы изволили сказать: "бедного кассира", так я его допрошу хорошенько, а там мы увидим". Кассир был арестован и допрошен — как только умела допрашивать царская полиция. Через пару дней мой отец был вызван к приставу.

"Господин управляющий, вот ваши деньги: потрудитесь их пересчитать и выдайте мне расписку". "Как это вы их так быстро нашли?" — удивился мой отец. "Дело не трудное, — улыбнулся полицейский. — Все это была одна комедия. Ваш кассир, и его два сообщника, зарыли их на том же кладбище. Теперь, после ихнего добровольного и чистосердечного признания, все они сидят в тюрьме. Моя роль в этом деле окончена, и сегодня я уже передал его господину судебному следователю".

3) "Честный" грек.

При закупке зерна: будь-то у крестьянина, у немца – колониста, или у купца, Дрейфусу приходилось почти всегда выдавать авансы. По контракту, в назначенный срок, продавец был обязан доставить товар, и после этого получал от конторы остаток следуемой ему суммы.

Уже несколько лет, как господин П., греческий подданный, занимался перепродажей зерна геническому отделению Дрейфуса. Мой отец, приняв управление этим отделением, продолжал иметь с ним дела. В первый же год, этот господин, подписал контракт на продажу Дрейфусу крупной партии зерна, но пользуясь неопытностью моего отца, выпросил себе очень большой аванс. Конечно, как всегда, контракт устанавливал точный срок доставки товара. За несколько дней до этого срока, господин П., ликвидировал все свои дела в России, взял железнодорожный билет до Афин, и положив себе в карман все деньги, уселся спокойно в вагон первого класса, и покатил на свою прекрасную родину. К счастью, в тот же день, мой отец узнал об этом — в Геническе ничего не оставалось долго тайным, и немедленно снесся по телефону с мелитопольским полицмейстером. Выслушав моего отца полицмейстер сказал: "Вы знаете, господин Вейцман, что срок доставки товара еще не истек; в законном порядке я ничего предпринять не могу". "Но когда срок истечет — будет слишком поздно: этот подлец скроется за границей". — "Простите меня, Моисей Давидович, я объяснюсь яснее: права на его арест у меня нет, но возможность имеется. Будьте спокойны: он от нас не уйдет".

Не теряя минуты, полицмейстер по телеграфу послал приказ, на все западные границы Империи, об аресте и доставке в Мелитополь, греческого подданного, господина П. Накануне установленного контрактом дня, П, был задержан жандармами на русско-румынской границе, и под конвоем препровожден в Мелитополь, где он предстал перед арестовавшим его полицмейстером. Все деньги были при нем. "За что вы меня арестовали? Что я сделал? Я – честный грек и буду жаловаться моему консулу". — "Я вас арестовал за то, что вы пытались увезти, выданный вам в Геническе, фирмой Дрейфуса, крупный аванс, найденный у вас на границе нашими таможенниками". — "А! Я понимаю: это господин Вейцман донес на меня, но я буду жаловаться на него проку-

рору. Он не смел меня задерживать — он не мог знать о моих намерениях: срок контракта, в момент моего ареста, еще не истек. Повторяю вам, господин полицмейстер, я — честный грек!" — "Господин П., — строго сказал полицмейстер — не отпирайтесь: вы рассчитывали увести эти деньги с собой в Грецию, и не имели никакого намерения, ни даже возможности, в течении нескольких, оставшихся в вашем распоряжении, часов, доставить товар по назначению. Да и где этот товар?" — "Я — честный грек, и буду жаловаться на господина Вейцмана, прокурору". Полицмейстер угрожающе поднялся с места: "Господин П., если вы не подпишете заявление о том, что не имеете ничего против господина Вейцмана, я вас отправлю отсюда прямо в тюрьму". — "Как вы смеете? За что?" — "Будьте спокойны: причину для вашего ареста я найду". П. кончил тем, что подписал требуемую бумагу, и на следующий день уехал к себе на родину — жаловаться Меркурию, богу купцов и воров. Деньги моему отцу были возвращены.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: Пираты.

В Геническ прибыло довольно большое, хотя и мелкосидящее грузовое судно, под французским флагом, принадлежащее компании "Дрейфус". Оно бросило якорь в четырех с половиной верстах от берега, и в тот же день началась погрузка зерна.

Небольшая паровая баржа перевозила мешки с пшеницей с берега на судно, и потом возвращалась порожней за новым грузом. Человек с десять грузчиков, поднявшись на борт, принимали эти мешки, и спускали их в трюм. Работа кипела. Капитан судна обратил внимание на то, что барометр стал падать, и торопил закончить погрузку до наступления бури. Кто не знает Азовского моря, тот не представляет себе как быстро они на нем разыгрываются, и как быстро утихают.

Внезапно подул ветер и началось сильное волнение. Баржа, не окончив погрузки поспешно отчалила от парохода, и пошла к берегу. Весь экипаж и десять грузчиков остались на борту. Буря все усиливалась, и к ночи перешла в шторм. Судно стало кидать из стороны в сторону, и можно было серьезно опасаться, что якорные цепи не выдержат. Жизнь людей на борту находилась под угрозой. Наступило пасмурное утро, но шторм не только не утих, но еще усилился. Призрак кораблекрушения повис над судном и всеми находящимися на нем людьми.

В порт прибежали плачущие и причитающие жены грузчиков, иногда в сопровождении детей, и с криком требовали чтобы им вернули их мужей. Мой отец с утра находился на набережной, но, что он мог поделать? Наконец, к полудню, буря начала немного утихать, и портовым властям удалось, хотя и не без риска, перевезти всех людей с парохода на берег.

В первую очередь покинули судно портовые грузчики, и сразу попали в объятия их жен и детей. Вторыми сошли на берег матросы и боцман, последними спустился капитан со своим помощником. Для людей все окончилось благополучно, но буря, хотя и ослабевшая, не утихала. Оставленный всеми пароход, продолжал сильно качаться, натягивая якорные цепи. Для него опасность еще далеко не миновала. Однако, к вечеру, ветер внезапно стих, и море сразу успокоилось. Отец решил, на следующее утро, возобновить погрузку пшеницы. Он уже готовился закрыть контору, и отправиться домой отдохнуть от пережитых волнений прошедшего дня, когда, неожиданно, прибежал один из его доверенных людей, и запыхавшись сообщил, что в эту ночь, все та же "мафия", при помощи нанятых ими рыбаков, решила захватить и присвоить себе пароход со всем его грузом. Существует старинный морской закон, в силу которого оставленное всеми судно: "без единой живой души на борту", принадлежит тому кто первый взойдет на него. Этот закон носит название "Абандон",

Представьте себе испуг моего отца: в глазах Дрейфуса он может оказаться косвенным виновником потери парохода с товаром. Несмотря на усталость он побежал искать капитана или его помощника, но ни одного из них не нашел. Вероятно они, как истые моряки, пьют и веселятся. Что было делать?! В отчаянии он отправился просить совета у местного начальника таможни, господина Широкого. "Постойте, господин Вейцман, не волнуйтесь; я уверен, что эти воры отправятся на подобное дело, без огней: это — пиратство. Сядьте и отдохните; я пошлю за одним из моих помощников, которого вы потом отблагодарите, и вместе с ним мы обдумаем план кампании". Позванный помощник оказался молодым моряком. Выслушав моего отца он предложил ему участвовать этой ночью в охоте на местных пиратов. Несмотря на свою усталость, отец согласился. Ночь темная и безлунная, но часам к десяти тучи рассеялись и вызвездило. Мой отец в компании моряка, спускается на пристань, и садится в маленький но быстроходный, таможенный, моторный катер. С места, на

котором они находятся, им виден, при слабом мерцании звезд, весь залив. Справа, там где начинается Арабатская стрелка, блестят огоньки рыбачьего поселка. Далеко в море, и несколько влево от них, чернеет силуэт оставленного судна. Время течет медленно, ночь теплая, море совершенно спокойное. Моряк закуривает папиросу; оба молчат. Вдруг таможенник вздрагивает и впивается глазами в сторону стрелки. До его слуха донесся еле слышный всплеск весел. Что-то темное, едва различимое во мраке южной ночи, отделяется от песчанного берега, в том месте, где кончаются домишки поселка, и плывет в море, по направлению парохода. Сомнения нет: они! "Ведь я так и знал — без огней плывут мерзавцы. А вот мы их, сейчас, пустим ко дну, тогда будут знать как пиратствовать"; тут он прибавляет хлесткую брань, и заводит мотор.

Существует международный закон, касающийся пиратов, он гласит, приблизительно, так: Всякое судно ночью в море обязано иметь на своем борту свет, в противном случае оно рассматривается как пиратское (ибо, в мирное время, только пираты и контрабандисты плавают в темноте, не зажигая огней). Такое судно может быть потоплено без предупреждения.

Мотор работает, и быстроходный таможенный катер несется по успокоившейся морской глади. Теперь и мой отец хорошо видит пиратскую лодку. В ней — пять человек: один из них правит рулем, двое гребут в четыре весла, а двое других сидят на носу и смотрят перед собой. Еще ничего не подозревая, лодка держит курс на оставленное судно. Катер идет ей на перерез и, вдруг, на всем ходу врезается в нее своим стальным носом. Раздаются отчаянные крики, и генические пираты оказываются по горло в воде. Благо, что место там очень мелкое. Таможенник описав, на своем катере, круг, и убедившись, что никто не ранен и не тонет, удаляется на некоторое расстояние, и оттуда, оба они с отцом, наблюдают, как местные Морганы, мокрые и дрожащие, добираются в брод до песчанного пляжа Арабатской стрелки. Двое из них, как после узнал мой отец, принадлежали к банде, а трое других были нанятые ими рыбаки из поселка.

На следующее утро экипаж судна, с капитаном во главе, вернулись на борт, после чего погрузка пшеницы возобновилась.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: Неприятности отца по службе.

В конце первого года управления моим отцом геническим отделением Дрейфуса, в следствии небольшого неурожая, крестьяне, с которыми он имел дело, не доставили в срок зерна, и не вернули розданных им авансов. Ростовская центральная дирекция, бывшая с самого начала против назначения такого молодого человека, каким был в то время мой отец, на столь ответственный пост, написала Зингеру довольно сердитое письмо, упрекая его в том, что он настоял в свое время на этом назначении: "Теперь вы сами видите, госопдин Зингер, что натворил ваш молодой ставленник; Дрейфусу, по его вине, грозит крупный убыток", и т. д. Зингер лично приехал в Геническ, и показав отцу ростовское письмо, прибавил: "Будьте спокойны: я вас не оставлю". Но отец спокойным не был. Однако, крестьяне оказались честнее, чем то предполагала ростовская дирекция, и хотя с опозданием, но вернули отцу все им выданные деньги, до последней копейки. Фирма Дрейфуса не понесла никакого убытка. Торжествующий Зингер послал в Ростов письмо приблизительно следующего содержания: "Теперь, я надеюсь, что вы окончательно убедились в том, что когда я назначаю кого-нибудь на тот или иной пост, то знаю, что делаю". Копию этого письма он послал отцу, которого после этого ростовская дирекция больше не беспокоила, и он был окончательно утвержден на его новом месте.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: Три начальника моего отца: Зингер, Мерперт, Симон.

1) Зингер.

Зингер, по происхождению венгерский еврей, был лет на пятнадцать старше моего отца. В эпоху мною описываемую, он был уже давно женат, и имел двух сыновей. Он обладал недюжим умом и внешним, ничем не нарушимым спокойствием. Любя моего отца, и продвигая его по службе, он часто ему говорил: "Никогда не следует волноваться. Берите пример, господин Вейцман, с меня: когда я получаю письмо от моего начальства, если оно приходит незадолго до обеда, то я его кладу нераспечатанным

в карман, и сажусь спокойно за стол. Таким образом аппетит у меня отличный, а читать всякие неприятности я всегда успею. Суп не так горяч, каким его варят". Лично обладая большим состоянием, он в деньгах не нуждался. Человеку материально обеспеченному, легче переносить служебные неприятности. Много лет спустя, будучи уже довольно пожилым господином, он серьезно нервно заболел, и был помещен в Швейцарии в специальную лечебницу. Пробыл в ней Зингер довольно долго. Видимо, его спокойствие было только маской, которую он выучился носить при своих общениях с посторонними людьми.

2) Мерперт.

Мерперт был русским евреем. В молодости он переехал жить во Францию, поселился в Париже, и поступил на службу к Дрейфусу. Там он сделал блестящую карьеру, и был назначен на пост главного инспектора. Он женился на девушке, кажется близкой к семье Луи Дрейфуса, и у них родилась дочь. Он был человеком очень жизнерадостным и остроумным. Сохранив, специально для своих поездок в Россию, русский паспорт, Мерперт, как-то познакомился с одним лютеранским пастором, который без малейшего труда, выдал ему свидетельство о переходе его в эту религию. Со свидетельством о своем крещении, он явился в ближайшее русское консульство, и отныне, в его паспорте стало значиться: Лютеранен из Иудеев. Это его не удовлетворило, и при первой возможности, во время своей очередной поездки в Россию, он пошел к первому попавшемуся попу, и тот его крестил в свою очередь, и в его паспорте отметили: Православный из Лютеран. Всякий след, в официальных бумагах, его еврейского происхождения, совершенно исчез. Он бывало говорил: "В нашей Матушке-России, такой паспорт очень удобен, а во Франции, и в других странах мира, я, конечно, остаюся евреем: им я родился, им и умру. Какое серьезное значение может для меня иметь то, что написано на клочке бумаги".

Может быть, он был прав!

Как я уже писал выше: господин Мерперт был остроумен. Однажды, во время обеда у моих родителей, когда на сладкое подали желе, он, указывая на него, изрек: "Это единственное на свете, что дрожит перед евреем". Что бы он сказал теперь?

По обязанностям своей службы, ему постоянно приходилось разъезжать по целому свету, и у него было немало приключений, в особенности с женщинами. Иногда он шутливо рассказывал о них. Однажды моя мать ему заметила: "Как вы можете так обманывать вашу жену!" "Вы ошибаетесь, мадам Вейцман; я ее никогда не обманываю, но напротив, рассказываю ей совершенно все, и поэтому она не верит моим чистосердечным признаниям, думая, что я с ней шучу". Но не шутил ли он и тогда, когда за обеденным столом рассказывал моим родителям о своих победах над женщинами всех стран, цветов и рас?

Много, много лет позже, после Второй мировой войны, мой отец, сам будучи тяжело больным, захотел снестись с ним, и для этой цели послал ему длинное письмо. За него ответила его дочь. Она сообщала, что ее отец — присмерти, и писать уже не может.

3) Симон.

В отличии от двух предыдущих начальников моего отца, Г. Симон был коренным французским евреем. Он был женат на племяннице барона Де Ротшильда, и это высокое родство несомненно помогло ему сделаться генеральным директором фирмы Луи Дрейфус.

Иерархически, в этой огромной коммерческой организации, он находился на самой вершине пирамиды. Крупный мужчина, он обладал двумя качествами (или, если хотите — слабостями): огромным, почти болезненным аппетитом, и неиссякаемой, сердечной добротой. Часто сопровождая Мерперта в его объездах, он, после каждого посещения того или иного отделения, неизменно повышал жалование всем его служащим.

В бытность моего отца на посту заведующего, Симон раза два посетил геническую контору Дрейфуса, и всякий раз обедал у моих родителей. Количество одной только черной икры им поедаемой, он ее очень любил, могло вызвать зависть и уважение у самого Пантагрюеля. В один из таких визитов, прежде чем сесть за стол, он счел нужным извиниться перед моей матерью, в отсутствии у него аппетита: в тот день бедняга страдал несварением желудка. Во время обеда, Мерперт сидевший рядом с моим отцом, тихо сказал ему по-русски: "Это он так жрет, когда у него болит живот; чтобы такое было, если бы он был совершенно здоров!?"

Не задолго до одного из его посещений отец принял на службу сынка некой бедной еврейской вдовы, четырнадцатилетнего Хаима, на должность мальчика на побегушках. Хаим не имел никакого образования, и был употребляем в конторе для посылок, ношения писем на почту, подметания полов и т. д. Жалование ему шло в соответствии с его должностью.

Приехал Симон, и после деловой части своего визита, выразил моему отцу желание вымыться с дороги, в нашей ванной комнате, с помощью какого-нибудь мальчишки, способного потереть ему спину. Отец позвал Хаима, и посоветовал ему хорошо выполнить это ответственное служебное задание. После бани, распаренный и довольный, Симон, усевшись за стол, и предвкушая ожидаемый обед, спросил отца: "Кто этот мальчик, который помогал мне мыться? Он очень хорошо трет спину. А какое ему жалование идет?" Отец указал мизерную сумму, зарабатываемую Хаимом. "Так мало! — воскликнул добряк. — С завтрашнего дня удвоить ему его жалование. Кстати, г. Вейцман, представьте мне лист заработков всех наших служащих: нужно будет им всем прибавить". Таков был Симон. Он умер еще молодым от апоплексического удара. Жаль его: хороший был человек!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: Поездка моей матери в Петербург.

Марья Михайловна Лесенкова, жена бывшего офицера гвардии, решила поехать в Петербург, и предложила моей матери ее туда сопровождать. Моя мать всю свою жизнь любила путешествовать, и эту страсть к туризму унаследовал от нее ее сын.

Петербург — столица Империи, город, с которым у каждого уроженца России, связано столько литературных и исторических воспоминаний. Мама, никогда его доселе не видавшая, воспылала желанием поехать туда. Но тут перед ней возникло все то же препятствие: иудейское вероисповедование. Однако выход из этого положения был скоро найден. Жена доктора Козлова, как я уже писал выше, была по своему происхождению еврейкой, но выйдя замуж, она крестилась, и сделалась православной русской дворянкой. Не долго думая, моя мать обратилась к ней с просьбой одолжить ей на время поездки ее дворянский паспорт. В то время на удостоверениях личности фотографий не наклеивали, а ограничивались указанием: пола, возраста, цвета глаз, формы носа,

роста, и если таковые были, особых примет, и, конечно, вероисповедования.

Госпожа Козлова отдала моей матери свой паспорт, и поездка состоялась.

Очень интересно ей было гулять по Невскому Проспекту, любоваться на Медного Всадника, на Адмиралтейскую иглу, на Неву и Зимний дворец. Она посетила ресторан, в котором ежедневно собирался весь тогдашний мир петербургских литераторов и журналистов, и который помещался в подвале дома, принадлежащему, по преданию, пушкинской Пиковой Даме. Туристам показывали старинные покои, роскошную спальную комнату, с огромной кроватью под балдахином; все в стиле восемнадцатого века. Из спальной вела потайная дверь и лестница, по которой, рассказывал посетителям проводник, ушел Герман после смерти Графини. Над дверью этого дома еще виднелась графская корона.

Все шло хорошо, но, однажды, вскакивая на подножку трамвая, на полном ходу, моя мать поскользнулась, и если бы не стоявший рядом господин, удержавший ее, то она упала бы под колеса. Придя немного в себя, и оправившись от испуга, она задумалась над происшедшим, и тут только поняла, какую огромную неосторожность сделала, уехав под чужим именем супруги доктора Козлова, который оказался бы вдовцом при живой жене, а мой отец — женатым человеком, но без жены. Жена Козлова потеряла бы свою официальную личность, и оказалась бы вычеркнутой из числа живых. Из этой истории можно извлечь недурную тему для романа; но моя мать, возвратившись домой, и отдав паспорт госпоже Козловой, поклялась никогда больше не совершать подобных неосторожностей.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: Скандал в клубе.

При городском клубе открылось дамское отделение: раньше дамам вход в него был воспрещен. Теперь там собирались жены его членов. Подражая своим мужьям, они изредка играли в карты; но больше рукодельничали и рассказывали друг другу городские новости. Увы! дело не обходилось без злословия и сплетен. Двое из них, как это нередко бывает, взаимно возненавидили одна другую. Эти дамы были: Розалия Соломоновна Фельдман, жена богатого еврейского купца, и уже известная нам Марья Михайловна Лесенкова.

Розалия Соломоновна была молодой и довольно пикантной брюнеткой; она весьма нравилась мужчинам, и, как поговаривали злые языки, платила им той же монетой. Веньямин Яковлевич, ее супруг, очень ее любил, и если и было что, то он не замечал этих легких отклонений его жены от строгих правил супружеской верности. Приревновала ли Марья Михайловна Розалию Соломоновну к своему собственному мужу, или к кому другому, мне неизвестно. Во всяком случае они крупно поссорились, и наговорили друг другу дерзостей. Предполагаю, что у Розалии Соломоновны язычек оказался более острым, чем у ее соперницы. Придя домой, Марья Михайловна, плача, рассказала мужу об оскорблениях, которые ей, якобы, нанесла госпожа Фельдман. Александр Николаевич пытался ее успокоить, но она плакала и кричала, что роль супруга защищать честь своей жены. В конце концов, в Александре Николаевиче заговорила кровь бывшего гвардейца, и он, на следующий день, придя в клуб, отозвал в сторону ничего не подозревавшего Фельдмана, и сказал:

— Веньямин Яковлевич, ваша жена нанесла моей тяжелое оскорбление. Мужчина не может требовать удовлетворения у дамы; но за нее отвечает муж: таковы законы чести! В следствии этого мне ничего не остается как драться с вами на дуэли, и так как я являюсь оскорбленным, то мне принадлежит право выбора оружия. Если вы ничего не имеете против, то я предпочитаю драться на пистолетах.

— Хоть на пушках! — закричал сильно рассерженный, но еще серьезно не уразумевший дела, господин Фельдман.

— Великолепно! Ожидайте завтра утром двух моих секундантов, и выбирайте себе двух других. — Лесенков учтиво поклонился, и удалился с большим достоинством.

Бедный Фельдман! Только теперь он ясно понял, что бывший гвардейский офицер вызвал его на дуэль. Он — еврейский купец, во всей своей жизни никогда не видавший дуэльных пистолетов, должен стреляться с бывшим офицером гвардии, для которого держать в руках огнестрельное оружие было столь же привычным, как для него, Веньямина Яковлевича, — приходо-расходная книга. Бедняга не спал всю ночь. Когда на утро к нему явились два секунданта Лесенкова, он их просто прогнал, заявив, что драться не будет. Несколько дней его не видели в клубе, в котором все уже знали о происшедшем. Когда наконец, он в сопровожде-

нии своей жены, явился туда, к нему немедленно подошел Лесенков, и грозно спросил:

— Правда ли это, Милостивый Государь, что вы отказываетесь дать мне удовлетворение?

— Да, да, отказываюсь, и если вы будете настаивать, то я пожалуюсь на вас в полицию.

— Прекрасно! Но знаете ли вы как поступают с людьми вашего пошиба? Вот как: — и с этими словами он сильно ударил Фельдмана по щеке, и намеревался его ударить по другой.

Розалия Соломоновна закричала и бросилась между ними; но бывший гвардейский офицер, грубо оттолкнув ее, обозвал: "грязной публичной женщиной". Она упала в обморок. В клубе был созван суд чести, на котором Лесенков, за совершенно недопустимое поведение, не только для офицера и дворянина, но и для всякого порядочного человека, был приговорен к исключению из членов клуба. Это происшествие вызвало в городе много шума и разных толков. Позже, после формального публичного извинения, Лесенков вновь был зачислен в члены клуба; но он никогда не мог забыть, что на этот скандал его толкнула Марья Михайловна: он ей этого не простил, и с тех пор их супружеская жизнь сильно испортилась.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ: Болезнь отца, и поездка моих родителей за границу.

В конце весны 1909 года мой отец серьезно заболел. Сперва это был обыкновенный грипп; но он слишком рано поднялся с постели, пошел в контору и простудился. У него начался упорный, сухой кашель, и никакие средства для его успокоения не помогли. Появилась легкая температура: утром почти нормальная, но неизменно повышавшаяся к вечеру. Пропал аппетит, и он сильно исхудал. Моя мать повела его к нашему домашнему врачу, доктору Сикульскому. После внимательного осмотра больного, доктор озабочено сказал:

— Верх правого легкого немного затронут. Я бы советовал вам, как можно скорее, увезти его на юг, в горы. В Крыму есть неплохие курорты.

Моей матери давно хотелось попутешествовать, и она спросила врача:

— А если мы уедем за границу?

— Если вы имеете возможность, хотя бы на месяц, уехать в Германию, то я вам дам письмо к моему бывшему профессору в Берлин. Профессор Клемперер известен во всей Европе. Наши курорты не плохи, но им не хватает благоустроенности.

Сборы были недолги. Получив месячный отпуск, и взяв заграничный паспорт; с письмом к профессору Клемпереру в кармане, и в сопровождении моей матери, мой отец выехал в Берлин. Путь был неблизкий, и по дороге они остановились на один день отдохнуть в Варшаве. В то время Варшава была столицей Царства Польского, которым правил от имени Императора русский генерал-губернатор Западного Края.

Прибыв в этот город, и остановившись на сутки в хорошей гостинице, они пошли ужинать в первоклассный ресторан. Предложенное моим родителям меню было написано на двух языках: по-русски и по-польски. Выбрав желаемые блюда, мой отец подозвал кельнера, и заказал ему их по-русски, ибо польского языка он совершенно не знал. Кельнер внимательно и почтительно выслушал отца, отметил указанные блюда и удалился.

Долго ждали ужина мои родители; бегал с озабоченным видом польский кельнер, обслуживая других посетителей, но к ним не подходил.

— Кельнер, — позвал мой отец.

— Что прикажете? — учтиво осведомился деликатный поляк.

— Уже двадцать минут, как я вам заказал ужин, а вы нам еще ничего не подали.

— Виноват, через минуту он будет готов.

Но минуты идут за минутами, а ужина все нет. Наконец, мой отец вышел из терпения:

— Кельнер!

— Что прикажете?

— Уже свыше получаса как я жду; но, мною заказанного ужина, я что-то не вижу.

— Простите, виноват, сию минуту вам его подадут.

Проходит еще минут с десять; но кельнер подает всем кроме моих родителей. Рядом сидел какой-то поляк, он сжалился над моим отцом:

— Извините меня, что я вмешиваюсь не в свое дело; но кельнер вам ужина не принесет, если вы будете говорить с ним по-русски. Если вы знаете другой язык, то закажите ему его на нем.

Мой отец послушался мудрого совета, и позвав польского патриота, заказал ему ужин на французском языке. Через две минуты дымящиеся блюда стояли на столе.

На следующий день мои родители вновь уселись в поезд и продолжали свое путешествие. На русско-немецкой границе в вагон вошли для проверки паспортов два царских жандарма: офицер и унтер-офицер. Этот последний нес подмышкой портфель.

Офицер-поляк, взяв в руки отцовский паспорт, и просмотрев его, нахмурившись сказал:

— Ваш паспорт не в порядке, вы не можете ехать за границу.

— Как так: "не в порядке"? — удивился мой отец. — Этого быть не может!

— Очень может быть: вы забыли дать поставить на нем нужную печать. Вы не знаете русских правил, и за границу не поедете. Потрудитесь выйти, немедля, из вагона.

Мама очень взволновалась, и со слезами на глазах начала объяснять "голубому" офицеру, что ее муж болен и едет лечиться.

— Вы все ездите за границу лечиться: знаю я вас... О наших русских правилах и законах не имеете никакого представления, а приехав в чужие земли, будете критиковать и хаить Россию...

Этот польский антисемит, видя перед собой больного еврея, почувствовал себя русским патриотом:

— Мне с вами разговаривать некогда: берите ваши чемоданы, и выходите из вагона; когда вернусь сюда, чтоб я вас больше здесь не застал.

С этими словами он круто, по-военному, повернулся на своих каблуках, и твердой походкой проследовал в другой вагон. Унтер-офицер, чистокровный великорос, задержавшись на минуту, подошел к моему отцу и тихо сказал: "Дайте мне, скорее, ваш паспорт". Отец подал ему его. Он вынул из своего портфеля печатку, и поставил в паспорте, где следовало, недостающую печать, после чего отдал его отцу. Отец, не зная как его отблагодарить, предложил ему денег.

— О нет! — ответил жандарм. — Премного вам благодарен; но я это сделал не для денег. Счастливого вам пути!

И он пошел догонять своего начальника. Минут через десять, польский антисемит, в мундире русского жандармского офицера, вновь вошел в вагон.

— Как! Вы еще здесь? Я вам велел сойти с поезда. Собирайте

ваш багаж и идите на станцию. С первым встречным курьерским вы вернетесь в Россию.

— Почему? — разыгрывая искреннее удивление, спросил его мой отец.

— Потому, что ваш паспорт не в порядке, и вы не знаете русских законов.

— Мой паспорт в полном порядке, — и отец протянул его офицеру.

Тот схватил паспорт, уставился в него, потом на моего отца, наконец швырнул его ему, и сердито вышел из вагона. Вскоре поезд тронулся.

Герцен когда-то писал:

"Вот столб и на нем обсыпанный снегом одноглавый и худой орел, с растопыренными крыльями... и то хорошо — одной головой меньше".

В Берлине мой отец тотчас отправился к профессору Клемпереру. Профессор прочел письмо доктора Сикульского, и после довольно поверхностного осмотра моего отца, с улыбкой сказал:

— Вы, русские, любите лечиться, но лично у вас я ничего серьезного не нашел. Во всяком случае, раз вы уже здесь, я вас пошлю для вашего успокоения в очень хорошую санаторию, расположенную среди баварских Альп. Вот вам письмо от меня старшему врачу этой санатории, потрудитесь передать его ему.

Через пару дней мои родители отправились туда. Старший врач, доктор Шлюзенберг, прочел письмо профессора, потом очень внимательно выслушал и выстукал отца, и возмутился:

— Как мог профессор писать мне, что вы совершенно здоровы? У вас начало процесса в верхушке правого легкого, и вы должны, не теряя времени, приступить к серьезному лечению.

Моему отцу была отведена большая, светлая комната, с огромным окном и с двумя кроватями, так как моя мать не хотела с ним расставаться ни на одну ночь. Кровати были покрыты громадными пуховиками. Санатория находилась в горной котловине. Кругом, на горах, зеленели хвойные леса, и воздух там был прекрасный, но холодный. На ночь врач велел хорошо закутать отца в теплую перину, и открыть окно. Проснувшись утром, после первой ночи проведенной в санатории, мама испугалась: все предметы в их комнате были влажны от сырости. При утреннем медицинском обходе мама поделилась с врачем своими опасениями. "Вам совершенно нечего беспокоиться — это очень полезная вла-

га", — успокоил ее врач. С первого дня началось усиленное питание отца. Он целый день полулежал неподвижно в своем шезлонге на террасе, если день был солнечный, или в своей комнате, и каждый час что-нибудь ел. То это были яйца, то специальный суп, в который вливали столовую ложку препарата из лошадиной крови, и т. д. Иногда он чуть не плакал, но поедал все, что ему давали. Врач сказал моей матери: "Ваш муж не должен двигаться, но вам я советую, когда погода хорошая, совершать прогулки в горах. Там есть чудесные виды, и вы сможете дышать прекрасным воздухом". Мама последовала его совету. Отец перестал кашлять и температурить, и начал быстро полнеть. Через месяц, по окончанию курса лечения, он сделался совершенно неузнаваем. Одна из сиделок, уже перед самым отъездом моих родителей, созналась маме, что когда она в первый раз увидала ее мужа, то подумала про себя: "этот здесь навсегда останется". Отец окончательно выздоровел, и никогда больше легкими не страдал. Однако эта поездка за границу так понравилась моей матери, что когда, не задолго до ее дня рождения, мой отец спросил ее о подарке, который она хотела бы получить, то она ответила: "Не трать деньги на подарок — поедем за границу".

Летом 1910 года, они вновь уехали в чужие края, но на этот раз, при полном здоровье, как обыкновенные туристы. Они посетили Голубое Побережье Франции: Ниццу, Монте-Карло, Ментону. Потом уехали в Геную, оттуда в Милан, Венецию, Триест, Будапешт, и вернулись в Геническ. Маме очень хотелось побывать в Париже, но отец ей заметил, что ехать в Париж на несколько дней — не стоит. Они решили посетить этот, единственный по красоте, город, на следующий год, и остаться в нем, по крайней мере, недели на две. Им никогда не суждено было увидать Парижа; но за них это сделал, пол века спустя, их единственный сын.

В октябре 1910 года, моя мать поехала в Таганрог, посоветоваться с тамошним хирургом-евреем, доктором Загсом. Ей очень хотелось иметь детей, а годы шли. После осмотра моей матери, Загс предложил ей сделать маленькую операцию, после которой, он был в том уверен, она сможет иметь детей. Несмотря на страх перед операцией, мама на нее решилась. Немного более чем через год я увидел свет.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА.

ТОМ ВТОРОЙ

НА РОДИНЕ

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
Александр Блок

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Геническ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Раннее детство.

Я родился в городе Таганроге, 3 декабря 1911 года.

Когда приблизился срок моего появления на свет, было решено, что моя мать уедет рожать в родной город отца. Главная причина этого решения заключалась в недостатке медицинской помощи в Геническе. Однако, спустя два месяца после моего рождения, и несмотря на стоявшие тогда сильные холода, закутанный в несколько шуб и платков, и с соской во рту, я был перевезен в Геническ.

В жизни каждого человека, как и в жизни всех народов, неизменно существует доисторическая, а следовательно, легендарная эпоха. То, до чего не может дотянуться память, заменяется легендами, мифами и балладами, а сквозь весь этот сказочный туман проступает забытая быль.

У меня, как и у всех, имеются мои легенды, много раз рассказанные мне моими родителями:

Я лежу в моей детской кроватке, а мой отец мне поет известную колыбельную песню Майкова:

Спи, дитя мое, усни!
Сладкий сон к себе мани:
В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.
и т. д.

Я не сплю, но внимательно слушаю эту, сотню раз пропетую, песню. Своим чередом дело доходит до куплета, в котором повествуется, как после трех ночей качания колыбели, ветер возвращается к своей матери:

Ветра спрашивает мать:
"Где изволил пропадать?
Али звезды воевал?
Али волны все гонял?" –

Когда мой отец пропел мне: "Ветра спрашивает..."; я из моей кроватки суфлирую: "Мать". Отец почти испугался, и начал песню с начала; но как только дело дошло до фразы: "Ветра спрашивает...", то "суфлер" из своей колыбели уверенно подсказывает: "Мать". Отец позвал мою мать послушать и убедиться в достоверности этого явления. Я оказался вполне на высоте положения, и в нужный момент произнес: "Мать". Это было мое первое слово. Теперь мои родители убедились в ранних талантах их сына, и с нетерпением стали ожидать их дальнейшего проявления: когда он начнет говорить, и впервые произнесет заветные слова: мама и папа. Увы! не папа и не мама было вторым мною сказанным словом, но Таня – имя нашей горничной.

Следующим необыкновенным происшествием было чудесное спасение жизней моего отца и моей. В то время мы жили в очень старом доме, которого я совершенно не помню. Мой отец держал меня на руках и по своей привычке, расхаживая взад и вперед по одной из комнат, напевал мне что-то. Замечу кстати, что любовь к пению, при полнейшем отсутствии голоса и слуха, я полностью унаследовал от него. Внезапно отец почувствовал непреодолимое желание быстро покинуть эту комнату. Бессознательно подчиняясь ему, он перешел в соседнюю, и в это самое время, в только что покинутой им комнате, рухнул потолок. В последствии я прочел почти точно такую же историю у Осоргина, но там еще играл роль прабабушкин портрет, висевший на стене. Вскоре после этого случая наша семья переехала в построенный Дрейфусом, специально для своей конторы, дом, с квартирой, при нем, для заведующего. План этой последней был разработан местным архитектором, совместно с моим отцом.

* * *

Себя я стал помнить очень рано, и первые проблески моего сознания появились у меня еще в младенчестве. Я нездоров и лежу на широкой постели. Надо мной склонилась моя мать. Когда это было?... не знаю. Вероятно тогда мой возраст исчислялся месяцами, а не годами. Множество подобных смутных воспоминаний всплывают порой из глубины моего сознания.

Первое, что ясно запечатлелось в моей памяти — было полное затмение солнца, имевшее место на юге России, если не ошибаюсь, в 1913 году. Но сколько же тогда мне было месяцев? Отец вынес меня на террасу, чтобы я присутствовал при этом явлении природы. Среди белого дня начало быстро темнеть; лошади в конюшне заржали, куры закудахтали, запел петух, тревожно замяукала кошка. Сделалось совсем темно, и высыпали звезды. Все это длилось недолго: рассвело, и вновь наступил день. Затмение солнца меня поразило, и я его запомнил на всю жизнь.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Моя няня.

Как только я родился, мой отец нашел для меня няню: настоящую, классическую. Я ее хорошо помню, и у меня сохранилась ее выцветшая фотография. Это была седая и грузная женщина, лет шестидесяти, с несомненными следами былой красоты, и с огромным запасом неистраченной нежности и сердечной доброты. Она была польского происхождения, католичка и, как я предполагаю, шляхтичка. В молодости, в течении многих лет, она служила экономкой в богатейшем поместии князей Юсуповых, у отца знаменитого убийцы Распутина. Замужем моя няня никогда не была. Однажды моя мать ее спросила: "Няня, почему вы не вышли замуж?" — "Эх, Барыня, да за кого я могла выйти? Барин на мне не женился бы — не за мужика же мне было выходить".

Была у нее одна невинная слабость, а пожалуй и страсть: чай; его она могла пить на протяжении целого дня, в неограниченном количестве. Няня сразу привязалась ко мне, как к собственному внуку, а я в ней нашел третью бабушку, и после моих родителей, полюбил ее больше всех. Ни днем, ни ночью она не покидала меня, и спала в одной комнате со мной, прислушиваясь, даже во сне, к каждому моему движению к вздоху. Как и все младенцы я иногда плакал, тогда она мне серьезно говорила: "Не плачь, доро-

гой, не то придет городовой'', и если я случайно умолкал, то она звала мою мать: "Вот видите, Барыня, вы смеетесь надо мной, и не хотите верить, а он и умолк. Филюша все понимает!'' Так как я родился 3 декабря (20 ноября по старому стилю), а царские чиновники получали жалование каждое двадцатое число, то она меня прозвала: "чиновничком''. По этому случаю мой отец, каждое двадцатое число, дарил няне золотой полуимпериал. Когда у меня вырезался первый зуб, то она сказала: ''Барин, надо позолотить зубок'',... и получила целый империал. В годовщину моего рождения она тоже получала по империалу. Жизнь у нас ей, конечно, ничего не стоила, и не имея никаких расходов, она все свое жалование, и подаренные ей деньги, сносила в сберегательную кассу и клала их на свою книжку. Так она поступала с молодости, в течение всей своей жизни, готовя себе безбедную старость. Когда она жила у нас, у нее уже скопилось свыше двадцати тысяч рублей; по тем временам деньги немалые. По вине своей полноты, ей было трудно много двигаться, и когда я начал бегать, то не имея возможности угнаться за мной, она меня просила: "Дорогой, не бегай: побежишь, упадешь и носик разобьешь''. Действительно, в детстве, когда я падал, то неизменно разбивал себе нос, и потом ревел благим матом. В этом случае она мне говорила: "Не плачь, дорогой, — пока жениться все подживиться''. Но, по правде сказать, я и сам бегал мало, так как по своему темпераменту был ребенком тихим и спокойным. Избытка энергии у меня не было. Владела моя няня русским языком довольно хорошо, но изредка употребляла выражения, вероятно, польского происхождения. Однажды она, надев мне по ошибке, два разных ботинка, засмеявшись, сказала: "Един штибель другий бот''. Будучи женщиной грамотной, когда я немного подрос, няня мне начала читать сказки. В отличии от пушкинской няни, она умела их читать, но не рассказывать. Добродушию ее не было предела. В то время у нас постоянно служили две домашние работницы: кухарка и горничная. Одна из них полагалась моему отцу, как заведующему, и жалование ей шло от самой фирмы Дрейфус. Второй из них мой отец платил из собственного кармана. Обе женщины любили позубоскалить, и имели острые язычки. Няне от них доставалось немало. Однажды моя мать ее спросила: "Няня, почему вы позволяете им шутить над вами, и болтать разные глупости?'' — "Что мне до них, Барыня, пусть себе болтают, если это им любо — настоящие сороки''.

Кроме одной домашней работницы, моему отцу полагался еще "выезд": экипаж с лошадью и кучером. В теплый сезон мама часто брала меня с собой, и мы уезжали на несколько часов за город, в поле. Как чудесен юго-запад России! Как великолепны украинские поля, когда на них начинает колоситься пшеница! Кто не привык к ней с детства, тот может не понять ее прелести и величия. Гладкая равнина — без конца, без края; нет на ней ни гор, ни лесов. Иноземец спросит меня: "В чем же тут красота? в чем величие? коли нет ни снежных, уходящих в небо, вершин, ни зеленых лесов, ни шумных, пенящихся водопадов". В воле! отвечу я ему, иди куда хочешь, и нет тебе заказанных дорог! А когда набежит легкий ветер, и зашумят колосья, то словно волны в море покатятся от горизонта до горизонта.

Няня любила ездить с нами, но кучер всегда препятствовал этому и протестовал: "Сделайте милость, Барыня, не берите с собой вашей няни: как сядет в экипаж, так рессоры и треснут". Вероятно он все же преувеличивал, и мама брала ее кататься с нами, несмотря ни на какие рессоры.

Когда мне было около трех лет, родители решили взять для меня гувернантку. Мой отец уведомил об этом няню, но тут же прибавил, что для нее ничего не меняется, только жалование ей больше идти не будет, но она может оставаться у нас, и жить на всем готовом, до самой своей смерти, как бы став членом нашей семьи. Но няня отказалась: "Нет, Барин, спасибо, я еще могу работать, а вот как совсем состарюсь, то тогда приду к вам, доживать мой век". Она перешла к нашим друзьям дома, Шинянским: нянчить их младшую дочь — Людмилу. Вероятно, что ее отказ можно объяснить не только известной гордостью, но и желанием продолжать откладывать деньги на свою сберегательную книжку.

Одним из первых актов Великой Русской Революции, имеющей целью установить социальную справедливость, была конфискация всех денег, без разбора, лежащих в банках и сберегательных кассах. И вот, моя бедная няня, на старости лет, во имя грядущего социализма, в один день потеряла плоды всей своей долгой и честной жизни.

Однажды я захворал, что в детстве со мной случалось довольно часто. Няня, служившая уже тогда у Шинянских, узнала об этом, и в тот же день пришла меня навестить. Назавтра, к маме с визитом, зашла госпожа Шинянская, и сидя за чашкой чая, между

прочим, спросила мою мать: "Что, няня была у вас вчера?" — "Была: Филюшу пришла навестить". Шинянская рассмеялась: "Подходит она вчера ко мне, и просит разрешения ей отлучиться от дома, часа на полтора; говорит: дело у нее есть. Хотела я ее спросить: — какое у вас такое дело, нянюшка? Да догадалась, что верно узнала о болезни Филюши, и сердце у нее не на месте: хочет его навестить. Так оно и есть".

У нее была замужняя сестра, по фамилии Мильская. Жила она довольно далеко: в селе Ракитном, Гайваронского уезда, Курской губерни. К ней, вероятно, после революции, и поехала, коротать свои последние годы, сразу обнищавшая старушка. Хорошо ли она была принята сестриной семьей? Хочу надеяться, что Господь дал ей возможность окончить, в лоне этой семьи, свои дни, мирно и без страданий. В налетевшем вихре революции мы потеряли ее след.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Первые в селе.

"Лучше быть первым в селе, чем вторым в Риме", — говорил Юлий Цезарь. Мой отец, в маленьком, заштатном городке — Геническе, занимал довольно высокое положение, и это отражалось на всем быте его семьи.

В конце нашей пыльной и широкой улицы, там где она постепенно переходила в проселочную дорогу, находились хлебные амбары, принадлежавшие Дрейфусу. Около них постоянно сидело несколько приказчиков. Во время наших прогулок за город, мы всегда проезжали мимо этих амбаров, и неизменно, при виде катящейся директорской коляски, сидевшие перед ними служащие, подымались со своих мест, снимали фуражки и кланялись. Однажды у нас гостила сестра моей матери, тетя Берта. Мама ее пригласила поехать покататься в поле. При виде людей стоящих без фуражек и кланяющихся, тетя даже испугалась, и только уже отъехав на порядочное расстояние, решилась задать маме вопрос: "Скажи, пожалуйста, Нюта, твой Мося здесь губернатором будет, или кем?" Уже с четырех лет я стал понимать, что мой отец окружен уважением и имеет несомненную власть. Он был человеком добрым и отзывчивым, но требовательным. Служащие у Дрейфуса, в генической конторе, и во всех отделениях, зависящих от нее, хорошо знали эти качества их директора, и несомненно, не только уважали его, но и боялись.

Наша квартира, прилегавшая к конторе, была построена, как я уже говорил выше, по плану разработанному архитектором, совместно с моим отцом. Кроме кухни, ванной и прочих удобств, она состояла из четырех. вытянутых в ряд, комнат. Все они выходили окнами на идущую вдоль дома, террасу, увитую лозами дикого винограда. Две небольшие лесенки, в четыре ступеньки, вели с нее в крохотный садик, полный цветов. За садиком находился большой двор принадлежавший, совокупно с Дрейфусом, местному богатому еврею: Бердичевскому. Его дом выходил, под прямым углом к нашему, в тот же самый двор. С улицы, через парадную дверь, вел коридор. Из него можно было попасть в контору, и к нам в столовую. Столовая комната была большая и красивая — со сводчатым потолком. Из нее вели четыре двери: первая — на парадное крыльцо, и в контору; вторая — на террасу, и в кухню; третья — в спальню моих родителей, а четвертая, симметричная к ней, вела в гостиную комнату, с двумя большими венецианскими окнами. За гостиной находилась детская комната, в которой царил я. Гостиная была обставлена во вкусе моей матери: полная фикусов, пальм, а главное — статуэток, каждая из коих носила свое особое имя: был здесь Рыбак, вытаскивающий, запутавшуюся в неводе, прекрасную русалку — увы: с рыбьим хвостом; была здесь русская красна-девица: Маруся; повязанная платком того же цвета; был мальчик вытаскивающий, из своей босой ноги, занозу (эта статуэтка так и называлась: Заноза) ; была еще Ночь: прекрасная дама, закутанная в темноголубой плащ, усыпанный звездами. Но главным украшением, и неоспаримым царьком этого царства статуэток, был Мефистофель. Адский дух, насмешник и искуситель, стоял на маленьком пьедестале, весь закутанный в красный плащ, с маленькими черными рожками на лбу, и с вынимающейся из ножен шпагой на боку. Его лицо, с черными, мрачными бровями, было еще украшено маленькой козлиной бородкой. Знакомец доктора Фауста был неотразим. В роли цербера этого царства, находился великолепный и страшный бульдог, в натуральный рост. Он лежал на полу и скалил зубы, пугая впервые пришедших к нам гостей. Нужно ли прибавить, что бульдог, как и все остальные персонажи, был терракотовый? Неизменно, каждый вечер, прежде чем отойти ко сну, я, по давно установившемуся ритуалу, желал спокойной ночи всем "жителям" маминой гостиной: "Спокойной ночи, Маруся! Спокойной ночи, Заноза! Спокойной ночи, Ночь!" и т. д., не-

исключая и бульдога: я был очень хорошо воспитанным мальчиком.

В детской у меня имелся целый магазин разных игрушек, надаренных мне моими родителями, и их друзьями и знакомыми. Там были разного рода кубики, мячики, свинцовые солдатики, деревянная пушка, цветная глина для лепки, заводной поезд с железной дорогой, и т. д. На стене висел довольно большой корабль во всеми снастями. Но моим фаворитом был большой плюшевый мишка, и я часами мог няньчиться с ним. Кроме мишки я еще любил моего ретивого коня: картонного и на колесиках. Кончил он бесславно: его однажды забыли на ночь в саду; пошел дождь, и на утро его нашли всего расклеевшегося и развалившегося. Когда мне исполнилось пять лет, для поощрения моих спортивных наклонностей, мой отец мне подарил очень комфортабельный, трехколесный велосипед, с мягким сидением, представлявшим собой нечто вроде маленького кресла со спинкой: упасть с него было невозможно. На нем я лихо разъезжал по моей комнате, а иногда и по террасе.

У Дрейфуса в Геническе имелся собственный небольшой флот, состоявший из нескольких барж и лодок-плоскодонок. Одна из таких плоскодонок находилась в личном распоряжении моего отца. При ней служил лодочник — Филипп. Мы пользовались летом этой лодкой, и услугами моего тезки, для поездки "на ту сторону", т. е. на прекрасный пляж Арабатской Стрелки. Этот лодочник встречал меня неизменным приветствием: "Здравствуй, Тезка!"

Так как контора находилась в одном доме с нашей квартирой, то перед парадной дверью стояла будка, в которой проводил все ночи сторож — Илья. Это был уже пожилой и хитрый хохол, лебезивший перед моим отцом.

Вот в каких условиях протекал первый период моего детства.

Как я уже писал выше, у нас в доме работали две женщины: кухарка и горничная. Одно время нашей кухаркой была крупная и высокая хохлушка, по имени Маруся, а горничной — маленькая и худощавая: тоже Маруся. Чтобы, в разговоре, можно было отличать одну от другой, мы их называли: Маруся большая и Маруся маленькая. Обе они были веселыми и насмешливыми бабенками. Меня эти Маруси прозвали, полушутя — полусерьезно, "барчуком", и я, действительно, чувствовал себя барчуком. Много позже, будучи уже подростком, и читая романы девятнадцатого века, из жизни русских помещиков, я себя всегда пред-

ставлял в роли такого "барчука": избалованного дворянского сынка. Эта ранняя пора моей жизни наложила на меня свой неизгладимый отпечаток.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Накануне.

Я родился накануне крушения Российской Империи, и начала новой эпохи для всего человечества. В момент моего появления на свет, старушка История уже лизнула свои пальцы, готовясь перевернуть очередную страницу. В России занавес взвился над последним актом, длившейся триста лет, пьесы. Но начало этого акта имело место не на сцене, а в первых рядах партера киевского театра, где рукою агента царской охранки, Багрова, был убит Столыпин. Кто вооружил руку убийцы — осталось неизвестным, но после смерти Столыпина началась чехарда последних царских министров. Все больше и больше входил в силу при Дворе, развратный, хитрый и пьяный мужик — Распутин. С исчезновением Столыпина осталась им созданная реакция, но не было больше умной и сильной воли, способной целесообразно проводить ее в жизнь.

Ранняя весна 1912 года. Начало апреля. На ленских золотых приисках, в Бодайбо, условия труда были нестерпимыми: эксплуатация самая дикая, издевательства и грубости. Наконец, 4 апреля, началась забастовка. Шесть тысяч рабочих, организовав мирную демонстрацию, двинулись к дирекции, с просьбой улучшить их быт. Они встречены были ружейными залпами. Было убито 270 человек и ранено 250. Как только весть об этих кровавых событиях достигла Европейской России — волна протестов и забастовок прокатилась по всей стране. В них участвовало около 500.000 человек.

Демьян Бедный отозвался на ленские расстрелы, одним из своих самых сильных, самых лучших и искренних стихотворений: "Лена".

Жена кормильца — мужа ждет,
Прижав к груди малюток — деток.
— Не жди, не жди, он не придет:
Удар предательский был меток.
Он пал, но пал он не один:
Со скорбным, помертвевшим взглядом

Твой старший, твой любимый сын
Упал с отцом убитым рядом.
Семья друзей вкруг них лежит, —
Зловещий холм на поле талом.
И кровь горячая бежит
Из тяжких ран потоком алым.
А солнце вешнее блестит!
И Бог злодейства не осудит!
— О братья! Проклят, проклят будет,
Кто этот страшный день забудет,
Кто эту кровь врагу простит!

Демьян Бедный

В тот самый год, царский режим, пышно и торжественно, отпраздновал трехсотлетие Дома Романовых.

Россия волновалась, недовольство росло, и в 1913 году, чтобы отвлечь внимание масс, жестокое, безнравственное, но не мудрое царское правительство, обратилось к избитому, старому средству: антисемитизму. На этот раз, при активном сотрудничестве православной церкви, была вызвана из мрака средневековья кровавая химера ритуального убийства.

В Киеве, в то время, проживал бедный еврейский ремесленник, по имени Мендель Бейлис. Он ничем не отличался от многих тысяч других бедных евреев, но выбор черной сотни пал на него.

И еще одной жертвой этого страшного дела, жертвой самой трагической, оказался маленький, русский, ни в чем неповинный, ребенок. Подкупленные правительством наемные убийцы, зарезали его и подкинули тело Бейлису, который был арестован и предан суду присяжных, по обвинению в ритуальном убийстве, т. е. в употреблении крови христианских детей для ритуальных целей. Это обвинение вызвало колоссальный шум во всей России, и глубокое возмущение во всем культурном мире.

Однажды вечером, в геническом клубе, где собрались все "сливки" этого города, судебный следователь, караим Шишман, вероятно желая угодить своему начальству, выразил, громогласно, мнение, что обвинение, выдвинутое против Бейлиса, может иметь под собой какое-нибудь основание. Присутствовавший при этом Лесенков — возмутился: "Помилуйте, господин Шишман, как вам не стыдно говорить подобные вещи?" — "Я не говорю — оправдывался немного смущенный караим, — что все евреи употребляют христианскую кровь, я только предположил, что, как и во всякой

религии, у них может существовать такая изуверская секта". Бывший гвардейский офицер вышел из себя: "И это говорит, не краснея, интеллигентный человек, и судебный следователь вдобавок! Как вы можете здесь, в присутствии всех нас, пороть подобный вздор. Лучше помолчите". Шишман обиделся, смутился и умолк.

На суде, со стороны обвинения, выступали ученые попы, и даже какой-то польский ксендз. Все они старались обосновать это ужасное обвинение на, подтасованных ими, текстах из Священного Писания. Правительство приказало выбрать присяжных заседателей из среды самых темных и суеверных людей, и из чиновников, боящихся не угодить начальству. Приказ был выполнен. Защищать Бейлиса вызвались, совершенно безвозмездно, лучшие адвокаты России, и их логика и красноречие оказались сильней всей лжи правительственных и синодских провокаторов. Суд предложил присяжным ответить на три вопроса:

1. Имело ли место преднамеренное убийство?
2. Совершено ли оно было с ритуальной целью?
3. Виновен ли в нем Бейлис?

На первый вопрос присяжные ответили: Да.

На второй вопрос присяжные ответили: Нет.

На третий вопрос присяжные ответили: Нет.

Бейлис был оправдан, и навсегда покинул Россию. Кажется, что он уехал в Палестину.

В конце 1913 года, мой отец получил письмо из Таганрога, от своего отца. Между прочим, мой дедушка рассказывал в своем письме, что недавно ему написал из Лондона, сын его двоюродного брата, родом из Белоруссии. Еще сравнительно молодой человек, он уже преподает в какой-то там высшей школе, и занимается химическими исследованиями. Но, что, в глазах моего дедушки, было самым главным, это то, что его двоюродный племянник сделался видным сионистским деятелем. Зовут его: Хаим Вейцман.

ГЛАВА ПЯТАЯ: 1914 год.

На полке буфетной, лишь вечер настал,
Сосискою Венской был поднят скандал:
Прижал ее, с Русской Кашей, горшок.
"Подвинься, приятель, хотя б на вершок! —
Вскричала Сосиска. — Обид не снесу!"

И кличет на помощь себе Колбасу;
Но та отвечает: "Помочь не легко:
Сама я прижата бутылкой Клико".
Английский Ростбиф же за всем примечал,
И глупым камрадам, сердясь, проворчал:
"Последнего, братцы, лешитесь вершка,
Коль вылезет Каша долой из горшка,
И всех вас подвинет куда далеко,
Коль выльется, пенясь, из горла Клико.

Когда я уже был юношей, однажды, мой отец продекламировал мне этот забавный стишок, первых дней Первой мировой войны. В этом стихотворении, неизвестного мне автора, вновь слышится некоторый "ура — патриотизм", как если бы, спустя десять лет, опять воскрес знаменитый клич русско-японской войны: "Шапками закидаем!" Но надо сказать, что, на этот раз, русский народ почувствовал прилив, правда ненадолго, истинного патриотизма, и временно забыв свои внутренние споры, объединился в общем порыве. Любовь к Родине характерна для всех людей: в ней сказывается глубокая привязанность каждого из нас к своему домашнему очагу, к своей семье, ко всему, что, с детства, дорого сердцу человека. Для счастливцев, для которых эти два священные понятия: Родина и Отечество полностью совпадают, подобные настроения вполне понятны и законны. Увы! для всех тех, для коих они не тождественны, вопрос обстоит много сложней и болезненней. Сколько мне известно, ни один автор не написал, на эту тему, ни романа ни драмы, а сюжет богатейший.

Рассказывали, что в самом начале войны, где-то на юге России, состоялась отправка на фронт какой-то дивизии. Солдаты и офицеры стояли и слушали речь генерала. После командующего дивизией стали говорить с солдатами служители всех культов, начиная с православного епископа. Все они проповедовали, уходящим на фронт, необходимость исполнения священного долга перед их Родиной. При этой церемонии присутствовал бессарабский богатый помещик, и представитель крайне-правых настроений, известный на всю Россию антисемит и вдохновитель погромов — Пуришкевич. Наконец дело дошло до Раввина. Этот последний, со слезами на глазах, и дрожащим, от искреннего волнения, голосом, начал объяснять солдатам-евреям, что теперь они должны забыть все обиды, и идти бороться и умирать за их общую Родину-Мать:

за страну в которой они родились и жили, в которой остаются их престарелые родители, их жены, сестры и дети, и за землю, в которой покоятся кости их дедов и прадедов и т. д.

Когда Раввин окончил свою речь, Пуришкевич быстро подошел к нему, и на глазах у всех, расцеловал его в обе щеки. Трогательная сцена! Позже какой-то русский господин, по поводу этого случая, со злой, но умной иронией, заметил: "Наши евреи идут умирать за их Родину — Мачеху. Что можно ответить на это? По-моему, он был совершенно прав, и никакие поцелуи всеросийского вдохновителя антисемитизма, не могут ничего изменить. Но сущность трагедии заключается в том, что и теперь я, убежденный сионист, не решаюсь критиковать или порицать прослезившегося Раввина. В те, такие к нам близкие, и все же уже столь далекие, времена, у нас еще не было своего Отечества, а сердцу так хочется верить, что за неимением его, хоть на короткий срок, наша Родина может им стать.

Но оставим теперь военные эшелоны, увозящие на запад, к границам Восточной Пруссии, лучший цвет русской молодежи. Там, среди Мазурских озер, она, своей кровью, заплатит войне, за "Чудо на Марне".

Вернемся теперь к маленькому мальчику, которому недавно исполнилось два года. Этим мальчиком был я, и мне тогда еще не было дела до кровавой трагедии, начавшей разыгрываться во всей Европе. Блаженный возраст! У меня появились интересы значительно более важные: я уже научился не только ходить, но и бегать. Мой мир быстро расширился и, вдруг, оказался огромным и немного страшным. Он теперь состоял из четырех высоченных комнат, длиннейшей террасы, и дремучего сада полного тайн. За садом начинался двор, космических размеров, и в который доступ мне был строго запрещен. Да я и сам не дерзнул бы проникнуть в его пространства. Он был тогда тем чем, для современного астронавта, должна являться чуждая нам солнечная система.

Этот год для меня сказался неудачным. В июне, мои родители решили повезти меня в Евпаторию. Я до сих пор не понимаю: для чего? Наш домашний врач, доктор Сикульский, несмотря на свою привычку во всем поддакивать моему отцу, на этот раз искренне и честно указал ему на полную нецелесообзразность такой поездки: "Имея под боком Арабатскую Стрелку, — говорил он, — незачем ехать в Евпаторию". Но мои родители его не послушались, и вот, в один прекрасный день: мама, няня и я, отправи-

лись в дорогу. Я два раза был на этом курорте, и оба раза бывал больным. Вероятно, евпаторийский климат — не для меня. Мы сняли отдельный флигель, на даче Левицкой. Он состоял из двух комнат: одной большой, а другой маленькой. В первой поселились мы с мамой, а во второй — няня. Вскоре я захворал желудком и плакал день и ночь. Все старания поставить меня на ноги оказались тщетными, и проживавшая там женщина-врач, посоветовала моей матери увезти меня домой. Мама послушала мудрого совета, и, действительно, по приезде в Геническ, я сразу поправился. Вернувшись домой, и увидя перед собой анфиладу наших комнат, которые, после евпаторийской дачи, показались мне еще просторней, я принялся бегать по ним, взад и вперед, вызывая смех у моих родителей.

В 1914 году я расстался с моей старенькой няней. Прошло несколько месяцев. В нашем доме готовились пышно отпраздновать трехлетие моего рождения, и по этому случаю напекли множество пирогов и тортов. Накануне этого дня, вечером 2 декабря, у меня сделалась рвота и начался сильный жар. Несмотря на то, что нашим домашним врачом был доктор Сикульский, на этот раз мой отец позвал городского врача, доктора Козлова.

Он пришел рано утром, и сразу установил скарлатину: "Форма у него довольно тяжелая; спринцуйте ему горло, и если в первые три дня не присоединится круп, то мы его, вероятно, спасем; в противном случае, я вас должен сразу предупредить, что медицина будет бессильна". Таков был приговор доктора Козлова. По его уходе моя мать, впервые в своей жизни, упала на колени, и плача умоляла Всевышнего, спасти ее единственного сына. Господь внял молитву матери, и я выздоровел; но в дни моей болезни у мамы появился первый белый локон, который мой отец отрезал, и носил при себе долгие годы. Конечно — все пироги были выброшены, а после моего выздоровления была сделана в доме формалиновая дизенфекция, от которой пострадали мамины фикусы и пальмы. Так окончился для меня 1914 год.

ГЛАВА ШЕСТАЯ: Второй период моего детства.

Слово: война, мне стало знакомо с трехлетнего возраста. Взрослые повторяли его постоянно, и я стал впервые обращать внимание на людей одетых не так как все; они шли посередине улицы

и пели. Мне сказали, что это солдаты. Рядом шли люди одетые несколько иначе, и носившие на плечах погоны. Это были офицеры, и они командовали солдатам: "Ать, два, три". Кто-то из приятелей моих родителей мне подарил игрушечную полную форму, на мой рост, гусарского офицера, которую я порой надевал, и что греха таить — она мне нравилась. В моей детской комнате появился и барабан.

Накануне войны, когда всем стало ясно, что катастрофа неизбежна, к моему отцу из Феодосии приехал его прямой начальник Зингер. Он привез штук тридцать дорогих персидских ковров, и еще кое-какие ценности, и просил моего отца их сохранить у себя до окончания войны, не имея возможности, в настоящее время, увезти с собой все это добро. Будучи венгерским подданным он торопился покинуть Россию, боясь быть заключенным в концентрационный лагерь. Почти всю мебель, и имевшееся у него серебро, он разместил у других русско-подданных своих приятелей. Раз в две недели, все эти ковры выносились на нашу террасу, и там из них выбивали пыль и пересыпали их нафталином. Мне нравилось присутствовать при этой операции, и я любовался их замысловатыми рисунками. Вскоре после отъезда Зингера, мой отец получил из Парижа распоряжение, не покидая Геническа, принять на время войны, оставленное Зингером управление всеми отделениями фирмы Дрейфуса, на юге и юго-западе России. Кроме того, центральное парижское управление дало ему понять, что если он окажется на этом посту на высоте положения, то, по окончании войны, его назначат главным директором всего этого края, и он будет переведен в Феодосию на место Зингера. У многих старых служащих, такое быстрое повышение вызвало недовольство, но с распоряжением Парижа никто не спорил.

Война начала чувствоваться повсеместно. Бывший гвардейский офицер Лесенков был мобилизован, и в прежнем чине отправлен на фронт. В 1916 году, с новеньким белым крестиком в петлице, он приехал в отпуск к жене, и много рассказывал о своих военных впечатлениях. По окончании отпуска, Лесенков вновь отправился в окопы, и вскоре пропал бесследно. Был ли он убит на немецком фронте, или, позже, во время гражданской войны? Попал ли он в плен? Бежал ли он за границу? Ни его жена, ни кто другой, никаких сведений о его дальнейшей судьбе, не получили. Ушел добровольцем на фронт, в качестве полкового священника, любивший выпить и поиграть в преферанс, иерей — отец Николай.

Летом 1915 года, моя мать повезла меня на южный берег Крыма, в Алушту. Алушта расположена у моря, на склонах крымских гор, густро поросших сосновыми лесами. Климат там менее жаркий, чем в Евпатории, и воздух пропитан ароматом хвои. Пляж в Алуште не песчаный, но состоит из довольно мелких, обточенных морем, камушков. Позже, взяв кратковременный отпуск, приехал туда и мой отец.

Странное дело: совершенно не обладая музыкальным слухом, я запомнил на всю жизнь некоторые мотивы, и с каждым из них у меня связались те или иные воспоминания, или просто чувственные впечатления: например запах. В Алуште я впервые услышал пение знаменитой баллады о Стеньке Разине, на слова Дмитрия Садовникова, и с тех пор, слушая этот мотив, мне чудится запах хвои. Мы сняли дачу в так называемом Профессорском Уголке: поселке, расположенном на небольшом холме. С него, к морю, вела кремнистая тропинка, извивавшаяся между высоких сосен. Однажды, гуляя с отцом у моря, мы наткнулись на двух мальчиков — подростков, боровшихся на пляже, по всем правилам "французской" борьбы. "Они дерутся?", — спросил я у отца. "Нет, они борются". Я еще никогда не участвовал в драке, но о ее существовании уже знал. Теперь я понял, что существует и борьба: своего рода драка, но мирная, и подчиненная известным строгим правилам. Мой кругозор продолжал расширяться.

В Алуште мы много катались по ее окрестностям, и, между прочим, посетили Байдарские Ворота. Довольно длинная, и весьма живописная, дорога змеится между двух горных гряд. Внезапно одна из них расступается, и через образовавшийся промежуток открывается вид на блестящую под солнцем, голубую морскую гладь. Это и есть Байдарские Ворота. Они мне запомнились навсегда. В том году я вернулся домой, поздоровевшим и загоревшим.

До четырехлетнего возраста я рос совершенно один: у меня не было товарищей. Несмотря на все мои игрушки я очень скучал. Мои родители это видели, но ничем мне помочь не могли. Моя мать страстно желала иметь еще одного ребенка, но по причине, которую ни один врач объяснить не мог, детей у нее больше не было. Старая цыганка сказала правду! Когда мне исполнилось четыре года, у меня, наконец, появился друг: Соля (Соломон). Он был сыном, приятеля моего отца, Абрама Давидовича Либмана. Соля был моложе меня на полтора года. Этот ребенок проводил у нас целые дни. В детстве я не имел никакого аппетита, и чтобы

заставить меня есть приходилось прибегать к классическим средствам: "Съешь, милый, этот кусочек за здоровье папы, а этот — за здоровье мамы. Если ты не съешь последнего кусочка, то он будет за тобой гнаться" и т. д. В отличие от меня, Соля был вечно голоден. Его мать, Марья Григорьевна, мало заботилась о прокормлении своего птенца, и предпочитала вести светский образ жизни, насколько это было возможно в таком маленьком и паршивеньком городке, каким был Геническ. Она была довольно молодой и довольно красивой дамой, любила порой пофлиртовать, и домашние обязанности ее интересовали мало. Приходя к нам, Соля, с жадностью маленького зверенка, набрасывался на всякую еду. Обедал он вместе со мной, и упрашивать его не приходилось. Он был умненьким, и довольно хитрым ребенком. Однажды, ему было тогда уже около четырех лет, сидя у нас и лакомясь маленькими сладкими бубликами, он так увлекся этим занятием, что не хотел остановиться, и просил еще и еще. В конце концов, моя мать, боясь, чтобы он не испортил себе желудок, сказала ему строго: "На, возьми еще один — последний, и не смей больше просить бубликов". Соля его съел, но не угомонился: ему хотелось еще. Подождав минут с пять, и помня строжайший запрет моей матери просить бублик, он обратился к ней со следующим вопросом: "Можно мне взять один такой: маленький, кругленький, с дырочкой?" У него был весьма странный характер: если я начинал плакать, а это со мной случалось нередко, он принимался плакать еще больше чем я, и тотчас убегал к себе домой. Даже предлагаемые ему лакомства, в этом случае, не в силах были его удержать.

В декабре 1915 года мои родители поехали на пару недель в Таганрог, повидать родителей моего отца, и взяли меня с собой. Я, впервые после моего рождения, посетил мой родной город. Он поразил меня своими размерами и климатом: длинные и широкие улицы, занесенные снегом. Нередко встречались очень высокие дома: в два этажа. Сколько народу ходило по его тротуарам! Большое количество церквей, два памятника, и множество других, невиданных доселе, диковин, вроде золоченого кренделя на вывеске над булочкой, около нашего дома, все это поражало мое воображение. Я познакомился с двумя мальчиками: Колей и Сережей Резниковыми. Их мать, урожденная Минкелевич, была родной сестрой тети Анны, жены дяди Миши. На рождество я был приглашен "на елку", к моему православному двоюродному

брату Юре. Я его больше, с тех пор, никогда не видел. Кроме мужского знакомства у меня появилось и дамское, и смело могу сказать, что я в нем имел успех. Некая Ара, девочка тремя годами старше меня, садила меня к себе на колени и пела мне песенки. Она была единственной дочерью весьма оригинальных родителей. Ее отец был анархистом. Его я встретил, много лет позже, в Москве. Это был высокий и угрюмый господин, весь в косоворотке и сапогах. Ее мать, по имени Анна Романовна, была старой социалисткой, а сама Ара, впоследствии, сделалась убежденной и горячей коммунисткой. Была еще там моя троюродная сестра Аня, тоже несколькими годами старше меня; она нянчилась со мной и пела мне какую-то песню о чумаках в бескрайней южной степи.

В январе мы вернулись в Геническ. Перед отъездом, мой отец повел нас к фотографу, студия которого помещалась на втором этаже, и представляла собой комнату с огромными окнами, в целую стену. Из них, поверх заснеженных крыш домов, виднелось море и корпуса заводов. Я никогда, до того дня, не подымался на подобную высоту.

После нашего возвращения домой, моя жизнь несколько изменилась. Мой отец стал часто гулять со мной по бульвару, находившемуся посередине нашей улицы. Он ходил, держа меня одной рукой, а в другой у него была изящная палочка с серебряным наконечником, которой он помахивал на ходу. Такая манера ходить казалась мне проявлением высшего шика. Иногда, в сумерки, мы садились с ним, не зажигая огня, в нашей гостиной, и он мне пел разные песни. Как я уже говорил: мой отец не обладал ни голосом, ни слухом; но никакое пение, слышанное мною впоследствии, не производило на меня такого чарующего впечатления.

Мою няню заменила молодая гувернантка. Она начала понемногу меня учить читать, и сама читала мне сказки графини Сегюр, в русском переводе. В этом возрасте месяцы идут за годы, и в последнее время я сильно вырос физически и умственно. Новые мысли и чувства начали меня волновать. Наш дом уже не казался столь огромным, и наш двор уже не пугал меня своими неисследованными пространствами. Как это ни странно, но мне начали нравиться хорошенькие девочки, в особенности те, которые носили косички. Ничего еще, конечно, не понимая, я почувствовал к ним инстинктивное влечение, и желание знакомиться с ними и дружить. Многие мальчики, в раннюю эпоху их жизни, искренне презирают

"девчонок". Со мной этого не случилось: я всегда относился к женщинам с большим уважением, и их общества, отнюдь, не избегал. Будучи единственным сыном, я мечтал иметь сестренку, в образе красивенькой девочки. Позже я перенес это неистраченное, почти братское, чувство, на двух моих двоюродных сестер. Такое явление я позже наблюдал, уже у совершенно взрослых людей, как в жизни так и в литературе.

В зрелую пору моей жизни, у меня был один знакомый русский господин. Однажды он мне сознался, что в молодости он был влюблен в одну из своих сестер. Осоргин написал на ту же тему целую книгу: "Повесть о сестре". Он писал, что если бы они не были братом и сестрой, то наверное были бы страстными любовниками. Что касается людей, как я, сестер не имевших, то часто своих двоюродных сестер, или своих молодых жен, они называли сестрами. Так Райский, в "Обрыве" Гончарова, называл Веру. Герцен, в первые годы своего супружества, называл свою жену сестрой. Впрочем, в обоих случаях, они были их двоюродными сестрами. Так или иначе, но это чувство мне хорошо знакомо.

В Геническе открылся кинематограф (тогда его называли: иллюзион), но так как электрической станции в городе не существовало, то хозяин этого самого "иллюзиона", установил у себя свой собственный генератор постоянного тока, и за не очень большую плату, снабжал им несколько домов, в том числе и наш. Конечно, ток давали только во время сеансов, и к одиннадцати часам вечера свет погасал. Тогда вновь зажигались керосиновые лампы. Моя мать, пару раз, взяла меня с собой в кинематограф. Я смутно помню какой-то фильм, в котором показывали большой лес; он мне чрезвычайно понравился.

С фронта приходили все более и более дурные вести: русские войска отступали. После отставки великого князя Николая Николаевича, и принятия верховного командования немецким фронтом, самим Николаем Вторым, положение еще больше ухудшилось. Давно был позабыт первый порыв общего патриотизма. В столицах появился острый недостаток в продовольствии. Недовольство росло, и в стране становилось неспокойно.

Летом 1916 года, мы на дачу, в Крым, не поехали, а ограничились пляжем Арабатской Стрелки.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Великая русская революция.

Не слышно шума городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городового —
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жмется шерстью жесткой
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный
Стоит за ним, поджавши хвост.

Александр Блок

Как это случилось?! Режим существовал уже более трехсот лет. Медленно протекли три, видавшие всякие виды, столетия. — Сколько было войн: удачных и неудачных! Сколько было совершено кровавых преступлений и массовых казней! Сколько было заговоров и покушений! Большинство царей умерло не своей смертью. Ничто не могло серьезно поколебать этого истукана, именуемого Российской Империей. Рабство и бесправие; кровь и слезы; невежество и голод; еврейские погромы, армянские погромы, гонения на интеллигенцию: все проходило безнаказанно. Но вот наступило мокрое и туманное мартовское утро. В стольном городе Петрограде, какая-то простая баба, простоявшая, чуть ли не целую ночь, в очереди за хлебом, подняла скандал. Экая невидаль! покричит она, поругается и успокоится. Разве что поведут рабу Божью в участок: для вразумления — и все тут. Скажут ей там: "чего кричишь? так тебя растак! — людей смущаешь!" Об этом даже в газете, в отделе мелких происшествий, писать не стоит... И рухнула Империя!!!

Март в Геническе бывает теплым, и когда день безоблачен, то южное солнце светит совсем по-весеннему.

Сегодня мои родители настроены как-то особенно радостно. Мой отец, с сияющим от счастья лицом, зовет меня гулять: "Се-

годня большой праздник, Филюша, пойдем со мной на Проспект". — "Какой праздник, папа?" — "Революция!" Новое, и еще совсем непонятное мне слово вошло в мой лексикон. Мама для меня смастерила маленький флажок, но у нее не оказалось красной материи, и он был малинового цвета. На Проспекте мне встретился мой приятель — Соля, гулявший, как и я, со своим отцом. Он тоже держал в своей руке флажок, но настоящий — красный. Почти все встречные прохожие носили на своей груди банты того же цвета. Многие из них, нередко между собой незнакомые, встречаясь поздравляли друг друга, и целовались. Окна домов украсились алыми полотнищами. Революция! Почему я до сих пор о ней ничего не слыхал? Празднуют ли ее только раз в год, или чаще? Что вообще обозначает это странное слово? Кто, в то время, мог ответить пятилетнему мальчику на подобные вопросы? Позже ему разъяснила их сама жизнь.

15 марта 1917 года, в Петрограде образовалось первое Временное Правительство, во главе которого стал "кадет" (конституционный демократ) — князь Львов. Городская полиция и корпус жандармов были распущены, и большинство принадлежащих к ним лиц — арестованы или убиты. Многие из них бежали и скрылись. Для соблюдения в городах порядка была образована народная милиция, состоящая, главным образом, из заводских рабочих и студентов. Были объявлены свободы: собраний, печати, забастовки, слова, совести и т. д. и равенства всех граждан перед законом. Все дворянские титулы, и связанные с ними привилегии были уничтожены. Временное Правительство приняло власть именем Учредительного Собрания, которое должно было быть созвано в начале ноября текущего года.

Во всех городах приступили к немедленным выборам в Демократическую Городскую Думу. В Геническе, членом Городской Думы, от партии К. Д. (конституционных демократов), был выбран мой отец, и избран ею заместителем председателя. Председателем Думы был выбран Эсер (социалист-революционер): матрос — Птахов; но так как он бывал часто в разъездах, то председательствовать в генической Думе приходилось моему отцу. До сих пор на нем лежали заботы исключительно деловые и семейные, но теперь к ним прибавились и общественные. В начале апреля в Городской Думе был поднят вопрос о выборе и назначении одного из двух имеющихся кандидатов, на должность начальника местной народной милиции. Выбор пал на портового слу-

жащего: Василия Серебряникова. Другой кандидат, предлагавший себя на этот пост, был бывший военный, — Георгий Акимов. Мой отец председательствовал Думой, когда была провалена кандидатура этого последнего. С ним еще придется раз встретится, но при других обстоятельствах.

Между тем в России события сменяются событиями. История, как бы желая вознаградить себя за века относительной инерции, мчится теперь на всех парах.

16 апреля 1917 года, из Швейцарии, в запломбированном вагоне, пересекая всю воюющую Германию, прибывает в Петроград Ленин. В июле, большевики, впервые, пытаются захватить власть; но это им не удается. В августе, первое Временное Правительство подает в отставку, и его заменяет второе, во главе с эсером, адвокатом, Александром Керенским. Так как кое-где начинаются антисемитские беспорядки, то Керенский создает батальон еврейской самообороны. Все офицеры, унтер-офицеры и солдаты, входящие в его состав — исключительно евреи.

Однажды к моему отцу явился молодой военный, и представившись капитаном Альтманом, заявил, что он офицер еврейского батальона и прислан в Геническ, во главе своей роты, так как, по имеющимся у них сведениям, в этом городе готовится погром. Мой отец тотчас навел справки. Опасения капитана Альтмана оказались ложными, но присутствие в городе еврейской роты, действительно вызывало некоторое недовольство. Отец позвал капитана и попросил его немедленно покинуть Геническ.

"Хорошо, я уведу моих солдат, но вы, гражданин Вейцман, берете на себя страшную ответственность", — заявил с угрозой капитан. Рота еврейской самообороны покинула город, но никаких антисемитских беспорядков в нем не произошло.

С приходом к власти Керенского, всякая дисциплина в действующей армии совершенно прекратилась, и дезертирство приняло повальный характер. Начался полный развал фронта. В сентябре, по приказу второго Временного Правительства, вся императорская семья была отправлена в ссылку, в город Тобольск. В конце октября прошли всеобщие выборы в Учередительное Собрание, и в ноябре оно было созвано. В это самое время, военный корпус генерала Корнилова подошел к Петрограду. Корнилов послал к Керенскому двух своих офицеров генерального штаба, прося впустить его корпус в Столицу. Он обещал оставить в неприкосновенности все основные завоевания Революции, не пытать-

ся восстановить монархию и уважать решение Учредительного Собрания; но, в то же время, считал совершенно необходимым спешно навести порядок и установить твердую власть, так как, по его мнению, стране угрожал большевистский переворот. В ответ, Керенский арестовал двух, присланных к нему, офицеров, и опасаясь предательства и контрреволюции, послал навстречу Корнилову верные правительству войска.

7 ноября 1917 года, в Петрограде произошел большевистский переворот. Керенский, переодетый женщиной, бежал к Корнилову, который помог ему скрыться за границей. Сам Корнилов, поспешно отступил на Дон.

В Петрограде, под председательством Ленина, было образовано новое правительство. По предложению Троцкого, оно было названо Советом Народных Комиссаров (Совнарком). Сам Троцкий был назначен, по настоянию Ленина, военным комиссаром. Во время переворота, в одной из больниц Петрограда, находились на излечении два министра павшего Временного Правительства. Оба они были зверски умерщвлены в их постелях, большевистски настроенными матросами, с крейсера "Аврора".

В Москве большевики наткнулись на отчаянное сопротивление, длившееся несколько дней. И только после жестоких уличных боев им удалось завладеть всем городом и занять Кремль.

Кровь граждан начала течь. В Петрограде была основана Урицким, Чрезвычайная Комиссия, или иначе: ЧК. Две буквы, ставшие символом красного террора. По распоряжению Ленина, в апреле 1918 года, царская семья была перевезена из Тобольска в Екатеринбург, где, в ночь на 17 июня 1918 года, все они были расстреляны. После роспуска, в том же году, Учредительного Собрания, вся власть перешла к Совету Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов (Совдеп). Позже, белые прозвали территорию России, находящуюся под контролем этой новой власти: "Совдепией".

В декабре 1917 года, в Геническ прибыли первые представители Советской Власти, и тотчас образовали в нем нечто вроде местного Совнаркома, но Городская Демократическая Дума продолжала существовать по-прежнему. Вскоре, в городе заработала местная ЧК и произошли первые расстрелы.

Однажды, генический соборный протоиерей, отец Петр, шел по улице, и как всегда, на его груди блестел большой золотой крест. Внезапно он был остановлен группой красных матросов, которые,

с гиканьем и хохотом, окружили его, и начали над ним глумиться: "Что, поп, все еще Богу молишься — бабьими сказками людям голову морочишь. Гляди, ребята, какой золотой крест он носит! Снимай, поп, крест!" Отец Петр остановился, и спокойно ответил: "Что ж, если у вас руки подымутся его с меня снять — снимайте, а я сопротивляться вам не стану". Матросы еще немного покричали, похохотали, однако креста не тронули, и разошлись.

Всякая работа в конторе Дрейфуса совершенно прекратилась. Мой отец был принужден уволить всех служащих, и в том числе, сторожа Илью. Так как он служил уже много лет, то при увольнении ему хорошо заплатили. Уходя, Илья горячо благодарил "господина директора". Немного времени спустя, мой отец получил повестку из комиссариата защиты труда, с предложением туда явиться. Пришлось идти. "Садитесь, гражданин, — встретил его вежливо молодой комиссар. — Вы — гражданин Вейцман?" — "Так точно". — "Тут на вас поступила жалоба от гражданина Ильи Харченко. Вы, в качестве директора, не уплатили, при увольнении, всю следуемую ему сумму". Мой отец возмутился: "Как так — не заплатил! Я ему дал больше чем следует. Пусть он попробует это отрицать при мне". — "Это легко сделать, — ответил комиссар, — войдите, товарищ". При этих словах, через боковую дверь, в комнату вошел Илья. "Послушай, Илья, правда ли это, что ты недоволен деньгами, которые я тебе дал при расчете? Повтори теперь твою жалобу товарищу комиссару, при мне". — "Да я не то чтобы не получал следуемых мне денег; я, конечно, их получил, и премного вам, господин управляющий, благодарен; только вот, как теперь все-таки времена другие, так оно будто и маловато", — бормотал немного смущенный Илья. "Дал ты мне расписку, в получении всех следуемых тебе денег, или не дал?" — "Как же, дал". — "Так чего же тебе еще надо?" — "Послушай, товарищ, — вмешался комиссар, обращаясь к Илье, — ты что ж мне, мил человек, голову морочил? Ты получил, или нет, твои деньги?" — "Как будто — получил". Комиссар рассердился: "Ты мне товарищ пришел сказки рассказывать, время даром отнимать!" Потом он обратился к моему отцу: "Вот, что, гражданин, он уже стар, этот ваш Илья, дайте ему еще немного денег, а он вам, при мне, расписку даст о своем полном удовлетворении".

Отец вынул свой бумажник, и укоризненно качая головой, дал Илье еще несколько кредитных билетов. Тот принял предлагаемые ему деньги, расписался под составленной комиссаром

бумагой, и ушел, хотя и сильно смущенный, но весьма довольный. ''Вот так у меня почти каждый день, — пожаловался комиссар моему отцу — что за народ пошел — право!''

В одно прекрасное утро, к Бердичевскому пришли ''забирать излишки'', т. е. попросту отбирать у ''буржуя'' все, что казалось ценным, и без чего, по их мнению, Бердичевский мог прожить. Конфискованное имущество официально шло в пользу Государства и городской бедноты. Куда все это шло в действительности — один Бог ведает. По окончании узаконенного грабежа, ''товарищи'' вошли в наш общий двор. ''А теперь пойдем сюда?'' — спросил один из них, человек явно не здешний, указывая на наш дом. ''Нет, товарищ, — ответил другой, — туда идти нам не надо, там живет не буржуй''. И они ушли.

В городе, что ни день, образовывались митинги. Посередине улицы собиралась толпа, и взлезши на тумбу какой-нибудь доморощенный Демосфен, произносил зажигательную речь, в которой, обыкновенно проклинал всех ''сосущих кровь трудящихся, буржуев'', призывая: ''пороть им их толстые животы''. Однажды мой отец, идя по улице, натолкнулся на довольно комичную сцену: обычная толпа, и обычный призыв к порке толстых брюх, а в самой толпе, недалеко от оратора, стоит спокойно богатейший местный еврей — Аппенанский, обладатель преогромного живота, и с интересом слушает речь. ''Что вы тут делаете, господин Аппенанский? Побойтесь Бога! Идите скорее домой!'' — сказал ему, серьезно за него испугавшись, мой отец. ''Зачем это, скажите пожалуйста, господин Вейцман, мне идти домой? — спокойно ответил Аппенанский, — очень поучительная и интересная речь'', — и он погладил рукой свой огромный живот.

После конфискации всех денежных сумм, лежавших в банках или сберегательных кассах, после обесценения всех ценных бумаг, после вскрытия всех несгораемых касс, новый режим издал указ в силу которого, под угрозой расстрела, все золото должно было быть отдано в кратчайший срок государству. Вместе со всем трудящимся населением, мой отец сразу потерял все свои сбережения. Таким образом его планы, касающиеся моей будущности, рухнули. Он мечтал, когда я подрасту, послать меня учиться в Швейцарию. Там я мог получить хорошее образование, и избегнуть процентной нормы. Правда, процентной нормы больше не существовало, но в России гимназии закрывались одна за другой. Какое образование я смогу получить? Неизвестно! Все было сразу сведено

к нулю: мечты моего отца о моем блестящем будущем, и безбедная старость моей няни.

Академик, профессор, инженер, известный врач, директор крупного предприятия, мелкий служащий, трудолюбивый и честный рабочий, земледелец; все они, одним росчерком пера, материально приравнивались к не имевшим никогда в кармане ломанного гроша, пьяницам, кутилам и бездельникам. Ужасная вещь — уравнение книзу!

В последних числах февраля 1918 года, в Геническ пришла устрашающая весть, вызвавшая панику во всем населении: к городу приближалась банда батьки Кныша. Действительно, через несколько дней, на станцию Новоалексеевку прибыл поезд состоящий из восьми теплушек, наполненных, вооруженными до зубов, бандитами. Лазутчики генических властей донесли, что бандиты разграбив станцию и прилегающие к ней села, пьют и безобразничают, готовясь потом двинуться на Геническ. Было решено дождаться ночи. Под покровом темноты, небольшой, но хорошо вооруженный отряд народной милиции отправился в Новоалексеевку. Он застал бандитов мертвецки пьяных. Сняв, без труда, часовых, тоже полупьяных, геническая народная милиция, проникла в вагоны, отобрала у спящих оружие, и под угрозой ружей и револьверов, перевязала плохо пробудившихся разбойников, и под сильным конвоем, в том же поезде отправила их в Симферополь, где все они были расстреляны.

3 марта 1918 года, в Брест-Литовске, Советское Правительство подписало с немцами сепаратный мир. По договору, вся Украина отходила от России, и получала независимость, но, на время войны, подпадала под протекторат Германии. Киев был объявлен столицей этого нового государства. Во главе Украины стал гетман Скоропадский. Под его верховным командованием был образован корпус гайдамаков. Немецкая оккупационная армия хлынула на юго-запад России.

В Геническе, под председательством моего отца, было созвано чрезвычайное заседание Городской Демократической Думы. Местный Совнарком, во главе с его председателем, явился на заседание, и поставил Думе следующий вопрос: берет ли она на себя ответственность, формальную и моральную, гарантировать неприкосновенность всех членов местного Совнаркома, когда немцы войдут в Геническ? Если Дума даст ему положительный ответ, то Совнарком останется на своем посту, для охраны граждан

от возможных набегов банд, и передаст власть, из рук в руки, немецкому командованию. В противном случае Совнарком будет принужден оставить город заблаговременно, на произвол судьбы. Прения были горячие, но их решил, заседавший в Думе от православного духовенства, отец Петр. Он попросил у моего отца слово, и получив его сказал: "Как мы можем гарантировать неприкосновенность, т. е. безнаказанность, вам — обагрившим свои руки в крови стольких невинных жертв! Вам — совершившим грабежи и беззакония! Никогда Городская Демократическая Дума не сделается вашей сообщницей". Поставили вопрос на голосование, и Дума, в гарантии и покровительстве местному Совнаркому, отказала. Через несколько дней все его члены скрылись из города.

Немецкая лавина катилась быстро, и никаких банд, поблизости от Геническа, к счастью для его граждан, не оказалось.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: Немцы.

Снова месяц март; снова весеннее, южное, ласковое солнце светит над Геническом. Но какая огромная разница между прошлой и этой весной, между прошлым и этим годом! Сколько было наивного восторга, увы, смененного горьким разочарованием! К счастью для меня, подобные переживания чужды сердцу шестилетнего мальчика.

Я стою у парадного входа нашего дома, и прижимаясь близко к моей матери, гляжу широко открытыми глазами, на грузно и мерно шагающих солдат. Они одеты в совершенно мне незнакомую форму, и на головах у них железные, островерхие каски. Идущие рядом офицеры командуют им на отрывистом, мне совершенно непонятном, языке. Но я зачарован. Мне кажется, что по нашей пыльной улице, перед моими глазами, проходят завоеватели всей России, быть может — всего мира. Они, конечно, непобедимы, и я полон искреннего преклонения перед ними. С подобным чувством, вероятно, двадцать веков тому назад, мой сверстник, маленький галл, глядел на проходящие через его селение, римские легионы Кая Юлия Цезаря.

Мой отец ушел на Проспект, и став на тротуаре, напротив здания городской управы, грустно смотрит, то на идущих немцев, то на крышу управы, над которой уже развевался бело-красно-

черное знамя Германской Империи. Дожили! В один год три знамени сменило одно другое, а еще вчера тут плескалось по ветру красное знамя Великой русской революции. Рядом с отцом стоит один из депутатов Городской Демократической Думы, от партии большевиков. Из города, при приближении немцев, бежали только члены местного Совнаркома, ЧК и еще несколько главарей, а прочие все остались. Депутат внимательно, но спокойно смотрит на проходящие перед ним войска Вильгельма Второго.

"Вот, ґражданин, — обращается мой отец к большевику, — это все ваших рук дело". Тот взглянул на моего отца и улыбнулся: "Не волнуйтесь, гражданин, они так же быстро уйдут, как и пришли, да только не в таком прекрасном порядке. За это я вам ручаюсь". Он оказался прав!

Демократическая Дума была распущена новыми властями, и городом теперь управляли две комендатуры: немецкая и украинская. Таврической губернии больше не существовало, и мелитопольский уезд, вместе с Геническом, был присоединен к, отныне, независимой Украине. Во главе страны стояла Центральная Рада, а еще выше — властный правитель всей Украины: гетман Скоропадский, и ему подчинялись все и вся; а сам гетман был верным вассалом его Императорского и Королевского Величества, Вильгельма Второго. Было чему радоваться! Украинский язык был объявлен официальным и обязательным для всех; но кто на нем говорил? Чтобы отвести душу, граждане, вполголоса, острили между собой по поводу этого языка. Рассказывали, что гайдамакские офицеры командовали: "Железяки на пузяки: гоп!" Смеялись жители — лучше смеяться чем плакать. "Знаете последние слова украинского гимна: — Ще не вмерла Украина от Полтавы до Берлина". "Не так, — перебивает первого остряка другой: — Ще не вмерла Украина, а все смердить. Ха-ха-ха!" "Надо, надо учиться языку Шевченко. Вот, например, знаете ли вы, как следует перевести следующую фразу: "Автомобиль повез мою жену к художнику"? Нет? — так слушайте: "Самопер попер мою жинку до мордописца". А как надо перевести, на этот очаровательный язык "Смейся паяц над разбитой любовью"? Слушайте: "Рыгачи юмполо над разгепанной коханой". На стенах домов появились листы с украинским текстом. Они были тем, чем, при царском режиме являлись указы, а при большевиках — декреты; но теперь это были гетманские "универсалы". В поэме "Полтава", у Пушкина, Мазепа: "Слагает цифр универсалов". Остряки рассказыва-

ли, что в стольном граде Киеве, бывший русский дворник, из великороссов, поставленный теперь на ответственный пост заведующего одной из киевских уборных; будучи рассерженный невозможностью содержать в надлежащей чистоте, это полезное заведение, написал на листе бумаги ряд правил: как следует себя вести в этом месте, прибил к стене этот лист, и надписал сверху: "Униве--ал", поставив букву р на место с, и с на место р.

По домам всех зажиточных обывателей были расквартированы немецкие офицеры. У нас поселился, вместе со своим денщиком, молодой обер-лейтенант: Фон Рихтер. Этот офицер оказался очень милым человеком. Говорил он исключительно по-немецки, но мой отец отлично знал этот язык, да и моя мать, хотя и с трудом, но немного объяснялась на нем. Когда он бывал свободен, то подолгу возился со мной, нося меня на руках, и уча, хотя и безуспешно, нескольким немецким фразам. В это самое время, к нам приехала немного погостить, моя бабушка, мать моей матери. Так как Мариуполь находился на территории Украины, то железнодорожное сообщение с ним было налажено. Моя мать в разговоре, обращаясь к бабушке, употребляла ласкательную форму: "Мамочка". Однажды, Фон Рихтер спросил ее о значении этого слова. Несколько дней спустя моя мать застала офицера за упаковкой большого ящика полного белой мукой, коровьим маслом, сахаром, украинскими колбасами и многим другим подобным добром. Надо сказать, что немцы систематически обирали Украину, и все что только могли, отправляли в Германию, в которой уже начинал чувствоваться недостаток продовольствия.

Моя мать, указывая на упаковываемую посылку, спросила его: "Что это? Кому?" — "Мамочка", — ответил он по-русски.

Внезапно к нам приехал Зингер. Мои родители его совсем не ждали, но воспользовавшись немецкой оккупацией, он вернулся, на короткий срок в Россию, для увоза к себе в Венгрию, все оставленное в ней имущество. Прежде всего он поехал в Феодосию, но там его ждало неприятное известие: друзья, которым он поручил хранить у себя столько ценностей, рассказали ему, как большевики их конфисковали, "в порядке изъятия излишков". Насколько это было правдой, Зингеру никогда установить не удалось. Тем более он был обрадован, и даже растроган, увидя все свои ковры в полной сохранности. "Вы, господин Вейцман, единственный человек, вернувший мне мои вещи", — сказал отцу

его бывший начальник. Он скоро уехал, и увез с собой свое добро.

Однажды, к отцу явился немецкий чиновник и объявил, что по их сведениям, у него в амбарах сохраняется некоторое имущество принадлежащее французской фирме Дрейфус. Так как Франция находится в состоянии войны с Германией, то оно подлежит конфискации, и немец потребовал у отца ключи от амбаров. Мой отец наотрез отказался их им выдать. "В таком случае мы вынуждены будем взломать замки", — заявил немецкий чиновник. "Это ваше дело — хладнокровно ответил отец — ломайте". Замки были взломаны, и все там находящееся — конфисковано. Отец попросил выдать ему список отобранного имущества, и с ним отправился к полковнику Шульцу, немецкому коменданту города. Ссылаясь на свою ответственность перед Дрейфусом, мой отец попросил у него подтвердить официально акт конфискации. Полковник нашел просьбу справедливой, и заверил список отобранного имущества печатью немецкой комендатуры, и своей собственной подписью. Но мой отец не успокоился, и с этим документом отправился в Украинскую комендатуру. Там, видя, что немцы поставили свои подписи и печати, не сделали отцу никаких затруднений, и в свою очередь официально заверили эту бумагу. Только теперь, вполне удовлетворенный, отец спрятал ценный документ в надежное место.

Денщик, поселившегося у нас немецкого обер-лейтенанта, оказался злым юдофобом, и заметив, что моя бабушка строго соблюдает еврейские законы: молится, ест только кашер и т. д., позволил себе, по отношению к старушке, какую-то грубую антисемитскую выходку. Бедная бабушка, плача, рассказала об этом моей матери, а та пожаловалась Фон Рихтеру. Последний принес моей бабушке свое личное извинение за поведение его денщика, а сам передал это дело по начальству. Ровно через неделю денщик-антисемит был сменен и отправлен на западный фронт.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: Отъезд.

После визита Зингера и конфискации немцами всего имущества, принадлежавшего Дрейфусу, делать моему отцу в Геническе было нечего: весь штат уволен; контора закрыта, быть может, навсегда; а сам отец никакого жалованья больше не получал. Возможность заработка в этом захолустье, при создавшихся об-

стоятельствах, была равна нулю. Кроме всего, переходить в украинское подданство тоже не хотелось. "Едем на Родину — в Таганрог", — решил мой отец. В мае моя бабушка вернулась к себе в Мариуполь, и мы начали собираться в дорогу. Предстояло покинуть насиженное место, оставить привычную обстановку, друзей и знакомых, и почти все наше собственное имущество. Но решение было принято: едем!

Уже два года, как "маленькая" Маруся вышла замуж и уехала с мужем в свое село. На ее место определилась дочь одной хохлушки, из села Искуи, которая два раза в неделю привозила нам: молоко, масло, яйца, сметану и прочие продукты сельского хозяйства. Она была честной и степенной женщиной, и такой же воспитала свою восемнадцатилетнюю дочь — Мотю (Матрену). Мотя была высокой, статной, "чернобривой" украинкой: девушкой красивой, сильной, работящей и серьезной. Моя мать полюбила ее всей душой, и она сама привязалась к нам. Узнав о нашем решении уехать из Геническа, она стала просить мою мать взять ее с нами в Таганрог. Кроме нежелания с нами расставаться, ей хотелось повидать свет. Мама охотно согласилась, но мать Моти была против этого, и только Мотины слезы и упреки заставили ее дать свое согласие, но она потребовала у моей матери слово, что Мотя будет ей как родная дочь, и, главное, чтобы в нашей семье строго следили за ее нравственностью. Моя мать обещала ей это. Все уже было готово к отъезду, когда в дело вмешался я, и задержал его больше чем на месяц: я захворал коклюшем. На прощание с Геническом, я должен был, впервые в моей жизни, участвовать в детском спектакле, и играть роль мальчика моего возраста, которому захотелось, вот чудак! поступить в школу, и он, не долго думая, заявил об этом своей бабушке. Удивленная старушка (было чему!) начала его отговаривать: "Где тебе! Садись-ка, лучше расскажу тебе я сказку". Но внучек упрямится и заявляет, что сказок он наслушался уже довольно. Теперь ему хочется знать: "Что вправду было". Неизвестный автор, такой трогательной и поучительной пьесы, несомненно забыл свое собственное детство. Дальше этот странный мальчик рассказывает:

"Шел вчера я мимо школы —
Сколько там детей, родная!
Как рассказывал учитель!
Долго слушал у окна я."

"Слушал я: какие земли
Есть за дальними морями;
Города, леса какие:
С злыми, страшными зверями."

"И еще: как люди жили
Встарину, и чем питались;
Как они не знали Бога,
И болванам поклонялись."

и т. д.

Добрая бабушка, растроганная тем, что у нее такой умный внук, отпустила его учиться в школу. Увы: коклюш помешал мне участвовать в спектакле. Моя роль мне очень нравилась, и отрывки из нее я помню до сих пор. Наконец я выздоровел, и день отъезда был назначен. Незадолго до него мой отец отправился к коменданту Шульцу, просить пропуск до русской границы. Немецкий полковник выдал его ему немедленно, но одновременно обратился к отцу, с просьбой сопровождать до Александровска продовольственный эшелон, один из тех, который увозил в Германию, проголодавшимся немцам, все богатства из союзной Украины. Полковник Шульц, опасаясь вероятно могущего произойти дорогой частичного расхищения похищенного, просил моего отца, которого он уже хорошо узнал, за время своего пребывания в Геническе, как человека исключительно честного, быть его доверенным лицом, и передать, под расписку, все награбленное, другому доверенному лицу, который будет в Александровске ожидать эшелон. За эту услугу он обещал предоставить нашей семье, отдельный вагон, и еще какое-то вознаграждение в немецких марках. Я до сих пор не понимаю: неужели среди его офицеров не нашлось достаточно серьезного и честного человека, которому он мог бы поручить эту миссию? Как бы то ни было, но мой отец отказался наотрез: "Простите меня, господин полковник, но я, как вам известно, русский подданный и служащий французской фирмы; с обеими странами Германия находится в состоянии войны. Мне очень жаль, но я принужден отклонить ваше предложение". Полковник Шульц внимательно посмотрел на моего отца, и поднявшись с места подал ему руку: "Сожалею, господин Вейцман, но я вас понимаю, и на вашем месте поступил бы также. Желаю вам, и вашей семье, счастливого пути". Выйдя из немецкой комендатуры отец пошел в украинскую,

и там получил второй пропуск, от имени гетманских властей. Теперь последние затруднения были устранены, и мы могли отправиться в дорогу.

Наступил день отъезда. Несмотря на все удовольствия предстоящей поездки, я был грустен, и слонялся как потерянный, по нашим просторным комнатам, ставшими неузнаваемыми. В детской еще стояла моя кроватка, и висел над ней на стене, вышитый мамой коврик, изображавший мальчика катившегося на салазках с обледенелой горки, рядом с горкой стояла снежная баба с шляпой на голове и трубкой в зубах, а за салазками бежала, во весь дух, Жучка, с высунутым красным языком. Все мое детство я любовался этим ковром. А на другой стене висел другой коврик, вышитый той же рукой, с изображенными на ней летящими чайками. Мы оставляли почти все наше имущество, и брали с собой очень немногое. Оставались: серебрянные вазы, фарфоровые сервизы, все мамины статуэтки, и полный, огромный ящик моих игрушек. Я взял с собой только моего плюшевого мишку, и две любимые книжки: сказки графини Сегюр и "Коралловый Остров", повесть Р. Балланщтаина. Какая-то незнакомая мне женщина, средних лет, будущая жилица нашего дома, спорила о чем-то с моими родителями. Скучно и неуютно! Поезд в Новоалексеевку отходил только в половине одиннадцатого ночи, и мы были приглашены, провести этот последний вечер в Геническе, в семье наших друзей: Шинянских. Бывало, я очень любил ходить к ним, с мамой, в гости, и часто ее просил об этом. У Шинянских были две дочери: Лера (Валерия) и Мила (Людмила). Первая из них была старше меня и считалась капризной и скверной девчонкой. Когда я вел себя плохо, то моя мать мне говорила: "Лера Шинянская тебе кланялась". Я серьезно обижался. Вторая дочь была моложе меня — добренькая и спокойная девочка. Мы с Милой были очень дружны. Много лет спустя, уже будучи подростком, я еще раз встретился с ними. Валерия оказалась умной и серьезной девушкой, одной из первых учениц в своем классе, а Людмилу я нашел еще совсем ребенком.

В восемь часов вечера мы навсегда покинули нашу квартиру, и отправились со всеми чемоданами к Шинянским. Нас усадили за стол и угостили прекрасным прощальным ужином, а после него чаем с тортами и вареньем. Люди они были богатые, и от прежней жизни у них остались дорогие сервизы и вышитые, цветные скатерти, с дюжинами таких же салфеток. Все это было по-

дано на стол, и вечер прошел очень приятно. К десяти часам ночи, распрощавшись с друзьями, мы отправились на вокзал. Непривыкший так поздно не спать, я, буквально, валился со сна. Наконец, мы влезли в вагон, и ровно в половине одиннадцатого поезд тронулся. Я дремал у мамы на коленях. В Новоалексеевке пришлось ждать поезда: Севастополь—Харьков, который прибывал в час ночи. Начальник станции, знавший хорошо моего отца, предложил уложить меня спать, в ожидании прихода курьерского, на его собственную кровать. Родители, видя мою усталость, согласились, и я тотчас заснул, несмотря на атаку жирных клопов, зверей мне еще совершенно незнакомых. Не помню как меня, спящего, внесли в вагон, но я проснулся только утром, уже за Мелитополем. Мама достала термос с горячим чаем (до сих пор люблю термос: он мне напоминает о путешествиях), и несколько бутербродов. Я уселся поудобней, и полез рукой в карман за носовым платком, но вместо него, к величайшему ужасу моих родителей, вытащил цветную салфетку Шинянских. Вероятно, сонным, я положил ее в карман. Долго спустя моя мать укоряла меня за нее, и смеялась надо мной, а мне было очень стыдно.

К двум часам дня мы прибыли на станцию Синельниково. Там нам пришлось нанять извозчика до следующей станции. Почему? — не знаю. Может быть, там, в то время, проходила граница Украины? Снова ночь в поезде, и наутро нас ждала новая пересадка в Харцызске. Наконец, к полудню, мы приехали в Таганрог.

Над вокзалом развевался бело-сине-красный флаг Российской Империи. Мы были у белых, на территории "Единой-Неделимой".

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Под белыми.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Белые (добровольцы).

Когда мы приехали в Таганрог, в нем помещалась ставка верховного главнокомандующего всем "белым" движением юга России: генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина.

Что такое было белое движение? Почему — белое? Я не историк, и не претендую на точность и безупречность моих сведений;

но меня всегда очень интересовала гражданская война в России, последовавшая за Великой революцией. Будучи современником добровольцев: мне было шесть с половиной лет, когда я приехал в Таганрог, и восемь, когда белые покинули город; я их хорошо помню. Позднее я много читал об этой войне: советских и эмигрантских авторов, и довольно близко бывал знаком с некоторыми, так называемыми, "белоэмигрантами". Хочу теперь сказать вкратце все то, что я о них знаю, и как они мне представляются.

Белый цвет — символ моральной чистоты их намерений, был выбран ими, главным образом, как цвет "непредрешенчества". "Мы, мол: ни красные, ни черные, ни зеленые: мы не предрешаем будущего строя. Наша цель: освободить Россию от захватчиков — большевиков, и снова созвать Учередительное Собрание. Пусть свободно выбранные, от всего народа, депутаты, решат дальнейшую судьбу России, и будущий цвет ее знамени. Пока мы всеми силами стремимся сохранить единство нашей Родины: единой и неделимой; и верные данному слову нашим союзникам, не признаем "похабного", брестлитовского мира, и будем продолжать воевать: до победного конца, и до водружения Православного Креста над храмом Святой Софии в Константинополе". Таков был их идеал, по крайней мере, официальный. В действительности они, несомненно, желали восстановления монархии.

Кто же были белые? и почему они назывались еще добровольцами? Они так назывались, потому что первые белые, военные и штатские, добровольно ушли на Дон, в армию генерала Корнилова, одержимые желанием: низвергнуть большевиков. Кем же, все-таки, были эти люди? Это были, почти исключительно, сыновья дворян и помещиков, а так же офицерство, в особенности кадровое. Много ли было среди добровольцев первых дней, молодых людей, не принадлежащих к привилегированному сословию, хотябы представителей крупной буржуазии? Нет, я лично твердо убежден, что таких почти не имелось. Если вы сегодня зададите вопрос: кто с кем боролся? вам, неизменно, ответят: крупная буржуазия и помещики с эксплуатируемыми ими рабочими и крестьянами. Такое утверждение — неверно. Боролась привилегированная каста дворян со всеми остальными. Конечно, позже, во время развития гражданской войны, к белым примкнули, волей или неволей, многие другие, но основное ядро этого движения было исключительно дворянским.

Охотно допуская, что сын помещика-дворянина мог пойти

воевать за свое поместие, я совершенно не верю, чтобы дворянин, или мещанин, был-бы способен бежать на Дон, и подставлять свою грудь под пули, проявляя порой несомненную доблесть, только для защиты своего текущего счета в банке. Всем, в самом начале белого движения, примкнувшим к нему, было жаль терять свое моральное превосходство, тот самый: "холод гордости спокойной", о которой писал Пушкин. Вся русская классическая литература девятнадцатого века, полна примерами такого отношения к непривилегированному сословию. Большинство писателей в то время были дворянами, и когда в своих произведениях, они рассказывали о каком-нибудь, обыкновенно второстепенном герое — не дворянине, то всегда с подчеркнутым пренебрежением: мещанин, мещанка, или еще: "миловидная мещаночка". Описывая евреев, даже такой гигант русской литературы,каким был Тургенев, обыкновенно употреблял слово: жид. Вот эту самую возможность чувствовать себя от рождения, и помимо личных заслуг, выше "простого смертного", и смотреть на него сверху вниз, революция сразу отняла, и в этом ее громадная заслуга. Но было еще и другое, разбитое вдребезги "Великой", то, что для многих дворян было, быть может, самым главным, самым близким сердцу: романтика их быта: звон шпор "на зеркале паркета зал"; тургеневские девушки; "рояль был весь открыт и струны в нем дрожали"; полумрак богато обставленной гостиной, сидящие в глубоких креслах гости, и молодая дворянская девушка декламирующая им стихи. Удалые покойники и цыганки: "Гайда тройка! снег пушистый..." — "Очи черные, очи страстные..." и т. д. Во всем этом Великая русская революция, как две капли воды, похожа на свою старшую сестру: Великую французскую. Я отлично знаю, что мне ответят на это марксисты всех толков: русская революция была пролетарской, а французская — буржуазной. Действительно, в смысле социальных реформ существует между ними разница: французская революция низвергла аристократический режим в пользу частного капитализма, а русская революция сделала то же, но только в пользу государственного.

Среди Корниловцев, и позже среди первых Деникинцев, не было сыновей "толстобрюхих эксплуататоров — буржуев". Нет, их там не было! Привыкшие к ушедшему навсегда быту, но все еще старавшиеся его продлить, даже в условиях фронта, белые предавались пьянству и разгулу. Вначале пили радуясь первым победам, а в конце — с горя поражения. Пили, развратничали

и били евреев, которых, по своему невежеству, считали главными виновниками революции. Кроме того, по давней привычке, оставшейся у них со времен крепостничества, они обижали крестьян.

Несколько слов об истории начала Белого Движения:

Когда, после большевистского переворота, генерал Корнилов ушел на Дон, вокруг него собрались все желавшие бороться с новым режимом. Была зима 1918 года. Стояли сильные холода. В страшный мороз, в степях Северного Кавказа, произошли первые кровопролитные бои с большевиками. Этот первый акт начинающейся гражданской войны, был назван: Ледяным Походом. Во время него погибла большая часть его участников, и в конце был убит сам генерал Корнилов. Над кучкой оставшихся добровольцев принял командование генерал Деникин. Эти первые добровольцы, пережившие Ледяной Поход, приняли имя Корниловцев, и образовали центральное ядро, как бы аристократию, всего будущего Белого Движения. Они носили на своих мундирах специальный отличительный значок: меч и терновый венец.

Так, под вой зимних метелей, на обледеневшей степи, между Кубанью и Доном, родилась русская Вандея. После Ледяного Похода и смерти Корнилова, белые должны были быть обречены на немедленный и полный разгром. Их спас Брестлитовский мир и последовавшее отделение, от бывшей России, Украины. Новое государство, отобрав себе весь юг и югозапад рухнувшей Империи, врезалось в нее клином, и почти полностью отрезало от Москвы: Дон, Кубань и Кавказ. Это обстоятельство дало возможность образовать Белую Армию, которая заняла юговосток России, и дошло до южных границ Украины. Временной столицей, всей занятой белыми территории, стал мой родной город: Таганрог. В Таганроге поместилась ставка Деникина, а при ней находились военные миссии союзных держав: Англии, Франции и других.

Так как Советская Власть не успела в первые дни после большевистского переворота утвердиться на всех далеких окраинах России, то в Омске: одном из главных городов Западной Сибири, образовалось Временное Демократическое Правительство, не признающее над собой другой власти кроме Учредительного Собрания. Военным министром, в этом правительстве, был назначен адмирал флота: Александр Васильевич Колчак. В октябре 1918 года, пользуясь своим положением военного министра, адмирал совершил переворот, и объявил себя диктатором и верховным вождем Белого Движения. Генерал Деникин и союзные державы

формально признали его таковым. Колчак разработал план похода на Москву, и контролируя почти всю Сибирь, двинулся на запад, на соединение с Деникиным. Такова история начала гражданской войны.

Кем были вожди Белой Армии? Есть такая русская поговорка: "Каков поп таков и приход". Опираясь на эту народную мудрость, дабы лучше познать Белое Движение, познакомимся с ними поближе:

Генерал Антон Иванович Деникин (1872–1947), принял на себя, после смерти Корнилова, верховное командование всей Белой Армией европейской России. Он был высокоинтеллигентным человеком, тонким и не злым, но несомненным монархистом. Главный недостаток Деникина — была его полная неспособность поддержать дисциплину среди своего офицерства, а оно в ней очень нуждалось. Быть может это происходило от мягкости его характера. Так или иначе, но подобное положение дел сильно способствовало развалу армии, и его конечному поражению.

Генерал Май-Маевский, командовавший северным фронтом деникинской армии, ведшей наступление на Москву. Я о нем почти ничего не знаю кроме того, что он был весьма посредственным генералом.

Генерал, Барон, Петр Николаевич Врангель (1878–1928), швед по происхождению, близкий сподвижник Деникина, и слишком поздно заменивший его на посту верховного главнокомандующего Белой Армией (в 1920 году). Пытался суровыми мерами восстановить дисциплину.

Генерал, атаман, Петр Николаевич Краснов (1869–1947). Крайний реакционер и антисемит. Автор ряда романов, которые он написал уже будучи в эмиграции. Наиболее известный из них: "От Двуглавого Орла до Красного Знамени". Во время Второй мировой войны, уже будучи глубоким стариком, он изменил своему Отечеству и примкнул к Гитлеру. В конце войны попал в плен к союзникам, был выдан Советским Властям и по приговору Верховного Суда СССР — повешен.

Адмирал, Александр Васильевич Колчак (1874–1920). До 1914 года занимался исследованиями полярных областей. В 1914 году он принял командование: сперва балтийским флотом, а позже черноморским. Об этом человеке стоит поговорить. Во время своего командования черноморским флотом, он, однажды, приказал подчиненному ему контр-адмиралу (имя его не

помню), провести куда-то три военных судна, через вражеские минные поля, и под угрозой береговых батарей. Контр-адмирал повиновался, но при попытке выполнить задание понял, что всем трем судам грозила верная гибель. Он повернул их назад, и явился перед своим начальником. "Ваше Высокопревосходительство, я не смог выполнить данного мне вами военного задания, так как такая попытка привела бы к верной гибели всех трех судов, находившихся под моим командованием". — "Когда господин контр-адмирал, ваш начальник вам дает приказание, ваш долг повиноваться, а не рассуждать", — возразил Колчак. "Но, Ваше Высокопревосходительство, это обозначало бы идти на верную гибель". Колчак ударил кулаком по столу: "Откуда вы, милостивый государь, можете знать о моих намерениях: может быть, я считал необходимым потопить в том месте военные суда? Подавайте в отставку!"

Во время революции, находясь на борту восставшего броненосца, он был окружен мятежными матросами, с угрозами требовавшими отдачи им его дорогой шпаги — царского подарка. В то время случалось нередко, что революционные матросы хватали своих офицеров и бросали их живыми в корабельную топку. В ответ на требование бунтовщиков, адмирал Колчак вынул из ножен свою шпагу, и подняв высоко над собой, сказал: "Не вы ее мне дали, не вы ее у меня возьмете", — и бросил ее за борт в море. В период гражданской войны, он пользовался несомненной любовью, переходящей порой в обожание, в среде своих сторонников, и одновременно, вызывал острую ненависть у врагов, поражая и тех и других своей личной смелостью и крайней жестокостью. В Сибири для подавления крестьянских восстаний он приказывал брать виновных, раздевать их догола, ставить на сорокаградусный мороз и обливать их водой. Таким образом несчастные превращались в ледяные статуи, и оставались стоять до весны на краю дороги. В его рядах сражалось много бывших военнопленных чехов. В конце гражданской войны, разбитый Красной Армией, он бежал в Иркутск, и там был схвачен и выдан большевикам, изменившими ему чехами. По приговору сибирского ЧК, он был расстрелян.

Надо добавить, что поражению белых очень способствовало соперничество двух вождей: Деникина и Колчака. Каждый из них хотел войти в Москву, и в московском Кремле утвердить свою власть над страной. В следствии этого, вместо того чтобы

сотрудничать, они, где могли, ставили друг другу препятствия.

Генерал — бандит Шкуро. Чтобы закончить эту портретную галерею, скажу несколько слов о генерале — бандите Шкуро. Шкуро — человек без специального военного образования, и быть может, вообще без всякого, был вождем белых партизан. Он отличался редкой личной отвагой: прорывал фронт врага, заходил ему в глубокий тыл, и т. д.; но везде где он проходил, со своими веселыми ребятами, лилась кровь. Его имя стало, наряду с другими именами, как например: Махно и Петлюра, символом убийств, насилий, грабежей и пожаров. От времени до времени он сам себя производил в чине, и добавлял себе нашивки и звездочки. Шкуро белым был очень полезен, и они его терпели, но Деникин говорил, близко к нему стоящим людям: "Когда война окончится, я предам Шкуро военному суду и расстреляю его".

Таково было Белое Движение.

ГЛАВА ВТОРАЯ: У моего дедушки: Давида Моисеевича.

Итак мы приехали в Таганрог, и поселились у моего дедушки: Давида Моисеевича. Он проживал на Чеховской улице, в доме, принадлежавшем той самой Ивановне, которая некогда была любовницей Николая Петровича Семенова, умершего от холеры, и оставившего ей несколько домов. Сама Ивановна жила в маленьком, чистеньком флигеле, в глубине двора. На этот двор выходило несколько домов, и один из них — двухэтажный, образовывал угол Чеховской улицы и Коммерческого переулка. Рядом с квартирой моего дедушки жил священник: отец Алексей. Он был хозяином своей квартиры, и ему же принадлежал двухэтажный дом. Он был вдов, но совершенно открыто сожительствовал с сестрой своей покойной жены. Многие, обращаясь к ней, говорили ей: "Матушка". Отец Алексей был очень симпатичным человеком и старым приятелем моего дедушки. Во дворе, в одноэтажном доме, выходившем на Коммерческий переулок, жила довольно большая еврейская семья: Рабиновы, состоящая из двух братьев с их женами. У старшего брата была дочь: Дина, моя сверстница. Младший брат был бездетен. На втором этаже дома, принадлежавшего отцу Алексею, жила семья местных греков: Попандопуло: муж, жена, мать жены и две дочери семи и восьми лет: Тася и Артуся. Нижний этаж снимала русская семья Калмыковых: отец,

мать и дочь моего возраста: Валя. Мне повезло, и я оказался, в нашем дворе, на положении султана в своем гареме: единственным представителем "сильного" пола. Как жаль, что "султану" тогда было около семи лет!

Квартира дедушки состояла из трех комнат, одну из которых мы заняли, кухни и при ней комнатки "для прислуги". В ней поместилась Мотя. Были еще там разные чуланчики.

Как только мы приехали в Таганрог, мои родители решили серьезно заняться моим образованием, так как из генического "барчука", по вине событий, грозил вырасти фонвизинский "Недоросль", что явно было бы "не созвучно эпохе".

У тети Ани, жены дяди Миши, были две сестры: Татьяна Моисеевна, мать Коли и Сережи, и Эсфирь Моисеевна, уже немолодая девушка, получившая в свое время солидное образование. Ей-то и было поручено, за небольшую плату, преподать мне первые начатки знаний. Читать я уже умел, но больше любил слушать чтение других. В этом возрасте я впервые прочел самостоятельно одну детскую книжку: "Сказки братьев Гримм". Помню как злая ведьма сидела на дереве; она ничего не боялась, так как была заговорена против свинца; но смелый воин, знавший про заговор, оторвал от своего мундира серебряную пуговицу, и зарядив ею ружье, выстрелил в нее: "Ведьма, с страшным криком, упала с дерева". Эта книжка мне очень понравилась, и я, понемногу, начал сам читать. Отец научил меня считать до ста, но моим родителям подобные знания, для будущего врача или инженера, которым, непременно, должен стать их сын, казались недостаточными, Эсфирь Моисеевна взялась, в спешном порядке, заполнить этот пробел. Не помню почему, но наши занятия продолжались недолго, и я сильно подозреваю, что не молниеносность моих успехов была тому причиной. Что касается дедушки, то он, со своей стороны, старался внушить мне некоторые понятия о Боге и нашей религии, а главное о моей принадлежности к еврейскому народу, о которой, до приезда моего в Таганрог, я не имел никакого представления, и считал себя русским.

3 декабря 1918 года, мне исполнилось семь лет. В это самое время, в одном из городов недавно ими взятых, белые устроили ужасный погром. Все еврейское население "Единой-Неделимой", начало собирать деньги, для помощи пострадавшим. Мой дедушка, как мог, объяснил мне суть дела, и сказал, что приготовил мне дорогой подарок, но если я это желаю, то могу отказаться от

него в пользу жертв погрома. Еще теперь, с гордостью, вспоминаю, что я сразу отказался. В день моего рождения, дедушка, конечно, не оставил меня без подарка, и преподнес мне прекрасную книгу: "Дедушкины сказки", Макса Нордау. Однажды, в беседе со мной, мой дед мне сказал, что Бог велел один день в неделю: евреям — суббота, а христианам — воскресенье, посвятить полному отдыху и молитве. "Для чего это нужно, дедушка?" — спросил я его. "Для того, чтобы человек был отличен от скотины". Этот его ответ мне запомнился на всю жизнь. Он мне рассказал несколько еврейских легенд, но я их, к сожалению, забыл. У меня образовалась странная привычка: ходить задрав голову кверху. Девочки из нашего двора, и некоторые мальчуганы с улицы, подметили это, и начали меня дразнить: "звездочетом". "Звездочет, сколько звезд на небе?" Я пожаловался дедушке, который на это дал мне совет: "Как только, внучек, тебе кто-нибудь задаст вопрос: "сколько звезд на небе?", ты его спроси, в свою очередь: "а сколько грязи на земле?" Я испробовал этот способ — он помог, и насмешки быстро прекратились.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Операция отца и "испанка".

В феврале 1919 года, на стенах домов появился приказ властей о пересмотре "белых" билетов. Свидетельство об освобождении от воинской повинности, выданное царскими властями, объяснялось недействительным, и подлежало обмену на новое.

Мой отец, со своим паспортом в кармане, и "белым" билетом, спокойно отправился в военное присутствие, где заседала проверочная комиссия. В комнате, в которую ему велели войти, за большим столом сидели трое в военной форме: врач и два офицера. Мой отец протянул им свой паспорт и "белый" билет. "Моисей Давидович Вейцман", — проговорил значительно один из офицеров. "Страдает грыжей, — неодобрительно добавил врач, — дело известное; раздевайтесь". Отец повиновался. Военный врач начал осмотр, продолжая покачивать головой, с явным видом неудовольствия. "Никакой у вас грыжи, милостивый государь нет", — заявил эскулап в белогвардейских погонах. "Ваше Благородие, у меня она есть". — "Нет у вас грыжи!" — "Ваше Благородие, я ею страдаю с детства". — "Ладно: зажмите нос и надуйтесь как можно сильней, еще, еще. Да, вы правы, у вас — малень-

кая грыжа. Погодите,через пять минут вам выдадут новый "белый" билет". Билет был выдан, но мой отец еле дошел до дому: по вине "его благородия", у него ущемилась грыжа. Вызвали доктора Шамковича. Он приходился нам дальним родственником. Желая избежать операции, Шамкович, до самого вечера, пытался вправить грыжу. Наконец, страдания отца сделались непереносимыми, и решили позвать хирурга, единственного находившегося в то время в городе, доктора Гринивецкого. После беглого осмотра моего отца Гринивецкий с криком набросился на Шамковича: "Вы что же это, доктор, хотели убить вашего пациента? Там где необходимо спешное хирургическое вмешательство вы пытаетесь применять вашу терапевтику! Немедленно везти больного в мою клинику, и через полчаса я буду его оперировать: ему грозит перитонит". Отец потом рассказывал, что был рад прекратить свои страдания, и очутившись на операционном столе, наконец уснуть.

Операция длилась свыше двух часов, но к счастью удалась. Когда моя мать была допущена к постели отца, тот еще спал, и около него находился доктор Гринивецкий и сиделка. "Ничего, пусть себе поспит, — сказал, уходя врач, — я через час вернусь; теперь у него самые сильные боли, а он их не чувствует". Действительно, через час Гринивецкий вернулся и осведомившись об имени и отчестве моего отца, стал громко звать его: "Моисей Давидович! Моисей Давидович!" Отец пошевелился и открыл глаза. "Теперь все в порядке", — заключил хирург, и сказав несколько слов сиделке, вышел. После своего пробуждения отец сильно страдал, и только на вторые сутки ему полегчало. Моя мать не отходила от него, и спала в той же комнате, на специально для нее там поставленной койке. Комнату, конечно, за хорошую плату, отцу отвели отдельную. Внезапно, на третьи сутки, у него сделался сильный жар. Когда, во время обычного утреннего обхода, пришел Гринивецкий, моя мать, очень испуганная, обратилась к нему с вопросом, желая узнать возможную причину этого явления. "Резкое поднятие температуры, на третьи сутки после операции, может обозначать многое; я вас, сударыня, очень обнадеживать не хочу — общее заражение крови далеко не исключается". С этими словами, доктор Гринивецкий прошел в соседнюю комнату. Можно было представить переживания моей матери. В полдень пришел наведать отца доктор Шамкович. Ему, как нашему дальнему родственнику и домашнему врачу, Гринивецкий позволил приходить. Мама, плача, обратилась к нему: "Исаак

Яковлевич, у Моси высокая температура, утром Гринивецкий мне сказал, что не исключается общее заражение крови". Шамкович внимательно осмотрел отца и пожал плечами: "А гойше герц! что ему стоит сказать вам глупость, и вас так напугать?! После двух часов вдыхания скверного хлороформа, хорошего теперь найти невозможно, он, буквально, им отравлен. Теперь у него разлитие желчи, которое и дает эту температуру. Посмотрите: он весь пожелтел. Давайте ему пить немного боржома — пройдет". Дней через десять, отец выписался из больницы и вернулся домой сильно исхудавшим, и слабым как ребенок.

Не прошло и недели после его выздоровления, как мы с мамой, почти одновременно, заболели "испанкой". Эта злокачественная форма гриппа унесла больше жизней нежели Первая мировая война. В те времена единственным лекарством против гриппа был аспирин. Так как мне было очень худо, Шамкович мне дал лошадиную дозу этого средства и чуть не остановил сердце. В конце концов, мы с мамой выздоровели. Бедный папа, еще такой слабый после перенесенной операции, он самоотверженно ухаживал за нами, с риском самому заразиться испанским гриппом. Врач очень боялся за него: при его состоянии здоровья он вряд ли бы выжил. Бог нас спас, и все окончилось благополучно, но сколько было пережито за этот памятный месяц — февраль!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: "Боевое крещение".

Я завел дружбу с Тасей и Артусей, и часто, часами, играл с ними в нашем дворе. Их бабка, смотря на нас, всегда неодобрительно ворчала. Причины ее неудовольствия я еще не понимал, да и мои подружки — гречанки не обращали на ее ворчание большого внимания. Однажды, как это часто бывает во время детских игр, мы сильно повздорили из-за какого-то пустяка. Поднялся невообразимый крик и визг. Вероятно, минут через десять все было бы забыто, и мы возобновили бы наши игры, но тут, откуда ни возьмись, прибежала старая ведьма, надавала шлепков своим внучкам и прогнала их домой, а потом, с криками и угрозами, набросилась на меня:

"Паршивый жиденок, ты смеешь обижать моих внучек! Я тебе, жиду пархатому, все уши отдеру! Не желаю, чтобы мои внучки водили дружбу с жидятами! Били вас, евреев, мало!" и т. д. в те-

чении добрых десяти минут. Я стоял перед ней и ревел. Ничего подобного, до того дня, мне слышать не приходилось. Я даже не представлял себе, что это возможно. Накричавшись вдоволь, она ушла к себе, продолжая на ходу, ругать меня и весь еврейский народ; а я, с плачем, прибежал домой, и рассказал там о случившемся. Дедушки дома не оказалось, но мои родители сидели в нашей комнате. Услыхав о происшедшем, папа побледнел от негодования, и не говоря ни слова, отправился к Отцу Алексею. Выслушав его, священник страшно рассердился:

"Я ее сейчас же позову сюда — эту старую дуру".

Сказано — сделано; через несколько минут она явилась, и увидав моего отца, сразу поняла в чем дело. Отец Алексей кричал на нее довольно долго, и в заключении заявил:

"Если вы еще раз посмеете, хотя бы одним словом, обидеть внука моего старого приятеля, то я вышвырну вас, и всю вашу семью из моей квартиры. Я у себя юдофобов не потерплю".

Позже, отец девочек пришел к священнику, попросил его не сердиться, обещал самому принять нужные меры, при этом присовокупив, что его теща — злая баба, и выжила немного из ума.

Вечером, когда пришел домой мой дедушка и узнал о случившемся, он позвал меня к себе, и спокойно улыбаясь, сказал:

"Поздравляю тебя, внучек, с боевым крещением; теперь ты понял, что ты еврей!"

Через пару дней игры с Тасей и Артусей у меня возобновились. Старуха издали глядела на нас злыми глазами, но не смела выражать громко свое неудовольствие.

ГЛАВА ПЯТАЯ: Как мой отец оборонялся кирпичами.

Надо было искать средств к существованию. К счастью, моему отцу, вскоре после его выздоровления, удалось найти хорошую службу, в качестве старшего бухгалтера на, недавно открывшемся в Таганроге, кирпичном заводе. Его хозяевам удалось получить официальное свидетельство о том, что завод работает на оборону. Все причастные к обороне носили на рукаве белую повязку и освобождались от мобилизации. Очень многие поступили на этот завод с единственной целью не быть отправленным на фронт. Жалование служащим платили довольно приличное, и мы воспряли духом. Гуляя с отцом по улице, я очень гордился его белой повязкой, и чувствовал себя чуть ли не сыном генерала.

Однажды, когда мой отец, после утреннего завтрака, собрался идти на завод, почтальон принес ему повестку: немедленно явиться в мобилизационную комиссию. Вновь, захватив с собой все нужные документы, с тяжелым сердцем, он отправился туда, где совсем недавно он уже был, и откуда вышел таким больным. И на этот раз, за тем же столом сидели трое военных, но никакого врача между ними не было. Председательствовал комиссией седеющий господин в полковничьих эполетах. Когда мой отец вошел, полковник внимательно взглянул на него, на его белую повязку на руке, и взяв паспорт, спросил:

— Вейцман, Моисей Давидович?

— Так точно, Ваше Высокое Благородие, — по-военному отрапортовал мой отец.

Полковник улыбнулся:

— Я вижу у вас на рукаве белую повязку — вы работаете на оборону? Где?

— На кирпичном заводе, Ваше Высокое Благородие.

Полковник удивленно поднял брови:

— Вы говорите: на кирпичном заводе; но для чего обороне кирпичи?

— Не могу знать, Ваше Высокое Благородие, но наш завод считается необходимым для обороны.

— От военной службы, — вставил другой офицер.

— Господин Вейцман, — серьезно сказал полковник, — кирпичи для обороны не нужны.

— Но у меня, Ваше Благородие, имеется белый билет.

— Он при вас?

— Так точно!

— Покажите.

Отец достал, стоивший ему столько страданий, новенький "белый" билет.

— Это другое дело, — взглянув на него, сказал полковник, — вы, лично, никакой мобилизации не подлежите; но, прошу вас, объясните вашим сослуживцам по заводу, что от большевиков кирпичами не оборонишься.

Сидевшие за столом два офицера, засмеялись. Мой отец взял все свои документы, и пошел прямо домой, счастливый, что на сей раз все обошлось благополучно. В тот день он, на радостях, на службу не явился.

ГЛАВА ШЕСТАЯ: Дом, двор и улица.

Весной 1919 года, мои родители нашли для меня хорошую учительницу, девушку лет двадцати семи, преподававшую до революции географию в местной гимназии. Эта девушка вскоре сделалась другом нашего семейства. Звали ее: Александра Николаевна Маслова. Она жила недалеко от нас, и ежедневно приходила к нам, учить меня, в течение двух часов, русскому языку, арифметике, географии и истории. Ко дню рождения мамы, 14 мая 1919 года, ей тогда исполнилось ровно сорок лет, Александра Николаевна помогла мне смастерить в подарок довольно изящную коробочку, из картона и цветной бумаги, для рукоделия. Внутри ее имелось множество отделений: для иголок, ниток, наперстка, ножниц и т. д. На голубой крышке была наклеена из золотой бумаги буква М, долженствовавшая обозначать слово : Мама. Моя мать была очень тронута этим подарком, и пользовалась коробочкой в течении многих лет.

Александра Николаевна происходила из военной, дворянской семьи. Она была сирота: ее мать умерла уже много лет назад, а отец, кадровый царский офицер, был убит на немецком фронте. У нее было два брата, тоже кадровые офицеры, сражавшиеся против большевиков, в рядах армии Колчака. Последнее время она от них не имела никаких вестей. По своему воспитанию, Александра Николаевна была глубоко верующая православная и убежденная монархистка, но, отнюдь не антисемитка. Она сохраняла у себя разные домашние реликвии: некоторые отцовские ордена, золотую брошь, с двуглавым императорским орлом на ней, всю обсыпанную маленькими алмазами, а так же довольно большой портрет императорской семьи. Все эти ценности она ревниво хранила у себя, но однажды, в знак доверия и дружбы, принесла показать их моим родителям. Александра Николаевна выбрала географический факультет не случайно: ее предком, с материнской стороны, был знаменитый датский мореплаватель, конца восемнадцатого века, капитан Беринг, открывший пролив, носящий его имя. Она этим очень гордилась.

Теперь я много времени проводил дома, так как к двум часам ежедневных занятий с Александрой Николаевной, прибавлялись часы, во время которых я готовил ей уроки, или читал книжки, для собственного удовольствия. Но мне, после нашего генического дома, было тесно в квартире моего дедушки, и если погода быва-

ла плохая, и я не учился и не читал, то слонялся бесцельно по трем комнатам, что не очень нравилось моей бабушке: она боялась чтобы я чего-нибудь не разбил, и однажды, имела неосторожность высказать это опасение Моте. Мотя серьезно обиделась за меня, и пошла жаловаться моей маме: "Барыня, да что же это такое! Софья Филипповна боится, чтобы Филюша у нее не разбил чего! У него, небось, в "нашем" доме, в Геническе, одних своих игрушек было больше чем у нее всех ее вещей. Он не к тому привык!" Мама рассмеялась, и как могла успокоила Мотю; но та, еще долго потом сохраняла к моей ничего не подозревавшей бабушке, чувство затаенной обиды.

Дедушка в свободное время любил беседовать со мной, и рассказывать мне о нашем народе. Однажды, из Кисловодска пришло письмо от дяди Володи. Он там жил, со своей больной женой, тетей Леной, и их дочерью, Женей. Женя была тремя годами старше меня. К письму дяди Володи она приложила свое — написанное по-древнееврейски. Дедушка был очень тронут и горд такой внучкой.

Весна стояла теплая, погода — хорошая, и значительную часть моего свободного времени я проводил в моем "гареме", т. е. в нашем дворе, играя с девочками в классы, жмурки, пятнашки и т. д. Однажды, во время игры в "пятнашки", Валя нечаянно, а может быть, и с намерением, подставила мне ножку; я упал и ударился лбом о камень; хлынула кровь. Вообразите мой испуг! но он был ничем в сравнении с испугом Вали, она чувствовала себя виновной, и умоляла меня не говорить о причине моего падения. Сквозь слезы я ей это обещал, и сдержал свое слово. Дома, плача, я поведал о том, как бегая зацепился за камень и упал. Мне промыли рану и залили ее йодом. Было очень больно, но слово свое я сдержал, и еще теперь, рассказывая этот эпизод из моего детства, люблю похвастаться моим, таким рыцарским, поступком. От падения у меня на лбу остался маленький шрам. Только спустя год я рассказал родителям о том как было дело, и они похвалили меня за мое молчание.

Вечером, когда спускались сумерки, я любил, в легком распахнутом пальто, бегать по двору, изображая из себя, как мне казалось, летучую мышь. После ужина, в хорошую погоду, большинство жителей нашего двора, собирались около дома, в котором жила семья Рабиновых, послушать как отец Дины играл на скрипке. Играл он, видимо, хорошо. Помню теплую майскую

ночь; звезды высыпали на безоблачном небе. В темноте, человек пятнадцать, в том числе и я, сидят на чем попало, а перед ними стоит Рабинов и играет. Я упивался поэзией тихой, весенней ночи и, ничего в ней не смысля, заслушивался игрой скрипача.

Однажды, это было не ночью а днем, младший брат музыканта, плюгавый человечек, с очками на носу, увидав, что Мотя спустилась зачем-то в погреб, возымел желание "поухаживать" за молодой девушкой. В несколько секунд очки и нос его были разбиты. Получился довольно крупный скандал, тем паче, что дон жуан из нашего двора, был женат. Мотя, рассказывая маме о происшедшем, возмущалась и смеялась одновременно.

Иногда, вместо двора, я выходил играть на улицу. На ней у меня оказались враги. Два или три русских мальчика из соседних дворов начали меня систематически дразнить и, однажды, довольно сильно побили. Я пришел с плачем домой. В это время у нас сидел дядя Миша.

— Ты что плачешь?

— Меня соседские мальчики побили; они уже давно меня дразнят.

— И тебе не стыдно? Ты мужчина или девченка? Завтра, как только их увидишь, не дожидайся, когда они тебя начнут бить: бей их сам!

Дня через четыре, две русские дамы из соседних домов, матери моих врагов, пришли жаловаться маме, что я уже несколько раз исколотил их сыновей и поразбивал им носы. Урок моего дяди пошел мне впрок. Во время следующего визита дяди Миши, мама укорила его:

— Ты, Миша, даешь Филе хорошие уроки! Теперь все соседки жалуются, что он бьет их сыновей.

— И прекрасно делает. Так и надо. Ты знаешь, Нюта, что в жизни, если не хочешь быть битым — бей!

На улице я наблюдал эту самую жизнь; но, собственно, в ней было мало интересного: глушь и пыль провинциального города. Только присутствие на ней множества военных, говорило о том, что мы находимся в состоянии гражданской войны и, что в городе — ставка Верховного Главнокомандующего. Я наблюдал как одни чины тянулись перед другими, как офицеры кричали на солдат, а старшие делали замечания младшим. Это меня забавляло, а блестящие погоны прельщали.

К Отцу Алексею приехал его племянник — Котя, с которым

я подружился, и мы с ним, часами играли на улице в войну, по выдуманными им правилами, и побежденный платил победителю дань. Бывали у меня там разные встречи, и даже приключения, порой страшные. Однажды, когда я играл перед домом, прошли мимо две девицы, и одна сказала другой, глядя на меня: "Посмотри, какой хорошенький жиденок!" Этот комплимент меня оставил в недоумении: должен ли я обидеться или быть польщенным?

В другой раз, когда я степенно прогуливался перед домом, думая о чем-то своем, внезапно почувствовал, что на мои плечи опустились, как мне показалось, две сильные руки. Я обернулся и... о ужас!!! — это были не руки, а лапы огромного пса, который став на задние, положил мне на плечи передние, и заглядывал в лицо своими добрыми и умными, собачьими глазами. Пасть его была открыта, и он смеялся, как умеют смеяться большие собаки. Сердце у меня упало в пятки: я замер и не смел шевелиться. Умный пес, вероятно натешившись вдоволь моим страхом, оставил меня и убежал по своим делам.

Но, однажды, стоя перед дверью нашего дома, я увидал на середине дороги бешеную собаку. Она бежала вперед, ни на что не глядя, и пена падала с ее морды. Это была уже настоящая опасность.

Так протекала весной 1919 года моя жизнь, и таковы были впечатления, которые я от нее получал.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Положение на фронте.

После капитуляции Германии, 11 ноября 1918 года, и последовавшим за ней падением Вильгельма Второго, немецкие войска, в полном беспорядке покинули Украину. В то время весь юг бывшей России кишел разными бандами; но наибольшая из них шла под знаменем украинских социалистов. Ее вождя звали: пан Петлюра. Это была банда не только самая сильная, и хорошо вооруженная, но и одна из самых зловредных. Украинские социалисты были предтечами польских национал-демократов, а позже, немецких национал-социалистов (гитлеровцев). Куда бы ни приходили петлюровцы, всюду они организовывали систематические избиения всего еврейского населения.

Семен Васильевич Петлюра (1877—1926), до революции был

членом партии украинских социал-демократов. В ноябре 1918 года, после отделения Украины от России, он, в качестве военного министра, вошел в киевское правительство Гетмана Скоропадского. Не поладив с этим последним и с немцами, он был арестован, но бежал, и организовав собственную банду пошел против Гетмана. После ухода немецкой армии, Скоропадский, не имея достаточно военных сил для борьбы с Петлюрой, бежал в Германию. В конце 1918 года, или в начале 1919, Петлюра взял Киев. Капитуляция и уход немцев, и бегство Скоропадского, фактически аннулировали Брест-Литовский мир, и белые с красными, вперегонку, бросились занимать Украину и весь юг России. Вскоре Киев был взят красными, но Петлюра еще долго свирепствовал на Украине. С 1919 года ему стали серьезно помогать поляки. Наконец, после окончания гражданской войны, он бежал во Францию, и в 1926 году, на одной из парижских улиц, был убит украинским евреем, по имени: Шварцбарт.

В 1919 году белые находились ближе к крайнему югу европейской России чем красные, и им удалось его занять. Разбив Петлюру и взяв Киев, красные двинулись на юг, и заставили белых сильно отступить; но эти последние были лучше вооружены (им помогали союзные державы). Отступив, они перестроились и двинулись в свою очередь на Киев, угрожая отрезать от Москвы весь юг. Красные вновь отступили и белые на этот раз заняли не только Крым и почти всю Украину, но и ее столицу — Киев, и выравняв фронт, пошли на север.

Таково было положение на фронте в конце весны и начала лета 1919 года.

ГЛАВАЯ ВОСЬМАЯ: Поездка моей матери в Геническ.

В конце июня 1919 года, моя мать решила поехать в Геническ, попытался разыскать хотя бы часть, оставленных нами там, ценных вещей. К тому же надо было отвезти домой, к ее матери, Мотю. Бедная девушка начала серьезно тосковать по ней и по своему родному селу. Поручив бабушке присматривать за мной, так как мой отец бывал целый день на своей службе, на кирпичном заводе; мама, в сопровождении своей верной Моти, отправилась в путь. Отсутствие ее продолжалось две недели, и я очень тосковал.

Приехав в Геническ, и отвезя Мотю к ее матери, мама, первым делом, отправилась к нашим друзьям — Шинянским. Они ее приютили у себя, и обещали помочь ей в ее розысках.

Город носил на себе явные следы войны. Шинянские рассказывали как, в последние недели немецкой оккупации солдаты убивали своих офицеров, как их отступление понемногу перешло в беспорядочное бегство. Над покинутым городом нависла угроза петлюровщины. Наконец, пришли белые. Потом произошли ужасные бои с красными. Эти последние взяли город, но ненадолго. Теперь вернулись белые, и все перемены власти сопровождались кровопролитными боями, бомбардировками и террором. Наш бывший дом был совершенно разграблен. Шинянские видели как из него вынесли, одних только моих игрушек, несколько мешков. Моя мать начала поиски, но кроме моего портрета во весь рост, сделанного, когда мне было четыре года, да двух разбитых серебряных вазочек, ничего больше не нашла. Ей посоветовали обратиться в полицию. Там ее принял, весьма учтиво, добровольческий офицер, из бывших царских жандармов. Выслушав мою мать, он ей сказал: "Несомненно, госпожа Вейцман, ваш дом был разграблен при большевиках. Крестьяне из соседних сел, поощряемые красными, грабили все зажиточные городские дома. Я могу дать вам двух казаков. Обойдите с ними хаты ближайших деревень и сел, и сделайте у них повальный обыск. Все вещи, которые вы признаете за свои, будут у них отобраны и вам возвращены". Мама, выслушав предложение этого учтивого офицера, в ужасе отказалась. Она сразу сообразила, что обозначал бы для крестьянина такой обыск, если бы у него нашлась какая-нибудь из ее вещей. Зверские репрессии белых против всех тех, кто при красных посмел тронуть имущество зажиточных людей, были слишком хорошо известны. Моя мать, распрощавшись с нашими друзьями, покинула навсегда Геническ, и вернулась домой в Таганрог, почти с пустыми руками. Все наше имущество пропало безвозвратно, но мы с отцом были очень довольны ее возвращением: в ту пору железнодорожные поездки были несколько рискованными.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: "Орел — орлам".

Лето 1919 года. Неудержимой лавиной Белая армия стремилась, в своем наступлении, на север. В Таганроге, на Николаев-

ской улице, на стене какого-то официального учреждения, была повешена огромная карта европейской России, и на ней, рядом цветных флажков, соединенных тонкой лентой, была отмечена линия фронта. Каждое утро жители Таганрога толпились перед этой картой, и наблюдали как лента передвинулась за ночь вверх. Харьков был взят. Красные, продолжая отчаянно сопротивляться, отступали; вся Украина была в руках у белых. Каждый день приносил вести о новых победах. Наконец, падение Курска переполнило радостью сердца Добровольцев. Теперь уже монархические симпатии генералитета и старших кадровых офицеров, больше не скрывались. Кто еще мог сомневаться в победе?! Кто еще позволял себе мечтать об Учредительном Собрании?! Солдаты, маршируя по улице, горланили:

"Так: за Деникина, за Родину, за Веру,
Мы грянем громкое урррааа!!!"

А офицеры, на радостях, кутили все больше и больше: вино, женщины и, увы! даже кокаин. А напившись, они хором пели про "Журавля" и "Алла верды"; но к старым песням прибавились и новые:

"Русь великая, Русь любимая,
Ты: единая-неделимая"

и

"У нас теперь одно желанье:
Скорей добраться до Москвы;
Увидеть вновь коронованье;
Спеть у Кремля: Алла верды".

Местные газеты писали об ужасах жизни в "Совдепии":

"На улице Москвы лежит и медленно умирает, весь распухший от голода, "бывший" человек. Он умоляет прохожих дать ему кусочек хлеба. Мимо идет молодой, сытый и прекрасно одетый комиссар, и ведет свою нарядную подружку. Несчастный просит у них: "Хлеба — умираю! Ради Бога — кусочек хлеба". Комиссар толкает его ногой: "Дохни, буржуй!" "Все это скоро кончится", — добавляли газеты. На стенах домов и на тротуарах улиц, все больше и больше появлялись надписи: "Бей жидов — спасай Россию!"

Белые подошли к Орлу. Главнокомандующий московским фронтом, генерал Май-Маевский, в своем военном приказе по армии о наступлении, написал: "Орел — орлам!"

В одно утро, проснувшиеся таганрожцы, прочли газетное сообщение, напечатанное огромными буквами: "Орел взят!" Линия фронта, на карте России, передвинулась еще немного к северу, и в маленький кружочек на ней с надписью: Орел, был воткнут трехцветный флажок. В северных туманах уже мерещилась белым высокая колокольня Ивана Великого, и чудился звон "сорока сороков".

Среди триумфальных статей, в те дни переполнявших газетные листы, моему отцу попалась на глаза заметка о прибытии к Деникину в Таганрог торговой французской миссии, а вместе с ней, в качестве представителя фирмы "Дрейфус", господина Мерперта. Отец немедленно отправился к нему. Встретились они как старые друзья, расцеловались. Мерперт был очень рад вновь повидать отца и узнать о том, что в нашей семье все обстоит благополучно. Рассказав Мерперту о конфискации в Геническе немцами всего имущества, принадлежавшего Дрейфусу, мой отец вручил ему свидетельство, которое в свое время удалось получить у оккупационных властей, скрепленное подписями и печатями двух комендатур: немецкой и украинской. Увидя его, Мерперт пришел в восторг: "По этой бумаге немцы нам теперь возвратят всю стоимость конфискованного ими имущества, до последнего сантима". Потом он представил отца другим членам миссии, и показав им полученное от немцев свидетельство, с гордостью воскликнул: "Вот какие кадровые работники служат в нашей фирме!" Отец, сопровождаемый Мерпертом, вышел из здания французской миссии, с чувством глубокого морального удовлетворения. В дверях к ним подошел какой-то белый офицер, и приложив руку к козырьку, представился: "Поручик Кордонов". Потом, на очень плохом французском языке, заявил, что ему чрезвычайно приятно побеседовать с гражданами союзной державы. Поговорив о том, о сем, он перешел на политику, похвастался успехами на фронте, и наконец начал ругать евреев. Мерперт и мой отец молчали.

— А как у вас во Франции? Имеются евреи?

— Конечно имеются, — ответил ему Мерперт.

— Как же вы с ними поступаете?

— Никак! у нас евреи пользуются всеми правами, наравне с другими гражданами.

— Неужели! Ну нет, у нас не так! Дайте срок — скоро мы будем в Москве, а тогда мы с ними расправимся.

Стоило больших усилий отделаться от этого черносотенца.

Мерперт зашел к нам, навестить мою мать, и выпить с нами чашку чаю. Увы! прошли времена, когда в честь его приезда в Геническ, мои родители угощали его шикарными обедами и ужинами. Дней через десять он вернулся в Париж.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: Поражение.

Белые, взяв Орел, шли на Тулу. Армия Колчака двигалась на запад, на соединение с армией Деникина, и если долгожданная встреча еще не состоялась, то только по вине генерала, желавшего достичь ворот Белокаменной раньше адмирала. Но теперь, после предстоящего взятия Тулы, добровольцы выйдут на широкую московскую дорогу, и ничто больше не будет препятствовать соединению южной и восточной армий. А затем только и останется, что торжественно вступить в Москву. Одновременно организовывалось наступление на Петроград северной армии генерала Юденича. Красные отлично понимали положение: больше отступать было некуда.

Есть между Орлом и Тулой станция Змеевка; ничем она не замечательна, но под ней, в июле 1919 года, разыгралось решительное сражение. Говорили, что сам Троцкий лично приехал на фронт. В этом бою, решившем дальнейшую судьбу России, а может быть, и всего мира, Белая армия была разбита вдребезги. Началось быстрое отступление, и вновь, на страницах газет всего мира замелькали названия все тех же городов, но только в обратном порядке: пал Орел, пал Курск, Красная армия перешла северную границу Украины, армия адмирала Колчака отступила в Сибирь. В Таганроге, на карте военных действий, лента с разноцветными флажками, начала скользить вниз.

Был воскресный день. Мой отец, свободный от своих служебных обязанностей на кирпичном заводе, и пользуясь солнечным днем конца августа, повел меня гулять в городской сад. Мой родной город недаром им гордился: он был очень обширен и красив. По дороге туда нам надо было пройти поблизости от страшного здания Контрразведки. Совсем близко подходить к нему воспрещалось, и он был всегда окружен солдатским кордоном. Рассказывали, что порой до прохожих доносились оттуда крики истя-

заемых. Пройдя небольшое расстояние, мы встретили конвой, ведущий двух арестантов. Оба они были бледны как смерть. Отойдя шагов на тридцать, мой отец мне шепнул: "Это ведут двух большевиков, вероятно на расстрел. Бедняги!" Я не обернулся, чтобы еще раз посмотреть им вслед: мне стало жутко.

В городском саду мы очень приятно провели время, гуляя по его тенистым аллеям. По выходе из него чей-то голос позвал отца по имени: "Господин Вейцман!" Мы обернулись: к нам подходил офицер в капитанских погонах.

— Вы, господин Вейцман, меня не помните, а я вас сразу узнал. Неужели забыли Георгия Дмитриевича Акимова? того самого, чью кандидатуру на пост начальника народной милиции в Геническе, вы изволили провалить.

Мой отец вспомнил:

— Господин Акимов, я вашей кандидатуры не проваливал, и в прениях не участвовал, а только вел заседание Думы, замещал ее председателя — Птахова.

— Я все это отлично знаю, а все-таки это вы, господин Вейцман, вели заседание, в котором мне отказали в назначении. Ну, ладно! — дело прошлое. А знаете ли вы, что совсем недавно я встретил в Ростове вашего Птахова и, что я его убил собственными руками?

Несмотря на весь страх, который ему внушал этот офицер, мой отец не удержался, чтобы не ответить ему:

— Если вы действительно убили его, то очень плохо сделали; Птахов был прекрасным человеком.

Акимов удивленно взглянул на отца, но промолчал. После еще нескольких, сказанных им, незначительных фраз, он, к великому нашему облегчению, распрощался и ушел. Больше мы его никогда не видели.

В местных газетах появилось воззвание генерала Деникина к еврейским матерям. В нем он умолял их не допускать сыновей уходить к красным. Текст этого воззвания был, приблизительно, таков: "Мы боремся против узурпаторов, захвативших власть в нашей общей Родине. От исхода этой борьбы зависит ее дальнейшая судьба. Россия, для вас, как и для нас, является родной землей" и т. д. Воззвание генерала было очень хорошо составлено, и звучало весьма трогательно, но антисемитские надписи на тротуарах и стенах домов обновлялись каждое утро.

Коля и Сережа Резниковы (старшему тогда было лет трина-

дцать, а младшему — одиннадцать), ничего не сказав родителям, отправились просить аудиенцию у Деникина. Он их очень мило принял. Мальчики заявили, что хотят идти в Белую армию, сражаться с большевиками. Деникин их похвалил и обласкал, но сказал, что они еще слишком молоды и, что, во всяком случае, они не должны ничего предпринимать без разрешения родителей. Они вернулись домой пристыженными.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: Эвакуация.

Слухи ползли по городу, и делались с каждым днем, все более и более тревожными, наполняя сердца одних отчаянием, а других — надеждой. По-прежнему, перед большой картой военных действий, толпился народ, но никто вслух положения на фронте не обсуждал, а лента с пестрыми флажками, все ползла и ползла вниз. Харьков пал. Вновь был взят красными Киев. Была осень 1919 года. Как листья с диких каштанов, украшавших таганрогские улицы, так ежедневно падали города. Холодный, северный ветер гонит перед собою пожелтевшие павшие листья, и все быстрее и быстрее отступает к югу разбитая Белая армия. Больно кусаются осенние мухи; злобно зверствует контрразведка.

Мой дедушка последнее время чувствует себя неважно. На улице падает мелкий осенний дождик, и он, против своего обыкновения, остался дома и сидит в своем любимом кресле. Мой отец, и пришедший к нам утром дядя Миша, поместились на стульях возле него. Кирпичный завод недавно закрылся, и папа вновь остался без работы. Дедушка советует своим двум сыновьям вложить имеющиеся у них деньги в недвижимое имущество. Кстати: в "Крепости" дешево продается прекрасный особняк с большим садом. "Сложитесь оба и купите его". Отец и дядя привыкли следовать советам их отца, и дней через десять этот дом им уже принадлежал. Я его хорошо помню: большой, одноэтажный, с множеством высоких комнат, и с огромным заброшенным садом, в котором водились дикие кролики и ежи.

В один из этих дней, на имя отца, пришло письмо из французской миссии при ставке Деникина. Ему предлагали явиться для личных, могущих его интересовать, переговоров. В тот же день отец пошел узнать в чем дело. Его принял французский чиновник Министерства Иностранных Дел. Сказав, что Министерству извест-

на роль, сыгранная отцом в деле спасения имущества крупной французской фирмы, он предложил ему, ввиду предстоящего отъезда всех иностранных миссий, уехать со всей семьей во Францию. Предложение было заманчивое, но отец, подумав, отказался: покинуть Родину очень трудно, а еще трудней покинуть своих престарелых родителей, быть может навсегда. Старик — отец, последнее время, сильно ослаб. Нет, он не уедет! Через несколько дней все иностранные миссии покинули Таганрог, и очень скоро стало известно, что и Деникина в городе больше нет. С его отъездом, избиения на улицах отдельных евреев стали учащаться. Один наш знакомый, богатый еврей, сказал нам: "Хотя бы красные скорее пришли! Я знаю — они у меня отберут все мое имущество, но может быть, оставят мне жизнь. Белые моих денег не тронут: они только меня убьют".

Однажды утром, таганрожцы, пожелавшие узнать положение на фронте, карты военных действий не нашли. Накануне, по приказу военных властей, она была снята. Теперь ничего толком больше не было известно; говорили, что красные взяли Синельниково и подошли к Ясиноватой. Некоторые утверждали, что они уже под Харцызском.

В один пасмурный осенний день, на стенах домов появился декрет, объявлявший город на военном положении, и одновременно с ним приказ о всеобщей мобилизации. Все мужчины, от восемнадцати до пятидесяти пяти лет, были обязаны явиться в мобилизационный центр, не позже полудня завтрашнего дня. Все льготы и "белые" билеты аннулируются. Неявившийся к сроку будет предан военному суду, и расстрелян в двадцать четыре часа. Делать было нечего: завтра, рано утром, мой отец пойдет мобилизоваться. Теперь он пожалел, что не принял предложения французской миссии, и не уехал с ней за границу. Можно себе легко представить какую ночь провела вся семья. Страх перед разлукой, быть может — вечной, заставил плакать маму и бабушку. Дедушка крепился и не плакал, но очень страдал. Никто, кроме меня, не спал. Порой хорошо быть ребенком! Так прошла эта памятная ночь.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: От белых к красным.

Наступило утро. Усталый после бессонной ночи, отец пошел мобилизовываться. Прощаясь с семьей, он много раз целовал

маму, меня и своих родителей. Дедушка его благословил. Это походило на то, как если бы он шел на верную смерть. На улице чувствовалось сильное волнение. Шли войска, грохотали обозы, во всем виднелись растерянность и беспорядок.

Придя на место назначения, отец заметил, что призывавшихся было очень мало: правда, что час еще был ранний. Войдя, папа принялся искать мобилизационную комиссию, но в неописуемом беспорядке там царившем, найти ее было невозможно. Везде, с растерянными лицами, бегали и толпились военные разных чинов и оружий. На все задаваемые им вопросы, ему никто толком ответить не мог. Наконец, в толпе офицеров он узнал полковника, с котором ему уже раз пришлось иметь дело, по поводу обороны при помощи кирпичей. Отец обратился к нему: "Простите, Ваше Высокоблагородие, я явился сюда во исполнение вчерашнего приказа о мобилизации, но вот уже минут с десять как разыскиваю соответствующую комиссию, и никто не может мне ее указать". Полковник махнул рукой: "Какая там мобилизация! Вы, что — слепой? Не видите, что мы уходим? Идите себе, батенька, домой: вот вам и вся мобилизация".

Отец не заставил себя два раза просить, и поспешил вернуться к себе, успокоить плачущую семью. Велика была радость при его внезапном возвращении, но беспокойство не улеглось: слова полковника, отнюдь, законом не были. А что если белые не уйдут? После полудня он подлежал расстрелу. "Будет, что будет", решил отец, и, усталый, лег спать.

На улице движение все усиливалось. Крики команды сливались с руганью, с топотом идущих солдат и лошадей и с громыханием подвод. К вечеру весь этот уличный ад еще увеличился. Только к полуночи шум начал стихать, и незадолго до рассвета совершенно утих. Уже перед самым утром послышался поспешный топот нескольких лошадей. Вероятно отставшие всадники пытались рысью догнать свои части. Наконец наступило утро: бледное, холодное, туманное. Мертвая тишина заменила вчерашний шум. К десяти часам отец, несмело, вышел на улицу: она была совершенно пуста, только на мостовой виднелся лошадиный навоз. Кое-где и другие жители начали, один за другим, выходить из своих домов. Вышел и Отец Алексей, и поглаживая свою седую бороду, стал задумчиво смотреть в дальний конец улицы, как бы желая что-то разглядеть, но там все было пусто. На стенах домов, продолжая пугать взор обывателей, чернели

приказы о всеобщей мобилизации, с угрозами суда и расстрела. Не было видно ни одного военного. После обеда папа не выдержал, и пошел погулять по городу. Везде таганрожцы робко выходили из своих домов, и осматривались кругом, с явным любопытством и тайным страхом.

Правительственные здания стояли пустыми, с раскрытыми настежь дверями, и над ними не развевались по ветру трехцветные флаги. На одном углу улицы, к отцу подошел какой-то мирный обыватель, и обратился к нему с простым вопросом: "Скажите, пожалуйста, гражданин, который час?" Мой отец вздрогнул от неожиданности: в этом банальном вопросе заключался весь смысл происшедшего: подошедший не сказал ему "господин", но "гражданин". Дальнейшая прогулка стала ненужной, и он вернулся домой очень взволнованный.

Ночью послышались отдаленные ружейные выстрелы, а утром, на всех стенах было наклеено следующее воззвание:

"Граждане города Таганрога!

Белые оставили город без власти. Ее, временно, взял комитет рабочих местных заводов, на предмет вручения Ревкому, как только доблестная Красная Армия войдет в город. В ожидании этого Таганрог объявляется на осадном положении! Вводится сухой режим! За всякий акт мародерства, насилия, воровства или пьянства, виноватый будет по законам осадного положения, расстрелян на месте, без суда.

Предлагаем всем гражданам сохранять спокойствие, и не выходить из домов без особого на то разрешения, между заходом и восходом солнца. Такое разрешение можно получить в бывшей резиденции Деникина.

Да здравствует Советская Власть!

Комитет рабочих Балтийского и Металлургического заводов."

Внизу следовали подписи и печати.

В городе воцарился порядок, которого он не знал уже много лет. Днем обыватели спокойно выходили на улицу. Магазины и мелочные лавки были открыты, и в них, на деникинские рубли, можно было купить остатки товаров. Даже крестьяне из соседних деревень привозили на рынок свои продукты. Ночью все население сидело по домам, и только порой слышался за окнами мирный шаг патруля и, иногда, доносились издалека звуки отдельных ружейных выстрелов.

Фронт белых проходил между Морской и Синявкой, т. е. в каких-нибудь двадцати верстах от города. Со стороны близкой Украины нам угрожали банды батьки Махно. Говорили, что махновцы находятся совсем близко, и идут на всеми оставленный Таганрог. Моим бедным, запуганным гражданской войной, согражданам, уже мерещились: пожары, убийства, избиение евреев, грабежи и изнасилование скопом всех их жен, сестер и дочерей. Что мог поделать против Махно наш маленький Рабочий Комитет? Так длилось дней восемь. Пронесся слух, что передовые части махновцев видели возле Матвеева Кургана. Ужас мирного населения все рос.

Было послеобеденное время. Моя мать пошла на Петровскую улицу, сделать кое-какие покупки и, может быть, узнать что-нибудь нового. Купив кое-что, в еще открытых гастрономических магазинах, но ничего не узнав, она уже повернулась, чтобы идти домой, как вдруг, вдали со стороны заставы послышался топот, скакавшего галопом, коня. Мама остановилась и прислушалась, до нее донеслися крики: "Ура!" Всадник быстро приближался, и крики приветствий становились все громче и громче. Все прохожие, как и мама, остановились и глядели в сторону заставы. И вот — появился сам всадник: он скакал на взмыленном коне; на нем была длинополая шинель защитного цвета, через плечо — ружье, на поясе — гранаты, на голове — кожаный шлем, формой похожий на те, которые носили древнерусские богатыри. Посередине шлема была нашита большая, красная, пятиконечная звезда: это был буденовец. Прохожие рядом с мамой подхватили "ура", в окнах многих домов, как будто ждавших этой минуты, появились красные флаги. Буденовец продолжал скакать, и вскоре скрылся вдали по направлению к морю. Мама поспешила домой, и вся запыхавшаяся и взволнованная, рассказала нам о виденном. Всадник был разведчиком, подходящей к городу, конной армии Буденного.

Снова город настороженно затих, но когда поужинав, и приготовившись идти спать, мы желали друг другу: "спокойной ночи", до нас донесся со стороны давно пустевшего и безмолвного вокзала, паровозный гудок. Это прибыл бронепоезд, с пехотой и артиллерией Красной Армии. Наутро мы проснулись от мерного топота копыт. По улице, в строгом порядке, шла конница Буденного. Она шла и шла, и казалось, что ей не будет конца. После завтрака папа взял меня за руку и вывел на крыльцо дома. Конница

все шла. Только к часам одиннадцати ее сменила пехота, и к обеду по мостовой прогрохотала артиллерия. Я с восторгом глядел на стройные ряды идущих войск, и чувство, испытываемое мной, глядя на них, мне было знакомо: я его уже однажды испытал, любуясь немцами, идущими по улице Геническа. Войска прошли, и снова воцарилась тишина, но ночью послышалась далекая канонада: то красные брали Ростов. Наутро, на стенах домов, появился первый декрет нового режима; он объявлял гражданам, что вся власть в городе перешла в руки местного Ревкома, который постановляет:

"1. Город переходит с осадного положения на военное;

2. Сухой режим остается в силе;

3. За каждое нарушение порядка и революционной дисциплины, виновный будет судим, со всей строгостью военно-революционных законов, специально для этой цели учрежденной тройкой."

После этого сообщалось, что через пару дней состоятся торжественные похороны жертв зверств Контрразведки и Белого террора. Следовали подписи и печати.

В городе начала "работать" ЧК.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Под красными.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: красные.

Красный цвет: цвет свободы и крови, пролитой во имя ее. Этот цвет мятежей и революций порождал у миллионов угнетенных надежды на лучшую жизнь. За красным знаменем шли все те, для которых этот цвет стал символом светлого будущего. Вот почему знамя Великой русской революции было красным.

Кем же были его первые знаменосцы?

Всякий матрос, среди мрака ночи, может разглядеть далекий свет маяка; но только капитан способен привести судно в далекий порт. Но для того, чтобы стать капитаном, надо сперва окончить навигационную школу. Первыми вождями революции, первыми ее знаменосцами, были люди высоко-интеллигентными, нередко — учеными. В девятнадцатом веке таковыми были, почти исключи-

тельно, дворяне; ничего нет удивительного, что в рядах первых революционеров, их было так много. Среди них встречались и мечтатели-идеалисты, готовые жертвовать собой, и властолюбцы-доктринеры; но и те и другие принадлежали к привилегированным слоям общества. Угнетенные классы были на 99% безграмотны, и их представители для роли вождей не годились. Но вот, к дворянам и русским интеллигентам присоединились евреи. Еврейские дети, даже те, которые принадлежали к самым бедным и забитым семействам, веками привыкли читать книги, или хотя бы одну из них: книгу книг. Изучая годами Талмуд и Тору, они развивали свой ум, и были способны, в случае необходимости, усвоить любую доктрину. В отличии от выходцев из привилегированных классов, эти студенты Талмуд-Торы, кроме нужды, унижения и горя, ничего потерять не могли. Самые проницательные и, пожалуй, самые смелые из них, вступили в ряды первых сионистов, остальные, их было огромное большинство, пошли по более избитой дороге, и кинулись в объятия русской революции. Вот почему в первом советском правительстве оказалось так много евреев.

Вспомним о наших братьях, заблудившихся в поисках дороги, ведущей к лучшему будущему, и назовем хотя бы несколько из них: самых известных. Взглянем бегло на судьбы этих несчастных, и да простит им Бог их преступления и ошибки!

1) Троцкий — Лев Давидович Бронштейн (1879—1940).

В самой ранней юности он примкнул к русским социалистам. Едва достигнув совершеннолетия — был сослан в Сибирь.

В 1902 году бежал из Сибири за границу, и продолжал оттуда бороться с Царским Режимом. Вскоре вернулся в Россию, и снова попал в Сибирь.

В 1908 году, вновь бежал за границу, и в Вене, вместе с другим евреем: Йоффе, основал газету "Правда", которая, по сей день, является официальным органом советской Коммунистической партии.

В 1916 году эмигрировал в САСШ.

В 1917 году вернулся в Россию и вошел в первое советское правительство, в качестве народного комиссара иностранных дел.

В 1918 году им был подписан Брестлитовский мир. (3.3.18).

В том же году он оставил наркомат иностранных дел, и сделался военным наркомом. На этом новом посту он из Красной Гвардии создал Красную Армию, и стал отцом ее победы на всех фронтах.

В 1925 году снят Сталиным с поста народного комиссара, и исключен из членов правительства.

В 1927 году исключен из партии.

В 1929 году изгнан из СССР.

В 1938 году основал за границей Четвертый Интернационал.

В 1940 году умерщвлен в Мексике рукой, подосланного Сталиным, наемного убийцы.

2) Зиновьев — Григорий Евсеевич Апфельбаум (1883—1936).

Молодым человеком вступил в партию русских социалистов.

В 1908 году бежал за границу.

В 1917 году вернулся в Россию и принял самое активное участие в установлении в ней советского режима.

В 1919 году, после создания Третьего Интернационала, был избран его председателем.

В 1927 году исключен из партии Сталиным.

В 1935 году приговорен к смерти.

В 1936 году — расстрелян.

3) Каменев — Лев Борисович Розенфельд (1883—1936).

Всю свою молодость провел в борьбе с царским режимом.

В 1917 году был назначен вице-председателем Совета Народных Комиссаров.

В 1932 году исключен из партии.

В 1936 году — расстрелян.

4) Урицкий Моисей Соломонович (1873—1918).

С 1898 года член партии РСДРП.

С 1903 года — меньшевик.

С 1917 года — большевик. Основатель ЧК.

В 1918 году убит социалистами-революционерами.

5) Володарский — Моисей Маркович Гольдштейн (1891—1918).

С 1905 года — меньшевик. Неоднократно бывал под арестом и в ссылке.

В 1913 году он бежал в Америку.

В 1917 году он примкнул к большевикам. Член президиума ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет), и народный комиссар по делам печати.

В 1918 году был убит социалистами-революционерами.

6) Йоффе Адольф Абрамович (1881—1927).

С ранней молодости участвовал в социалистическом движении. Сотрудничал с Троцким, и вместе с ним основал газету "Правда".

В 1918 году участвовал в подписании Брестлитовского мира, и в том же году был назначен первым советским послом в Берлине.

В 1922 году он реформировал советскую денежную систему; уничтожил совзнаки; создал червонец и остановил инфляцию.

В 1924 году был назначен послом в Вену, и через год — в Японию. Присоединился к Троцкому в его борьбе со Сталиным.

В 1927 году — покончил жизнь самоубийством.

Этот лист можно было бы продолжить еще и еще; но довольно! Сколько ума и воли, сколько жизненной энергии затратили эти евреи на установление в России советского режима. Какой ужас и какая грусть! Братья мои! Неужели девятнадцать веков гонений страданий и унижений еще не достаточны? и вы не поняли, что только возрождение нашего собственного Отечества может дать нам, евреям, возможность жить как и все другие народы, и чувствовать себя равными и свободными. Еще сегодня, тридцать лет спустя основания Израиля, во многих странах мира, наши соплеменники отдают свои лучшие силы на благо нам чуждых народов, а в благодарность им, вновь подымается волна антисемитизма.

Конечно, не одни евреи заседали в первом советском правительстве. Верховным вождем и диктатором был: Ленин — Владимир Ильич Ульянов (1870—1924). Он, по своему рождению, принадлежал к мелкому служивому дворянству. Были русскими: Калинин, Бухарин, Семашко, Луначарский и многие другие. Троцкому, творцу Красной Армии и ее победы, помогали военные специалисты, как например: генерал Брусилов Алексей Алексеевич (1853—

1926). Южным фронтом, во время гражданской войны, командовал бывший царский полковник: Сергей Каменев (1881–1936). Все они были старыми революционерами или кадровыми военными, из тех которые поняли, что с царским режимом покончено и к нему возвращаться не стоит.

Оставим теперь вождей и посмотрим: как и из кого сформировалась Красная Армия. Подобно белой, она имела свое начальное ядро: Красную Гвардию. Она родилась на улицах Петрограда, в снежные, неуютные ночи начала ноября 1917 года. Красная Гвардия состояла, главным образом, из дезертиров. Им осточертела эта затянувшаяся война. Для чего надо было сидеть в грязных и сырых окопах и кормить вшей? Ради каких-таких братьев сербов? Ради каких-таких проливов? Ради какого-такого креста на святой Софии? "Мы дали слово нашим союзникам, и должны его сдержать!" — твердили им офицеры, в золотых погонах. "Ну и держите его, если дали, а только нам держать нечего — мы его не давали". Эти люди, бежавшие при Керенском с фронта были в своем огромном большинстве, крестьянами. Все они хотели вернуться в свои избы и хаты, к своим семьям; но бежав с фронта они, предусмотрительно, захватили свои ружья: "Никогда нельзя знать, может оно на что и пригодится, да и для чего добро бросать?" Ленин им всем обещал: если он придет к власти, то первым делом подпишет с немцами мир. И вот, за этим человеком пошли все, вооруженные казенными ружьями, дезертиры, и из них-то и создалась Красная Гвардия. И еще обещал им Ленин: "Война войне!" и "Грабь награбленное!" И он сдержал свое слово, бросив Россию после заключения Брестлитовского мира, в самую ужасную из всех войн: братоубийственную, гражданскую. Она то и была обещанной красногвардейцам: "войной войне". Позже, к этому первоначальному ядру присоединились все страшившиеся возвращения старого режима: рабочие остановившихся заводов, батраки и вообще вся крестьянская беднота, гонимые и избиваемые евреи и, наконец, просто насильно мобилизованное население.

В провинции местные гражданские и военные власти являлись точным отображением центрального правительства.

"Знаете ли вы разницу между пайковым супом и комиссаром? — спрашивает русский остряк другого русского. — Нет?-так слушайте: пайковый суп жидок, а комиссар — жидок".

В первые годы гражданской войны из бедного и угнетенного веками рабства, латышского крестьянства, Советская Власть

создала, так называемых, латышских стрелков, и образовала из них: "отряды особого назначения". Можно себе легко представить: какого назначения. Говорили: "Советская Власть зиждется на трех китах: на латышских стрелках, на еврейских головах и на русских дураках".

Ко всему вышесказанному я прибавлю, однако, что советский режим в то время, в огромном большинстве русского населения, вызывал искренние надежды на лучшее, хотя бы пока еще и отдаленное, будущее.

Таковы были, в начале двадцатых годов, те, которые назывались: красными.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Под новым режимом.

Зимой прямые улицы Таганрога — белы и чисты, и хорошо гулять по их широким тротуарам. Свежий снег скрипит под ногами и легкий морозец приятно бодрит прохожего. Еще приятней прокатиться в санях. Но не до катаний и прогулок было моим согражданам зимой 1920 года. Деникинские деньги были обменены на совзнаки, а те, с каждым днем, стоили все меньше и меньше. Жизнь делалась очень трудной. Местные власти объявили населению, что все желающие могут записаться в коммунистический профессиональный союз. Мой отец записался в него одним из первых. Некоторые, их было меньшинство, не пожелали в него вступить. Они опасались, а может быть и надеялись, что белые еще вернутся, а с ними, кто знает? вернется и старый режим. Все "профсоюзники" будут жестоко наказаны: ведь белые — совсем недалеко, они, правда, сдали красным Ростов, но ушли за Дон и окопались в Батайске, и красные, несмотря на все усилия, выбить их оттуда не могут. Через несколько месяцев эти осторожные люди горько пожалели; но было слишком поздно: запись в профсоюзы закрылась окончательно, а не будучи его членом, работы найти было нельзя. Очень скоро после вступления моего отца в профсоюз, ему было предложено место бухгалтера в военном санитарном управлении: "Санупре". "Вы, товарищ, будете там сидеть в конторе и вести счетоводные книги, и, одновременно, числиться на положении мобилизованного — чего лучше!" — объяснил отцу заведующий биржей труда, уже немолодой коммунист из рабочих. Отец, конечно, согласился. В конце месяца он стал

теперь приносить кипу совзнаков, терявших каждую неделю до 10% своей стоимости, а по воскресеньям — пачку махорки (папа был, как и я, некурящий), и каждый вечер по полфунта серого хлеба, который, со дня на день, все более и более темнел. Мама решила тоже что-нибудь зарабатывать.

Греческая семья со старой ведьмой, обозвавшей меня паршивым жиденком, убежала с белыми, а в их квартиру, на втором этаже, поместили целый взвод красноармейцев. Это все были ребята здоровые и молодые, и аппетитом обладали недюжим. И вот, моя мать решила печь на продажу пирожки, и продавать их им. Пирожки, из серой муки, бывали начинены мясом и капустой, а позже, весной, когда появились вишни, то и вишнями и были очень вкусными, я ими лакомился вдоволь. "Гражданка, ну-ка, продайте мне пару ваших пирожков", — говорил такой красноармеец, и при этом вынимал из кармана пачку совзнаков. Заработок был невелик, но и им пренебрегать было нечего.

Новая беда: стали хватать на улицах проходящих женщин и, в порядке военнореволюционной дисциплины, заставляли их мыть полы в советских учреждениях, а иногда и в госпиталях. Чтобы избежать такой повинности, было необходимо обладать свидетельством о том, что его предъявительница служит где-нибудь у новых властей. Мой дедушка в то время был уже очень слаб, и не имел сил выйти из дому. Раз он сказал моему отцу: "Эх, Мося, не в меня ты, видно, пошел! Если бы я еще имел силы, то выхлопотал — бы давно Нюте такое свидетельство. Чего ты ждешь? Чтобы ее заставили мыть грязные полы?"

Пристыженный отец пошел хлопотать, и в конце концов, достал для мамы такое свидетельство. Моя учительница, Александра Николаевна, по-прежнему приходила к нам каждый день давать мне уроки, но не за совзнаки, а за "стол": теперь она обедала вместе с нами. При ее помощи я прилежно изучал басни Крылова. Она стала приводить с собой какую-то девочку, по имени Оля, и мы с ней разучивали наизусть и декламировали эти басни. Помню, что я был Петухом, а Оля — Кукушкой, и мы, взапуски, хвалили друг друга, а Александра Николаевна заключала:

"Зачем же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За тем, что хвалит он Кукушку".

Папин серый пайковый хлеб; мамины пирожки из темной муки; веселые песни красноармейцев в нашем дворе; Кукушка

и Петух, да еще снегом занесенные улицы: вот все, что сохранилось ясным в моей памяти, от нашего быта в январе 1920 года.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Смерть моего дедушки Давида Моисеевича.

Настал февраль. Дедушке, Давиду Моисеевичу, становилось с каждым днем все хуже. Он слабел, но долго не желал лечь в постель, и целыми днями, превозмогая недомогание, сидел в своем любимом кресле. Ему казалось, что если он ляжет хотя бы на сутки, то больше не встанет. О смерти, однако, он никогда не говорил. Наконец, болезнь взяла свое, и дедушка слег. Наш домашний врач и родственник, доктор Шамкович, после одного из своих ежедневных визитов, позвал в соседнюю комнату моего отца, и сказал: "Вы его старший сын, Софье Филипповне я пока говорить не хочу, но вам сказать обязан: у вашего отца рак печени, и дни его сочтены". Папа побледнел, и умоляющим голосом обратился к врачу: "Доктор, может быть ему можно сделать операцию? Попытайтесь его спасти".

— О чем вы меня просите, Моисей Давидович? Если бы была малейшая возможность, разве я не попытался бы? Какую вы хотите ему делать операцию? Печень человеку удалить нельзя, и в данном случае современная медицина совершенно бессильна.

Теперь все свое свободное время мой отец проводил возле постели умирающего. Ни одним словом дедушка не промолвился о близком конце, но он отлично понимал свое положение. Однажды, когда отец сидел возле него, дедушка ему сказал: "Мося, открой тот ящик, что около тебя: в нем лежат мои любимые часы; возьми их себе". Папа удивленно взглянул на своего отца: "Да, возьми — я их тебе дарю", — повторил больной. Мой отец взял, и много лет спустя, в свою очередь, подарил их мне. Эти часы мне самому служили долгие годы, а теперь я их свято храню, как память о дедушке и об отце. Почти едедневно приходил дядя Миша, и подолгу просиживал у постели своего отца. Однажды дедушку навестил Отец Алексей, и с шутливым укором ему сказал:

"Как же это так, Давид Моисеевич, разве можно? Ведь мы с вами оба старожилы и отцы города, и у нас всегда столько дел. Поправляйтесь скорей. Вернутся теплые дни, и мы с вами выйдем посидеть вечерком на крылечко нашего дома".

Мой дедушка грустно улыбнулся, но ничего не ответил.

Во второй половине февраля он стал ощущать, пока еще не сильные, но постоянные боли в печени. Доктор сказал моему отцу, что теперь смертельная опухоль увеличивается настолько быстро, что ее рост ощутим под пальцами. Двадцать шестого февраля боли внезапно усилились и Шамкович объявил:

"Теперь болезнь вошла в свою самую тяжелую стадию, и Давид Моисеевич будет ужасно страдать. Я пришлю фельдшерицу и она ему сделает укол морфия: пусть себе спит – во сне болей не чувствуешь".

Фельдшерица, тоже наша отдаленная родственница, пришла и сделала, приписанный врачем, укол. Дедушка заснул... и больше не проснулся. Около полудня, 27 февраля 1920 года, он, не приходя в сознание, скончался. Мой отец держал его пульс, чувствуя как он слабеет. Около часа дня он перестал биться. Рядом с постелью стояли: бабушка, мама, дядя Миша и доктор Шамкович. Я не присутствовал при этом: у меня была легкая простуда, но мне все стало понятно, когда до меня донесся громкий плач бабушки. Как только дедушка вздохнул в последний раз, Шамкович взглянул пристально на моего отца, и воскликнул:

"Подойдите ко мне, Моисей Давидович, и поднимите вашу рубаху. Так оно и есть: у вас разлилась желчь. Вот что значат нервы! Я вам припишу лекарство и дам нужное свидетельство. Вы несколько дней на вашу службу не ходите".

Конечно, на похороны мой отец все же пошел. Тело дедушки поднесли к воротам синагоги. Кантор, отпевавший его, был всего с пол года выбран на эту должность. Были на нее и другие кандидаты, но мой дедушка отстоял это место для него. Теперь кантор пел молитву, и по его щекам текли слезы. Мне только раз привелось побывать на могиле дедушки: еврейское кладбище, в Таганроге отстоит очень далеко от города.

Прибавлю еще несколько слов: моя мать всю свою жизнь была уверена, и ничто не могло изменить ее мнения, что доктор Шамкович нарочно приписал слишом большую дозу морфия, желая, чтобы мой дедушка избег ненужных страданий. Конечно, такое предположение остается только предположением. Совесть врача – единственный судья в этом деле.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: "Генерал" Кочубей.

"Богат и славен Кочубей"
"Полтава" Пушкина.

Прошло недель шесть после смерти моего дедушки. Бабушка, превозмогая свое горе, хлопотала по дому: чистила, мыла, кашеровала, меняла посуду — готовилась встречать Пасху. Настал канун праздника; хамец был собран и сожжен, маца куплена. Эта Пасха должна была быть первой без дедушки. Мой отец плохо знал обряды и молитвы, но он обещал после своего возвращения со службы в Санупре, председательствовать на седере. В синагогу никто не пошел, но стол был накрыт и готов к торжественному пасхальному ужину. Около пяти часов вечера на парадной двери раздался сильный звонок. Мама пошла ее открывать.

"Сюда! Довольно! Больше я никуда не пойду!" — с этими словами в прихожую ввалился какой-то военный, в теплой бурке, накинутой на плечи, и с двумя красными ромбами на отворотах воротника своей шинели: он был высок и вид имел совершенно дикий, в руке он держал нагайку. Лицо этого военного было монгольского типа, и говорил он по-русски с сильным среднеазиатским акцентом. С ним вместе вошли еще трое. Двое из них, с треугольниками вместо ромбов, имели вид чисто русский, и пожалуй — дворянский. Четвертый из вошедших был простым красноармейцем, очевидно денщиком; этот последний держал в своих руках большую булку прекрасного белого хлеба. "Ромбоносец" в бурке обратился к моей матери:

— Чертовски устал! Эй, гражданка, принимай гостя: буду у тебя теперь жить. Отведи мне хорошую комнату.

Моя мать сильно взволновалась:

— Как же так, товарищ, у нас всего три комнаты и кухня, а проживают в них: старушка-мать моего мужа, я с мужем, да еще наш восьмилетний сын; где же вы хотите жить?

— А ты, гражданка, будешь спать с твоим мужем и сыном в одной комнате, а старушка пусть себе спит в своей, а я вашу спальню займу.

— Нет, это совершенно невозможно: мой муж много работает и приходит со службы усталым, ему нужен отдых. Я вижу, что с вами денщик, где мы его поместим? Теперь сыпняк свирепствует: он еще, чего доброго, его нам занесет.

— Денщика моего мы в кухне вашей поместим, а коли не

хотите, так я его и во дворе устрою. Да ты, гражданка, не сомневайся: у нас вшей нет. Я сказал: здесь останусь, и весь тут разговор! В скольких уже домах был — все одна и та же песня: "комнат свободных нет", так нет же: есть комнаты!

— Нет у нас для вас комнаты, — горячилась моя мать, — вот еще принесли сюда хлеба, а у нас, как раз, еврейская пасха.

— Вот как! — вмешался внезапно, до сих пор молчавший, один из военных, — еврейская пасха! Так вы евреями будете! Как же, знаю: маца, фаршированная рыба, — и он гадко усмехнулся.

Тут мама вышла из себя и набросилась на него:

— А вы, что, товарищ военный, может быть, юдофоб? Мало я на таких как вы при белых, да при царе, насмотрелась! Только, нет: не те времена! Вы может быть евреев бить собираетесь? Натерпелись мы вдоволь при старом режиме. Вы, что — забыли, что теперь Советская Власть?!

Военный как-то странно взглянул на своего товарища, и оба они поспешно ушли; больше мы их обоих никогда не видели.

— Довольно языком трепать! — заревел, внезапно, рассвирепевший азиат — ты, что? не видишь, что я устал? Веди меня в свою комнату, и весь тут сказ.

— Нет у нас свободной комнаты, — продолжала кричать моя мать.

Испуганная бабушка, вышедшая на шум, стала тянуть маму сзади за платье:

— Ты, что, Нюта, с ума сошла? молчи, пожалуйста!

Но мама молчать не хотела, и все больше и больше горячилась.

— Так ты не даешь мне комнаты? — уже совсем звериным голосом заревел красный воин, — а этого не хочешь? — и он поднял свою нагайку. Мама поспешно сделала два шага назад.

— Тут и останусь, а тебя, если еще поговоришь, высеку, — и с этими словами он грузно сел на стоявший в прихожей старый и несколько кривоногий стул, который, не выдержав его тяжести, развалился на мелкие части, и "герой" очутился на полу. Странное дело: падение подействовало на него успокоительно, и он встал с пола в более мирном настроении духа. — Послушай, гражданка, я от вас все равно не уйду, но сердиться не надо. Я подожду твоего мужа, да с ним и поговорю. Эй! Ванька, — обратился он к своему денщику, — неси пока мои пожитки к ним в комнаты, а там видно будет.

Денщик внес стоявшие в дверях чемоданы, и торжественно водрузил булку, посередине пасхального стола.

— А ты знаешь кто я? — продолжал он гордо, глядя на мою мать. — Я начдив. Ты знаешь, что это значит? Начдив — это командующий дивизией: красный генерал. Мое имя — Кочубей, и я красный генерал. Поняла?

Моя мама поняла и решила молчать и дожидаться прихода папы. Софья Филипповна с грустью смотрела на стол, приготовленный к пасхальному седеру с белой румяной булкой посередине, но она была женщиной умной и, вероятно, решила, что: "на войне, как на войне". Наконец, пришел мой отец.

— Ты, что ли, будешь мужем этой гражданки? — были первые слова, того кто называл себя Кочубеем, обращенные к моему отцу.

— Да, товарищ, она моя жена.

— Так знай, что я ее чуть-чуть не высек моей нагайкой.

— За что?

— Она мне комнаты давать не хотела. — За сим последовал подробный рассказ о его споре с мамой.

— Меня зовут Кочубей, и я начдив — красный генерал.

Папа не мало удивился, что перед ним был Кочубей. Какое отношение мог иметь этот дикарь, выходец из Средней Азии, к графам Кочубеям? но он решил, что лучше не спрашивать "генерала" о его родословной.

— Ладно, товарищ, — сказал ему примирительно отец, — не будем спорить и ссорится: я тебе уступаю нашу комнату.

— Вот это другое дело, товарищ, — обрадовался "Кочубей". — Мужик с мужиком всегда столкуется, а то, что с бабами спорить? — только время тратить.

Настал час ужина, мы все сели за стол. Кочубей, естественно, был тоже приглашен. Теперь он находился в отличном расположении духа, и перепробовал все пасхальные яства. Маца ему не понравилась, и нарезав ломтями свою белую булку, он роздал их всем присутствовавшим, Гефильте фиш он одобрил, и от других блюд не отказался. Ел он за двоих, а разговаривал за четверых:

— Видали, товарищи, мою шпагу? Она очень ценная. Ее мне подарил сам Троцкий. Когда я уезжал из Москвы, он мне сказал: "Кочубей, ты — моя правая рука. Без тебя на фронте дела не пойдут. Дарю тебе эту дорогую шпагу, в знак доверия и благодарности тебе советского правительства". А вы как думаете? Я, действитель-

но, правая рука Троцкого. Пока я у вас жить буду, вы все вдоволь иметь будете: и белый хлеб, и муку, и сахар, и мясо: все. Ваш дом, день и ночь, будет охраняться часовыми. Посмотрите в окно.

Действительно, перед домом стоял часовой. Встав со стола, Кочубей очень учтиво поблагодарил хозяев, и, при этом, шутливо погрозил маме пальцем, после чего отправился отдыхать в приготовленную для него комнату. Мы перебрались жить в столовую. Он нам не солгал: во все его пребывание в нашем доме, у нас ни в чем не было недостатка. Прожил он у нас около десяти дней, и сдружился со всеми членами семьи; но в особенности он полюбил моего отца. Перед отъездом, Кочубей вынул из кармана свою фотографическую карточку, на которой он был изображен в форме, при шпаге, словом: во всем своем великолепии. Подавая ее моему отцу, он сказал:

— Слушай, товарищ, я хочу тебе подарить мою фотографию. Возьми ее себе и напиши на ней: "На память товарищу Вейцману, в благодарность за оказанное мне гостеприимство". Напиши, а я подпишусь.

— Почему это я должен писать, товарищ? — удивился мой отец, — ты мне свою карточку даришь — ты и пиши на ней.

— Да я писать не умею, — последовал неожиданный ответ.

— Как же так ты не умеешь? Ты ведь начдив: дивизией командуешь.

— А на что мне, товарищ, писать уметь? Мне надо, на войне дивизией командовать, а не писать. У меня есть адъютант — он и пишет. А подписываться я умею. Писак страсть как много, а хороших начдивов, таких как я, раз, два и обчелся.

Мой отец написал на фотографии все то, что продиктовал ему Кочубей. Расстался он с нами очень дружески. Увы! дальнейшая его судьба была трагична; но о ней мы узнали много позже. В начале 1921 года, ростовским ЧК был открыт в Красной армии, центр антисемитской пропаганды. В нем участвовало несколько переодетых белых офицеров, а возглавлял официально его: начдив Кочубей. Тройка Особого Отдела ЧК их судила и приговорила всех к смерти. Была послана просьба на имя Калинина о помиловании; но еще раньше нежели пришел на нее ответ, был получен приказ Троцкого: "Не дожидаясь решения товарища Калинина, расстрелять их всех немедленно". Приговор был приведен в исполнение.

Бедный Кочубей! Его именем, несомненно, прикрывались несколько негодяев, а сам он, вероятно, так и не понял: за что его судят и казнят?

Позже, когда впервые я прочел "Полтаву" Пушкина, я долго не мог себе представить генерального судью, Василия Леонтовича Кочубея, иначе как в образе нашего несчастного гостя. Я до сих пор не понимаю: почему он себя называл Кочубеем?

ГЛАВА ПЯТАЯ: Доктор Яков Львович Беркман.

Всю зиму красные безрезультатно пытались взять Батайск. Много в эти месяцы полегло молодых жизней, на снежной равнине, за "Тихим" Доном. Настала весна; треснул и тронулся лед на реке, и разлилась она до самого горизонта.

Между Ростовом и Батайском теперь расстилалась не снежная, но водная равнина, и всякая возможность предпринять военные действия была, временно, устранена. К Ростову подходили все новые и новые подкрепления — красные готовились к летним боям. Через Таганрог ежедневно шли войска. Но и белые не дремали и, в свою очередь, готовились к контрнаступлению.

Когда, четыре года спустя, я учился в одной из ростовских школ, стоявших недалеко от обрыва над Доном, мне из окна класса виднелась степь, а за нею далекий Батайск. Во время весеннего разлива, Дон превращался в широкое озеро, и Батайск находился тогда на его противоположном берегу. Иногда, весной, слушая одним ухом учителя, я, украдкой глядел в окно и думал об отгремевших здесь боях.

Возвратимся к концу апреля 1920 года. Однажды утром, на парадной двери, вновь прозвучал неожиданный звонок. В те годы каждый звонок и каждый стук пугали обывателя. На этот раз дверь открыла бабушка. На пороге стоял молодой военный врач, и с ним его денщик.

— Простите, пожалуйста, — извинился пришедший, — вы хозяйка дома?

Получив утвердительный ответ, он протянул ей ордер на реквизицию комнаты:

— Я уверен, что вас стесню, но, что поделаешь! Меня прислало к вам местное военное начальство. Разрешите представиться: доктор Яков Львович Беркман. Только вчера прибыл из Харькова.

Услыхав еврейское имя, моя бабушка чрезвычайно обрадовалась, и ласково улыбаясь, попросила его войти в дом. Вышла к нему и мама.

— Ради Бога, не беспокойтесь: устройте меня где и как хотите.

Доктора успокоили, уверяя, что он никого не стеснит, и устроили его в столовой на диване, а денщика на кухне. Он попросил разрешения столоваться у нас, и приносил нам, в виде платы, часть своего военного пайка: немного хлеба, масла и сахара. Он был еще очень молод. Мама и бабушка прилагали все усилия, чтобы доктор чувствовал себя у нас, как у себя дома, и ухаживали за ним, как за собственным сыном (или внуком). Это отношение к нему его чрезвычайно трогало. Он нам рассказал, что недавно окончил харьковский университет, и всего четыре месяца как женат, и теперь очень скучает по своей молодой жене; при этом он показал нам ее фотографию. Молодые супруги обменивались ежедневными письмами. В одном из них его жена горячо благодарила моих родителей и бабушку, за оказанный ее мужу прием. Прожил он у нас около трех недель. Во время его пребывания в нашем доме, произошел инцидент, который мог окончиться трагически. Был воскресный день; доктор ушел в военный госпиталь, а мой отец, от нечего делать, отправился погулять по двору. Неожиданно, его глазам представилась следующая картина: Отец Алексей, у которого текли потолки, влез на крышу своего одноэтажного домика, и сидя на ней, старался ее починить. В это самое время денщик доктора, стоя посередине двора, целился из ружья в, ничего не подозревавшего, священника. Мой отец испуганно закричал:

— Товарищ, что ты делаешь?

— Хочу попа подстрелить; он, сукин сын, влез на крышу, и оттуда подает белым сигналы.

— Что ты, товарищ! Белые в Батайске, до них будет около ста верст. Какие сигналы он может им подавать с крыши своего домика?

— А уж я не знаю какие, а только он их, верно, подает.

Большого труда стоило моему отцу успокоить этого дурака, и заставить его опустить ружье. Когда он, наконец, ушел, папа закричал Отцу Алексею, который, не замечая грозящей ему опасности, продолжал спокойно ползать по своей крыше:

— Отец Алексей, немедленно слезайте вниз: вас хотят подстрелить.

Бедный священник с испуга чуть было не скатился с крыши во двор. Когда Яков Львович вернулся домой, мой отец рассказал ему о происшедшем, и тот, подозвав своего денщика, хорошенько его выругал. Перед своим отъездом он дал нам адрес жены в Харькове, и расставаясь, сказал моей матери:

— Я не знаю как лучше вам выразить мою благодарность! Я чувствовал себя у вас, словно в доме моих родителей. Пожелаю вам одного: если вашему сыну, которого вы так балуете, придется когда-нибудь очутиться вдали от семьи, чтобы он нашел такой же теплый и сердечный приют, какой я обрел себе у вас.

С этими словами он с нами простился. Мои родители просили писать, и получили от него одно единственное письмо из Ростова. Он в нем рассказывал о своей жизни в этом городе; говорил, что у него все обстоит благополучно, но, что такого сердечного приема, и таких людей как наша семья, он уже не встречал. Больше от него мы никаких вестей не имели. Мой отец написал его жене в Харьков, и вскоре получил от нее небольшое письмо, в котором она нам кратко сообщала, что ее муж был убит под Батайском.

ГЛАВА ШЕСТАЯ: Спиритический сеанс.

Скучно бывало по вечерам. Город оставался на военном положении, и выходить из дому, без разрешения властей, после десяти часов ночи, воспрещалось. И то сказать: куда пойдешь, когда все кинематографы и театры закрыты. Соседи собирались один у другого, и коротали время, до отхода ко сну, за картами или беседами. Почти каждый вечер к нам приходила моя учительница, Александра Николаевна, жившая теперь совсем рядом. Она, бедняжка, очень страдала от одиночества, и только у нас чувствовала себя как бы членом семьи.

Однажды, после ужина, к нам зашли супруги Рабиновы, родители Дины, и снова началась бесконечная и однообразная беседа: о войне, о тяжелом времени и о неопределенном будущем. Когда все обычные темы вечерних разговоров были исчерпаны — "пролетел тихий ангел". Над столом светила керосиновая лампа (в городе имелась электрическая станция, но почти не работала), за окном стояла теплая весенняя ночь.

— Давайте устроим спиритический сеанс, — предложила Александра Николаевна.

Все встрепенулись — предложение показалось заманчивым и, во всяком случае, способным разогнать скуку.

— Но как это делается? — заинтересовался Рабинов, — я слышал, что необходимо присутствие медиума.

Моя учительница объяснила, что это не обязательно, так как существуют различные способы вызывать духов.

— Вы в это верите? — заинтересовался мой отец.

— Я верю в существование загробной жизни, и в возможность сноситься с душами усопших.

— Объясните, пожалуйста, как это делается, — попросили хором все присутствующие.

— Очень просто: для этой цели берутся два листа белой бумаги, из коих один должен быть довольно большим, чайное блюдце, или тарелку и карандаш. На большом листе бумаги пишутся все буквы алфавита, безразлично в каком порядке, но печатным шрифтом, и этот лист кладется посередине стола. На блюдце рисуется карандашом маленькая стрелка, после чего его кладут перевернутым на лист с буквами. Один из присутствующих должен взять на себя роль секретаря, и вооружившись карандашом, записывать на другом листе бумаги все, что продиктует вызванный дух. С этой целью, все участники сеанса усаживаются вокруг стола, кладут на него локти, и пальцами рук слегка касаются блюдца и, одновременно, пальцев соседней руки, своей собственной или сидящего рядом другого участника сеанса. Таким образом образуется цепь. Взявший на себя роль секретаря тоже может участвовать, но должен стараться разрывать цепь как можно реже. Все присутствующие должны быть серьезными и верить, иначе ничего не выйдет. Дух вызывается громко, по имени, и его спрашивают: здесь ли он? Блюдце начинает ползти по бумаге, порой останавливаясь перед той или иной буквой, на которую указывает нарисованная стрелка. Секретарь записывает эти буквы на бумаге. Из них составляются слова. Духу задают различные вопросы. Вот и все.

Идея понравилась; достали блюдце, два листа бумаги и карандаш. На блюдце нарисовали стрелку, и следуя указаниям Александры Николаевны, все уселись вокруг стола. Жена Рабинова не пожелала активно участвовать в сеансе, но взяла на себя роль секретаря.

Я сидел в сторонке, и тихо, но с большим интересом наблюдал за взрослыми, страшась только одного: чтобы они не решили,

что, собственно, делать мне здесь нечего, и не отослали меня спать. Александра Николаевна указала на необходимость вооружиться некоторым терпением, так как, по ее словам, блюдце должно согреться. Действительно, по прошествии нескольких минут, оно стало ползать по бумаге, ведя за собой руки спиритов. Из букв, перед которыми оно порой останавливалось, никакие слова не составлялись. Начали вызывать духов. Как известно, на моей Родине, в подобных случаях, одним из первых вызывается дух Пушкина. Великий поэт бывает неизменно любезен, и является на вызов, не заставляя себя долго ждать. Он охотно отвечает на все задаваемые ему вопросы, впрочем, совершенно невпопад. После Александра Сергеевича вызывались духи других великих людей, с большим или меньшим успехом. Блюдце ползало по бумаге и, порой, останавливалось где ему вздумается. Вообще, на подобных сеансах, каждый из участников, часто подсознательно, а иногда и вполне сознательно, толкает блюдце куда ему хочется. Однако, много позже, из моего собственного опыта, я убедился, что все это не так просто и глупо как кажется. Об этом рассказ впереди. Я лично убежден в существовании в природе иррациональных явлений, и предполагаю, что Господь создал нашу вселенную не из одной только материи. Но возвратимся к сеансу. После одного из довольно нелепых ответов, не помню какого великого человека, мой отец сказал:

— У меня, во Владикавказе, проживали два моих троюродных брата: Моисей и Иосиф Городецкий. — Мне известно, что Моисей умер еще в конце 1918 года, но, что стало с его братом — я не знаю. Я хочу вызвать дух Моисея Городецкого и спросить его об этом: Моисей, ты здесь?

Блюдце остановилось совсем. Несколько раз мой отец пытался вызвать дух своего троюродного брата, но безуспешно. Наконец, когда он уже был готов оставить дальнейшие попытки, блюдце начало двигаться, и составились следующие слова:

"Здесь кладбищенский сторож. Моисей Городецкий прийти не может. Я отвечу за него: Иосиф Городецкий недавно умер".

Блюдце остановилось и не желало больше ползать по бумаге. На этом спиритический сеанс окончился. В заключении скажу, что менее чем через год, когда сообщение, с освобожденным от белых Кавказом, полностью возобновилось, и из Кисловодска приехал, проживавший там брат папы, дядя Володя, этот послед-

ний сообщил нам, что, действительно, в начале весны 1920 года, во Владикавказе, умер Иосиф Городецкий.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Переезд на новую квартиру.

Пока под Батайском красные готовились к решительным боям, в тылу новая власть продолжала ломать все устои и привычки старой жизни. В мае месяце вышел декрет об уплотнении. Семья из двух или трех человек должна была помещаться в одной комнате. В остальных комнатах квартиры, если они оказывались свободными, власти вселяли, в принудительном порядке, всех тех кому не было где жить. Мера, надо сказать правду, принимая во внимание исключительно тяжелые условия существования тех страшных лет, была совершенно правильной; комнаты не должны были пустовать. Советская Власть, как и природа, пустоты не терпела.

На углу Чеховской улицы и Полтавского переулка жил, со своей женой Аграфеной Михайловной, брат моего покойного дедушки, Иосиф Моисеевич; тот самый, которого мы, дети, величали Дедушкой Морозом. Во втором этаже этого дома ему принадлежала квартира, состоящая из четырех комнат, кухни и двух коридоров. В одну из комнат вселили инженера местного металлургического завода: Георгия Никифоровича Якименко-Камышана с женой. Его супруга, недоучившаяся женщина — врач, работала в больнице в качестве фельдшерицы. Звали ее: Анна Марковна. На этот раз моему двоюродному дедушке очень повезло, так как они оказались чудесными людьми. Но оставались две комнаты пустыми, и мой двоюродный дед, не без основания, опасался, что к нему вселят неведомо кого, и в квартире может легко создаться настоящий ад. Когда у трех или четырех семейств — одна кухня и одна уборная, жизнь в такой квартире становится весьма тяжелой. По этой причине, Иосиф Моисеевич стал умолять всех своих родственников, проживавших в Таганроге, переезжать к нему на квартиру. Первыми на его просьбу откликнулись мы. К этому времени дядя Миша покинул свою, слишком фешенебельную для эпохи, квартиру на Николаевской улице. Случайно он нашел другую, в Полтавском переулке, напротив дома моего двоюродного деда. Новая квартира дяди Миши помещалась во втором этаже, и состояла тоже из четырех комнат, кухни и других удобств. Одну из комнат занял он сам, с тетей Аней, в другую поместил

своего двухлетнего сына, Женю, вместе со старушкой — няней, а третью отдал своей матери. Четвертая комната пока пустовала. Моя учительница, Александра Николаевна, узнав о предстоящем переезде, поспешила найти себе комнатку, у какой-то пожилой женщины, в пяти минутах ходьбы от нас.

Первого июня, простившись с нашими соседями, мы все переехали в Полтавский переулок, и поселились один недалеко от другого.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

В Полтавском переулке.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: У Дедушки Мороза.

Итак мы поселились у Дедушки Мороза. От его комнаты нас отделял только коридор. Наше окно выходило во двор. В комнате, рядом с нами, жил со своей женой, тот самый инженер, о котором я говорил выше. Двор был огромный, и находился в ужаснейшем запустении. В глубине его был некогда разбит небольшой сад, но теперь, разгороженный, он оставался без всякого ухода. В нем росли акации и деревья, которые у нас называются уксусными. В него выливались помои из всех домов, выходивших на наш двор, так что благородное слово: сад, сделалось для всех нас синонимом помойной ямы. Во дворе лежали, один на другом, с десяток, неизвестно кем и когда, срубленных деревьев, и они стали моим излюбленным местом игр и мечтаний. Взобравшись на них, я представлял себе, что нахожусь на борту корабля, в голубых пространствах бескрайнего океана, и совершаю на нем кругосветное путешествие, полное опасностей и приключений. Иногда эти срубленные деревья в моем воображении превращались в летающий аппарат. Часто, сидя на них, я читал книгу. К этому времени у меня начала развиваться страсть к чтению, и я прочитывал все, что мне попадалось в руки. Не всегда эти книги соответствовали моему возрасту; но, что за беда! Однажды, это было двумя годами позже, мне попалось непонятное слово: кокотка. Я спросил у мамы об его значении. Моя мать заинтересовалась книгой, читаемой ее десятилетним сыном, но убедившись, что ничего опасного в ней нет, оставила ее мне, объяснив, что

кокоткой называется женщина продающая за деньги свою любовь. Я это понял по-своему, и удовлетворился. Вообще мои родители никогда не рассказывали мне глупостей про капусту и аистов. Когда мне еще не было трех лет, я раз спросил у моей няни:

— Няня, как дети рождаются?

Умная старушка мне ответила:

— А я, дорогой, не знаю; пойди спроси маму.

Я побежал к маме и задал ей тот же вопрос.

— А вот так как цветочки, — ответила мне она. — Вначале ничего нет, потом маленький бутончик появляется, потом он делается все больше и больше и, наконец, распускается в цветок. Вот так и дети.

В первом этаже нашего дома жила русская семья Семеновых: муж, жена и четырехлетняя дочь. Муж, при прежнем строе, был лавочником, а, что он делал при новом — мне было неизвестно. Эти Семеновы проявляли себя всегда большими юдофобами, и мы с ними не встречались. В глубине двора жила другая русская семья: Харитоновы. Она состояла из: мужа рабочего завода, жены и троих детей: Вали, Коли и Нонны. Люди они были совсем простые, но очень милые. Старшая дочь, Валя, уже совсем взрослая девушка, была, как говорится, на выданьи, и ждала женихов. У нее был тип настоящей русской красавицы — прямо из сказки. Брату ее, Коле, было лет тринадцать, а Нонне, моей будущей приятельнице и участнице всех игр, лет девять. Кроме трех детей, полноправным членом этого семейства, являлся ублюдок собачей породы, по имени: Барзик. Собаки, в своем огромном большинстве, имеют характер честный и прямой; но такого подлеца как он, я редко встречал даже среди людей. Маленький, уродливый, смесь всех рас, этот дрянной пес, всегда старался подкрасться сзади, в полном молчании, к выбранной им жертве, и укусить ее за ногу, после чего, весьма удовлетворенный, спокойно удалиться. Если в его присутствии кто-нибудь ел, умный пес вилял хвостом, и с умильным видом просил себе подачки. Получив ее, Барзик, с жадным видом, набрасывался на предложенную ему еду, и пожирал ее немедленно. Покончив с ней он тотчас просил второго куска, но если замечал, что ждать ему больше нечего, то всякий раз пытался незаметно обойти, давшего ему лакомство, и укусить за ногу. Я боялся этого пса, и ненавидел всем сердцем. Рядом с нашим домом жил инженер Дружинин. Его сын Боба был двумя

годами моложе меня. С другой стороны двора проживало многочисленное греческое семейство. Его глава, гражданин Софьянопуло, где-то служил. Этот умный и хитрый грек говорил по идыш, как настоящий еврей. Его жена, красивая и несколько высокомерная гречанка вечно хворала. Их младшая дочь, Катя, была со мной однолеткой. Она походила на мать: такая же красивая и гордая. Когда мы оба подросли, то сделались друзьями. Один из ее старших братьев впоследствии стал моряком.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Белые прорвали фронт.

С возвращением хорошей погоды, под Батайском возобновились сильные бои. Фронт находился всего в ста километрах от нашего города, но Таганрог жил жизнью глубокого тыла. Население пыталось, с бóльшим или меньшим успехом, приспособиться к новым порядкам. В начале мая, Резников, муж сестры тети Ани и отец Коли и Сережи, решил с двумя своими приятелями кутнуть, то есть, попросту усесться вокруг стола, и за бутылкой водки и куском селедки, дружески побеседовать. Селедку достать было нетрудно; но как раздобыть водку? "Да не будет тому помехой сухой режим!" — решил наш родственник, и у одного своего знакомого аптекаря, за соответствующую плату, купил литр отличного этилового спирта. В России всем известен этот рецепт: 50% алкоголя пригодного для питья, плюс 50% простой воды и кусочек лимонной корки. Все это смешивается в бутылке, охлаждается, и распивается в теплой компании. Так и они поступили; но, к несчастью, кто-то донес. Все участники этого "преступления" были арестованы и посажены в ЧК. Ничего, конечно, им не угрожало, и после кратковременной отсидки, все они должны были быть отправлены по домам. Еще Великий Князь Владимир Святой сказал: "Есть Руси веселье пити". Можно ли идти против подобного авторитета? Даже большевики не смели помышлять об этом. Но в революционное время надо быть сугубо осторожным.

В конце весны мой отец немного простудился, и получив в Санупре четырехдневный отпуск, лег в постель. В полдень следующего дня, в городе разнесся тревожный слух о контратаке белых и прорыве ими фронта. К вечеру стало известно, что Ростов пал, и белые форсированным маршем идут на Таганрог. Вновь, в моем

тихом городе, поднялся шум: шли войска, тянулись обозы. Все напоминало жителям последние дни белых. Чувствовалось начало эвакуации. Утром следующего дня к нам явился какой-то военный; дверь ему открыла мама.

— Здесь живет служащий Санупра товарищ Вейцман?

— Здесь, я его жена, но он нездоров, лежит в постели, и вас, товарищ, принять не может.

— Передайте ему, товарищ, эту повестку: он должен спешно явиться на место своей службы: мы отступаем.

— Но он болен! — вскричала встревоженная мать.

— Болезнь тут ни при чем; пусть возьмет с собой все необходимые ему вещи, и как можно скорей идет в Санупр.

— Но, товарищ, я вам уже сказала, что он лежит в постели; ему дали четырехдневный отпуск.

— Вы что, товарищ, по-русски не понимаете? Я вам, кажется, сказал довольно ясно: мы отступаем. Белые прорвали фронт и идут в Таганрог. Товарищ Вейцман служит в военном учреждении, и является как бы военным, а военные обязаны следовать за своей армией. Теперь понятно?

— А мы?! — воскликнула мать. — Что будет со мной и моим восьмилетним сыном, когда придут белые?

— Понимаю, товарищ, и, поверьте, сочувствую, но ничего поделать не могу. Наших жен и детей мы с собой не таскаем. Во всяком случае я вас предупреждаю, что если ваш муж не явится до полудня в Санупр, за ним пришлют двух красноармейцев. Прощайте, товарищ! — С этими словами он ушел.

Мой отец встал, оделся и вновь, как это уже было не раз, попрощался, быть может навсегда с мамой и со мной. В этот день мы обедали без отца; мама плакала и почти ничего не ела. К трем часам дня волнение в городе стало понемногу утихать, а к пяти стало известно, что белые остановлены и, перейдя в наступление, красные приближаются к Ростову. В половине восьмого вечера, вернулся домой усталый отец. Ночью в отдалении грохотали пушки. Дня через два Ростов снова был взят красными, а вскоре конная армия Буденного вдребезги разбила белых и взяла Батайск. Теперь остатки добровольческой армии в полном беспорядке отступали на Кубань. Генерал Деникин, сдав верховное командование генералу, барону Врангелю, уехал во Францию. Исход гражданской войны был решен. Но в ночь прорыва белыми фронта, в Таганроге разыгралась трагедия. Говорят, что председатель

местного ЧК был совершенно пьян, и на вопрос о том, что делать со всеми арестованными кратко ответил: "Расстрелять!" На рассвете, несчастные, под конвоем вооруженных солдат, были выведены за город и у стены русского кладбища — расстреляны. Среди них находился и Резников. Одна таганрогская торговка, у которой он покупал яйца, знавшая его очень хорошо, шла рано утром с товаром на Новый Базар, и встретила по дороге страшное шествие. Она сразу узнала нашего бедного родственника. Эта торговка потом рассказывала, что он, идя, уронил и разбил свои очки, и будучи сильно близоруким, шел все время спотыкаясь, а конвойный толкал его в спину прикладом своего ружья.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Моя кузина Женя.

Когда, в начале осени 1920 года, я впервые увидел мою кузину, ей было около двенадцати лет, а мне около девяти. В то время она была высокой, худощавой девочкой-подростком; длинноногая, длинноносая, с шапкой черных, слегка курчавых, волос, и с веснушками на лице. Такой, по крайней мере, сегодня, более чем через полвека, мне представляется Женя. Ни один человек, кроме моих родителей, не имел на меня такого огромного влияния, как она.

Женя была дочерью дяди Володи, третьего брата моего отца. В июле 1920 года она потеряла свою мать. Тетя Лена, жена дяди Володи, была, по словам моей матери, хорошо ее знавшей, очень интересной женщиной. Совсем молодой, еще до своего замужества, она примкнула к левому крылу социал-демократов. За активную пропаганду среди женщин — работниц какой-то фабрики, царский режим приговорил ее к году тюрьмы. Когда тетю вели в нее, работницы забастовали и вышли к ней навстречу приветствовать ее. Слабая здоровьем, моя тетя не выдержала тюремного заключения и заболела туберкулезом. Проболев много лет, она скончалась в Кисловодске, вскоре после взятия его красными. Всю свою жизнь, пока ей совсем не изменили силы, мать Жени продолжала участвовать в борьбе за свои идеи. После ее кончины, дядя Володя и Женя переехали в Таганрог, и поселились у дяди Миши, в его последней еще свободной комнате. В самый короткий срок я полностью попал под влияние моей двоюродной сестры. Первое время она очень грустила по своей матери и, может быть, неистра-

ченный избыток своих чувств, эта девочка перенесла на меня. В куклы Женя никогда не играла, и их не любила. Вскоре она стала следить за моим воспитанием. Может быть это занятие отвлекало ее от черных мыслей и заглушало в ней чувство тоски. Что касается меня, то я был по-настоящему, хотя и по-детски, в нее влюблен. Не следует, однако, думать, что она была всегда нежна и ласкова — эта маленькая женщина умела больно царапаться. Вообще, в моей кузине было что-то кошачье. Она щурилась, потягивалась и поводила плечами как большая кошка. Между прочим, мяукать Женя умела в совершенстве, и этому трудному искусству научила и меня. Она умела ласкать мягкими, бархатными лапками, из которых, порой, выходили наружу острые коготочки, и тогда я плакал от душевной боли и обиды. Когтями ей служили насмешки: часто остроумные и хлесткие, а, нередко, и злые. По вине моего "барского" воспитания, в эпоху моего раннего детства, я был, как говорится, "размазней". Женя сразу меня окрестила: мямлей и рохлей. Она любила участвовать в наших детских забавах, и когда Нонна, Катя, Боба и я, собирались на улице перед домом для игры в "латки", "колдуна", или "горелки", Женя охотно присоединялась к нам, и бегала с нами взапуски. К этому времени моя мать выписала из Мариуполя своих престарелых родителей и они поселились в последней свободной комнате в квартире Дедушки Мороза. Глядя на наши игры из своего окна, моя бабушка, Софья Михайловна, часто возмущенно говорила маме:

— Посмотри, Нюта, на Женю, такая взрослая девочка, а бегает на своих длинных ногах в компании детей. Как ей не стыдно!

Но Жене стыдно не было, и с игр она начала мое воспитание. Почти во всякой игре, хотя бы малостью спортивной, всегда есть доля риска, и если она замечала, что я боюсь, то называла меня трусом, и долго потом высмеивала. Вскоре она стала серьезно следить за моим чтением. Раз как-то я раздобыл себе роман Майн Рида, и зачитался им. Индейцы и бледнолицые братья, вигвамы и трубки мира: все это было чрезвычайно занимательно. Увидав у меня эту книгу, она ее отобрала, и с едким и злым юмором раскритиковала весь сюжет. Расправившись с Майн Ридом, Женя безаппеляционно заявила, что я не должен читать подобную ерунду, но, что она достанет мне книги такого автора, произведения которого будут умны, и занимательны, и полезны. Через несколько дней она мне принесла: "Дети капитана Гранта" Жюль Верна. С тех пор он стал одним из моих любимейших писателей послед-

них лет моего детства. Я прочел его знаменитую трилогию: "Дети капитана Гранта", "Восемьдесят тысяч верст под водой" и "Таинственный остров". За этой трилогией последовало: "Путешествие капитана Гаттераса" и т. д. Теперь, сидя на срубленных деревьях, я читал, держа перед собой географическую карту, или мечтал, воображая себя одним из героев любимого автора, например: капитаном Немо. Когда мне исполнилось одиннадцать лет, и я перечитал все произведения Жюль Верна, которые только мне удалось достать, Женя познакомила меня с романами Герберта Уэльса. Это было уже ступенью выше. Какая гениальная научная фантазия: "Когда спящий проснется", "Борьба миров", "Машина времени", "Невидимка" и ряд других подобных романов. Странная девочка! Сама еще почти ребенок, она серьезно и последовательно взялась развивать мой ум чтением хороших книг, и это ей я обязан любовью к русской классической литературе. Часто Женя садила меня возле себя на диване, и читала вслух Пушкина. Кроме ряда стихотворений величайшего русского поэта, она прочла мне его поэму-сказку: "Руслан и Людмила". Воображение у меня было довольно богатое, а читала она прекрасно, и я совершенно ясно видел морской залив, на берегу которого растет старый дуб; к дубу, золотой цепью, прикован ученый кот, который ходит вокруг него и, то рассказывает свои чудесные сказки, то поет песни. Великолепная пушкинская небыль! Подобно тому как с игр Женя начала мое воспитание, так через радужные ворота сказок она ввела меня в храм русской классической литературы. От Пушкина она перешла к Гоголю. Некоторых героев, читая, Женя старалась представлять мне в лицах. С чтением Гоголя передо мной открылись новые литературные горизонты. Смешные приключения кузнеца Вакулы и чорта в "Ночь под Рождество"; тонкая поэзия его другой сказки: "Майская ночь или Утопленница"; ужасный колдун из "Страшной Мести", или еще более ужасная мертвая ведьма, из повести "Вий", летающая по воздуху, в своем гробу, в глухую ночь, внутри запертой церкви; все это, в талантливой передаче Жени, наполняло мою душу неизъяснимым очарованием. Но внушив мне сказками любовь к плеяде русских классиков, она вскоре привела меня к поэту Некрасову, которого моя кузина особенно любила, и эту любовь я перенял от нее и сохранил до сего дня. Однажды Женя мне сказала:

— Теперь я тебе прочту замечательную поэму: "Русские женщины" — слушай ее внимательно:

Покоен, прочен и легок
На диво слаженный возок;

Сам граф — отец не раз, не два
Его попробовал сперва.

. . . .

Творя молитву, образок
Повесил в правый уголок

И — зарыдал... Княгиня — дочь...
Куда-то едет в эту ночь...

Огромное и неизгладимое впечатление произвела на меня, тогда десятилетнего мальчика, эта поэма, и сильно повлияла на мой характер. Она создала во мне особый взгляд на жизнь, и глубокое уважение к женщине — другу, ставшему впоследствии моим идеалом.

Как великолепно звучат прощальные слова дочери, обращенные к рыдающему отцу:

"Далек мой путь, тяжел мой путь,
Страшна судьба моя,
Но сталью я одела грудь...
Гордись — я дочь твоя!"

Бедная "Каташа" Лаваль!

Однажды, в Италии, просматривая какой-то русский журнал, я наткнулся на ее портрет. Со страницы на меня глядело миленькое, немного скуластое и курносенькое, совсем простенькое, ничем не замечательное личико. И это была та самая женщина, которую я воображал какой-то легендарной героиней. Но в его простоте и сказывалось все величие подвига. Она была самой обыкновенной женщиной — совсем не, закованной в стальные доспехи, Жанной д'Арк; но я думаю, что она была чем-то выше освободительницы Орлеана.

Длинная, бесконечная, ужасная дорога, через ледяные сибирские просторы. Ночь, звездное небо и на нем круглая луна. Княгине кажется, что это совсем не небо, но лист бумаги исписанный рукой Императора. Звезды — золотой песок, которым посыпан был лист для просушки чернил. Золотые песчинки прилипли к нему и блестят. Разве это — месяц? Это — печать привешенная к царскому разрешению.

Печально звучит голос Жени, когда она мне читает эти строки. Я сижу и, завороженный ее чтением, вижу: возок, сибирскую, вьюжную ночь и сон княгини. Вот: Сенатская площадь, Медный Всадник, толпы бегущего народа, войска, крики, грохот пушек. Но вот голос кузины делается более спокойным, и она просто повествует:

Ее в Иркутске встретил сам
Начальник городской;
Как мощи сух, как палка прям,
Высокий и седой.
Сползла с плеча его доха,
Под ней — кресты, мундир.

Теперь начинается моральная пытка бедной женщины. Чего только не сулил, чем только не пугал и не угрожал ей этот "почтенный бригадир"! Голос Жени делается все патетичней, и звучит, в ответ на едкие слова иркутского губернатора:

"А он, не думая о том,
    Что станется с женой
Увлекся призраком пустым,
    И — вот его судьба!..
И что ж?.. Бежите вы за ним,
    Как жалкая раба!"

гордым и горьким протестом:

"Нет! я не жалкая раба,
    Я женщина, жена!"

У десятилетнего мальчика, слушающего эти строки, холод восторга пробегает по спине.

"О, если б он меня забыл
    Для женщины другой,
В моей душе достало б сил
    Не быть его рабой!
Но знаю: к родине любовь
    Соперница моя,
. . . ."

Бедная Екатерина Трубецкая! Ни ей, ни ее мужу не суждено было вернуться на Родину. А вторая "Русская женщина" — княгиня Волконская! Мария Николаевна Волконская, дочь генерала Раевского, была действительно, красавицей, и в нее был влюблен молодой Пушкин. Он посвятил ей свою поэму — "Полтава". Как гениально описал Некрасов борьбу этой женщины с собствен-

ной семьей! Женя все это мне читала и объясняла, а я слушая ее, переносился в те далекие времена.

Эта поэма, вместе с другими произведениями Некрасова, развили у меня не только уважение к женщине, но и какую-то революционную романтику, позднее убитую жизненным опытом.

Конечно — Женя была дочерью своих родителей: ее мать, тетя Лена, жизнью заплатила за свой идеал; а дядя Володя, несмотря на его отказ вступить в коммунистическую партию, и его верность социал-демократическим идеалам, был настолько уважаем новыми властями за его революционное прошлое, что, не в пример дяди Миши, ни разу не был арестован.

Несмотря на свое превосходство надо мной, и частые насмешки, Женя очень привязалась ко мне, и полюбила меня как младшего брата. Однажды она заболела брюшным тифом. Как только ей стало легче, и температура немного упала, я стал просиживать целые дни у ее постели, и если мне случалось не придти, то она начинала тосковать и спрашивать у окружающих о причине моего отсутствия. Уже совсем взрослой девушкой, в одном из своих писем ко мне в Италию, она созналась мне, что я был для нее самым близким и самым любимым из всех ее двоюродных братьев.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Обыск.

Осень 1920 года. Белые эвакуировали Кубань и, под командованием генерала, барона Врангеля, с остатками разбитой армии, морем переправились в Крым, и там заперлись в нем, как в крепости. Бывший верховный главнокомандующий добровольческой армией, генерал Деникин, покинул навсегда Россию, и уехал во Францию. Красные подошли к Перекопскому перешейку. Троцкий назначил верховным главнокомандующим крымским фронтом Красной Армии, командарма Фрунзе. Обе враждующие стороны готовились к последней схватке. За десять тысяч верст оттуда, на Дальнем Востоке, генерал Семенов, заменив расстрелянного в Иркутске адмирала Колчака, все еще упорно пытался продолжать гражданскую войну, и развертывал свой фронт вдоль манчжурской границы и тихоокеанского побережья. Все эти события, мало-помалу, перестали серьезно интересовать жителей моего родного города. Приходилось ежедневно изощряться в поисках средств к существованию, так как продовольствия становилось

все меньше и меньше, а совзнаки продолжали падать в цене. Кроме того, перед глазами обывателей, денно и нощно, маячили два пугала: сыпной тиф, свирепствовавший все сильнее и сильнее, и ЧК. Не скажу чтобы в городе были постоянные расстрелы: расстреливали, конечно, и даже довольно много, но массового террора не помню. Однако, риск, не за что, не про что, попасть в ЧК, висел над каждым "свободным" гражданином, как Дамоклов меч. В Таганроге начались частые обыски. Между тем, жизнь в нашем доме кое-как наладилась. Мои родители близко сошлись с супругами Камышан. По вечерам, возвратившись со службы, мой отец и Георгий Никифорович садились играть в "шестьдесят шесть". Глядя на них, я выучился этой игре, и достиг в ней известной степени совершенства. Мама и Анна Марковна полюбили друг друга, как две сестры, и так как топлива не хватало, а в холодной кухне было неуютно, то они решили готовить еду на примусах, попеременно: один день в нашей комнате, а другой день в комнате Камышанов. Анна Марковна, трижды в неделю, работала по утрам в больнице. В эти дни мама "кухарила" у нее. Однажды, это было в средних числах октября, моя учительница, Александра Николаевна, у которой я продолжал ежедневно брать уроки, попросила мою мать спрятать в нашей комнате все те дорогие ее сердцу, но компрометирующие ценности, которые она еще при белых нам показала, мотивируя эту просьбу тем, что у нее может легко произойти обыск: она — дворянка и из военной семьи; а нас обыскивать не станут: мы — евреи, мой отец — советский служащий, член профсоюза, и при том работает в военном учереждении. Эти доводы убедили мою мать, и заручившись согласием отца, она приняла пакет с царским портретом, со старорежимными орденами, и с фотографиями людей, одетых в офицерские мундиры с погонами, и все это спрятала у себя под кроватью. Согласившись хранить в своей комнате подобный пакет, мои родители поступили очень неосторожно, и мой отец рисковал своей жизнью.

Наступил ноябрь. Власти желали пышно отпраздновать третью годовщину большевистской революции. Кто-то донес в ЧК, что проживающие в Таганроге меньшевики готовят 7 ноября контрманифестацию местных рабочих. Был наскоро составлен список всех социал-демократов, на предмет их превентивного ареста. Предполагалось посадить их всех в тюрьму дня за два до праздника, а на следующий день после него — освободить. Такая мера, сама по себе, страшной не была, но арестованным грозила опас-

ность заразиться в тюремной камере сыпным тифом. В список, подлежащих аресту, как мы потом узнали, попал и дядя Миша. Пока что, все эти меры держались от обывателя в строжайшей тайне.

Пятого ноября, мой отец, как всегда, отправился на свою службу. Неожиданно, в конце утра, к нам явились два чекиста. В этот день Анна Марковна была в больнице, и мама в ее комнате варила на примусе борщ. Дверь незванным гостям открыл мамин отец.

Чекист: Здесь живет гражданин М. Д. Вейцман?

Дедушка: Здесь.

Чекист: Могу я его видеть?

Дедушка: Он на службе.

Чекист: А вы кем, гражданин, будете?

Дедушка: Я отец его жены.

Чекист: А она где?

Дедушка повел их к маме, в комнату Камышан.

Чекист: Вы, гражданка — жена М. Д. Вейцмана?

Мама: Жена.

Чекист: Где он?

Мама: Он на службе в Санупре. Зачем он вам?

Чекист: У меня приказ сделать обыск у гражданина М. Д. Вейцмана, а самого его арестовать и препроводить в ЧК.

Затем, обращаясь ко второму чекисту, его сопровождавшего, сказал:

— Товарищ Лешко, пойди и приведи сюда управдома.

Уже с лета, по приказу властей, в каждом доме был выбран управляющий, который, в некотором роде, отвечал за все в нем происходившее, и являлся доверенным человеком ЧК. В нашем доме, на эту должность выбрали Семенова. По-видимому, как бывший лавочник, он затруднялся найти себе постоянную службу, и часто сидел дома. Когда ему предложили этот пост, он с радостью согласился, вероятно чая этим путем заслужить благоволение у новых властей. Тот, кого старший чекист назвал товарищем Лешко, отправился искать Семенова, так как в отсутствии управляющего домом, обыск не мог быть производим. У моей матери, как молотом, ударила в голову мысль: "Боже мой! Под кроватью лежит пакет Александры Николаевны. Если его найдут — да и как не найти! Мося будет арестован и, наверное, расстрелян".

К счастью мама не растерялась, и минуты через три, с кастрю-

лей варящегося борща в руках, вышла из комнаты, как если бы этот маневр был необходим для его приготовления. Чекист не обратил на него никакого внимания, и с интересом разглядывал помещение, в котором он находился.

Поставив кастрюлю на пол, она схватила компрометирующий пакет, и бросила его, прямо через коридор, в открытую дверь спальной моего двоюродного деда. Так как ордер на обыск касался только нас, никто другой ничем не рисковал. Теперь моя мать спокойно вернулась обратно, и вновь начала мешать в кастрюле деревянной ложкой, водворив ее предварительно на горящий примус. Минут через пять явился товарищ Лешко, в сопровождении весьма довольного Семенова. "Теперь приступим к обыску", — сказал старший чекист. "Пожалуйте, граждане, ко мне", — ответила спокойно моя мать. Старший чекист удивленно поднял брови:

— Разве это не ваша комната?

— Нет, гражданин, это комната инженера Якименко-Камышана, в отсутствии его жены, она дежурит сегодня в больнице, я готовлю в их комнате, а в другие дни мы обе готовим обед у меня.

— В таком случае ведите нас к вам.

После того, как они перевернули у нас все вверх дном и, конечно, ничего не нашли, чекист составил протокол, расписался сам, велел расписаться двум другим и моей матери, и заявил:

— Возьмите, гражданка, повестку, и передайте ее вашему мужу; скажите ему, что он должен немедля явиться в ЧК.

— Хорошо, гражданин, но одного только я боюсь: сегодня вы его посадите, а на завтра, конечно, выпустите — незачем его держать под арестом, а он, между тем, заразится сыпным тифом.

— Это, гражданка, не мое дело, — сухо возразил чекист, и кивнув слегка головой, ушел.

Мама уже сообразила, что ищут, вероятно, дядю Мишу, и к нам попали ошибкой. Надо было предупредить тетю Аню. Эту миссию взяла на себя Аграфена Михайловна, жена Дедушки Мороза. Сама мама не хотела отлучаться от дома. Тетя Аня поспешила на место службы ее мужа, посоветовать ему не возвращаться домой дня три или четыре. Часа через полтора, к нам прибежала взволнованная Александра Николаевна:

— Мне сказали, что у вас был обыск!

— Да, — ответила мама, — на этот раз все обошлось благополучно, но, пожалуйста, берите ваш пакет и несите его куда хотите.

— Конечно, конечно: какой ужас! Что было бы если бы его нашли?!

И она схватила злополучный пакет и унесла его, поспешно, к себе.

Перед вечером вернулся со службы мой отец. Узнав о случившемся и прочтя повестку, он похвалил мою мать за находчивость, и успокоил ее:

— Если зовут то надо идти, но я не сомневаюсь, что ищут Мишу; не волнуйся, пожалуйста, я, часа через два вернусь домой.

Он не ошибся.

При входе в здание ЧК, отец предъявил повестку и был направлен в кабинет следователя, подписавшего приказ об аресте и обыске.

Между ним и моим отцом произошел следующий диалог:

Чекист: Садитесь, пожалуйста, гражданин. Вы — М. Д. Вейцман?

Отец: Да, меня зовут: Моисей Давидович Вейцман.

Чекист: Следовательно: М. Д. Вейцман?

Отец: Да.

Чекист: Вы — социал-демократ? Меньшевик?

Отец: нет.

Чекист: Но вы — М. Д. Вейцман?

Отец: Да.

Чекист (просматривая перед ним лежащие бумаги): В таком случае вы — социал-демократ.

Отец: Я вам повторяю, что я не социал-деморкат, и никогда им не был.

Чекист: Нет, гражданин Вейцман, вы — социал-демократ.

Отец: Послушайте, гражданин следователь, выдь вы — коммунист?

Чекист: Конечно.

Отец: Будучи коммунистом, вы являетесь так же социалистом?

Чекист: Да, если хотите; но при чем эти вопросы?

Отец: Если бы вас, члена Российской Социал-Демократической Рабочей Партии большевиков, допрашивала бы царская охранка, и вы, при первом же допросе, отказались бы от вашей принадлежности к Партии большевиков — каким бы вы тогда были коммунистом?

Чекист: Пожалуй — верно.

Отец: Если я вам говорю, что я не социалист — я не лгу.

Чекист: Правильно! Но вы — М. Д. Вейцман?

Отец: Я — Моисей Давидович Вейцман.

Чекист: Присяжный поверенный?

Отец: Нет. По моей специальности я — хлебник.

Чекист: Как?! Вы и не меньшевик и не адвокат?

Отец: Нет: я не меньшевик и не адвокат.

Чекист: Ничего не понимаю! У вас, в Таганроге, имеется брат?

Отец: Даже два.

Чекист: Как их зовут?

Отец: Владимир Давидович и Михаил Давидович.

Чекист: Михаил Давидович Вейцман?

Отец: Да.

Чекист: М. Д. Вейцман?

Отец: Да.

Чекист: Он — присяжный поверенный?

Отец: Да.

Чекист: Так это он! Простите, пожалуйста, гражданин: тут вышло небольшое недоразумение. Вы, конечно, свободны.

Отец: Могу идти?

Чекист (улыбаясь): Нет, гражданин, погодите минутку: так вас не выпустят. Вы, что думаете? что у нас можно свободно входить и выходить? Хороши мы бы были!

С этими словами он взял лежащий перед ним бланк, заполнил его, подписал, поставил печать, и протянув его отцу, прибавил:
— В дверях, при выходе, отдадите этот пропуск дежурному товарищу. Добрый вечер!

Что касается дяди Миши, то он, в течении четырех суток не возвращался к себе домой; но никакого обыска у него не сделали, и никто его не искал.

Все хорошо, что хорошо кончается!

ГЛАВА ПЯТАЯ: С Новым Годом!

Третья годовщина Октябрьской революции была ознаменована военным парадом и шествием советских служащих и рабочих. Мой отец принимал в нем участие. К этому времени пришли вести о начавшихся сильных боях под Перекопом. 11 ноября, командарм Фрунзе дал приказ о наступлении. Дул сильный Норд-Ост; белые косили красноармейцев из пулеметов, а с моря били по наступающим пушки с военных судов Антанты. Красные шли и падали,

а через их трупы шагали, и тоже падали, уступая место все новым и новым атакующим воинам; а над всем этим завывал ледяной Норд-Ост. 12 ноября, после почти сорокавосьмичасового боя, Перекопский перешеек был взят, и дорога в Крым — открыта. 15 ноября пал Севастополь. Барон Врангель с остатками своих войск и с семьями офицеров, бежал морем в Турцию, 16 ноября 1920 года пала Керчь, и с ее падением окончилась гражданская война в европейской России. Оставалось заключить мир с Польшей, и ликвидировать Белое Движение на Дальнем Востоке.

В конце ноября в Таганроге выпал обильный снег, и мы, дети, стали кататься на салазках, лепить снежные бабы, и играть в снежки. 3-го декабря, мне исполнилось 9 лет. В подарок, к моему дню рождения, я получил от Жени прекрасную книжку, переводный роман с английского: "Таинственный сад"; имени его автора я не помню. Героиня романа, по имени Мери, дочь колониального офицера, родившаяся в Индии, и привыкшая к полной опасностей тамошней жизни, в один день потеряла обоих родителей. Взятая ее дядей в Англию, она попала в огромный, тихий и чинный дом Викторианской эпохи. Ее дядя, угрюмый вдовец, после трагической смерти им горячо любимой жены, находившийся постоянно в отъезде, оставил управлять домом старую, сухую и строгую экономку. Кроме довольно многочисленных слуг, в доме еще жил сын дяди, двоюродный брат Мери, по имени Колин. Он вечно болел, проводил целые дни в постели и капризничал. Молодая полудикарка — Мери, быстро разрушает весь чинный быт дядиного дома, и то ласками, то насмешками, излечивает Колина от всех его мнимых хворостей. Когда, наконец, дядя возвращается к своим пенатам, то находит своего сына совершенно здоровым и веселым, а дом вновь полным жизнью и радостью. Женя подарила мне эту книгу, несомненно, с умыслом. Конечно, все же не думаю, чтобы я походил очень на Колина, но в моей двоюродной сестре было что-то от Мери. Этот роман попал в число моих любимых книг.

Пользуясь обилием выпавшего снега, мы, дети, построили из него крепость. Она была приблизительно площадью в пять, шесть квадратных метров, и ее грозные бастионы возвышались над землей сантиметров на восемьдесят. Находилась она перед самым домом, в промежутке между тротуаром и дорогой. Мы, попеременно, защищали и штурмовали ее, бомбардируя друг друга снежками, а иногда, должен признаться, кидали их и в мир-

ных прохожих. Раз как-то я сидел в снежной твердыне один, и ожидал прихода моих друзей. Мимо шла какая-то русская баба. Искушение было слишком сильным, и я, довольно метко, запустил в нее комком снега. Она остановилась, с негодованием посмотрела на меня, и обозвав "пархатым жиденком", пригрозила выдрать за уши. Эта угроза, в значительной мере, охладила мой воинственный пыл.

В конце 1920 года начала остро ощущаться нехватка в продуктах первой необходимости; чай и сахар исчезли, мясо стало очень дорого, а хлеб сделался совершенно черным; но население все еще бодрилось. Молодежь распевала модные частушки:

На столе стоит тарелка,
А в тарелке той — пирог...
Николай пропил Россию,
А Деникин — Таганрог.

Эх, яблочко, куда катишься?
Попадешь в ВЧК — не воротишься...

Цыпленок жареный, цыпленок вареный,
Цыпленок тоже хочет жить...
Его поймали, арестовали,
Велели паспорт показать.
. . . .

Приблизился конец 1920 года. Накануне 31 декабря моему отцу и инженеру Камышану выдали по полфунта серой муки и немного сахару. Чай заменила настойка из сушеной моркови; она так и называлась: морковным чаем. Аромата такой чай, конечно, не имел, но вкус его был довольно приятным; во всяком случае — терпимым.

Мама и Анна Марковна спекли из пайковой муки сладкий пирог и немного сухих печений, и все жители нашей квартиры приготовились, сообща, встречать новый, 1921 год. В половине двенадцатого ночи все уселись за стол вокруг кипящего самовара. Мама нарезала пирог. За несколько минут до полуночи, морковный чай был разлит и все, при хриплом звоне старых стенных часов, подняли свои стаканы и чашки, и чокнулись ими:

"С Новым Годом!
С Новым счастьем!"

Папа сказал: "Теперь жить очень тяжело, но такова судьба всех современников Великих революций".

— Да, — подтвердил Камышан, — нам всем очень трудно, но я верю, что строится новый, лучший мир.

— Per aspera ad astra, — заключил мой отец.

"С Новым Годом!
С Новым счастьем!"

ГЛАВА ШЕСТАЯ: Голод.

В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.
Некрасов ("Железная дорога)

Итак, на всей территории европейской России, воцарился долгожданный мир. 18 марта 1921 года был подписан договор с Польшей и установлены новые границы. Население могло бы вздохнуть с облегчением, но... наступил голод. В нашем районе, как и во многих областях России, в деревнях почти ни в чем недостатка не было, но в городах царил голод. Крестьяне продавали горожанам свои товары за совершенно невероятные цены, причем они с каждым днем головокружительно росли. Но, главным образом, мужики любили менять съедобные продукты на предметы роскоши, им совершенно ненужной. В те времена, нередко, можно было увидеть в крестьянской избе, дорогой концертный рояль, служивший там чем-то вроде курятника, или древнюю китайскую вазу, которой и цены нет, употребляемую для соления огурцов. В этот ужасный год, русский мужик, воспетый столькими поэтами, показал свое настоящее лицо: лицо жадного, бессовестного и безжалостного грабителя-убийцы.

В городах люди падали посередине улицы, умирая от голода, и этим пользовалось население деревень. Служащие, как мой отец и инженер Камышан, получали астрономические жалованья, едва хватавшие, чтобы не умереть от голода. Если в конце 1920 года им платили по несколько десятков тысяч рублей в месяц, то в 1921 году, их месячное жалованье начало исчисляться в сотнях тысяч, а вскоре появились совзнаки стоимостью, каждый, в миллион. Но и на эти миллионы многого купить было нельзя, и население пренебрежительно окрестило их "лимонами". Черный

хлеб оставался черным, но перестал быть хлебом: это была подозрительная мякоть неизвестного состава, полная рубленной соломы. К счастью еще, что на рынке, за совсем скромную цену, не превышавшую нескольких десятков тысяч рублей, можно было купить крынку снятого кислого молока. Оно, смешанное с тем, что продолжали упорно называть хлебом, стало моей почти единственной едой. Я клал в тарелку, черную, полную соломой, массу, наливал сверху кислого молока, и все это мял и мешал ложкой, после чего с жадностью съедал полученное, таким образом, месиво. В другое время подобная гадость могла годиться, разве только, для кормления свиней. Все жиры исчезли. Вместо сахара стали употреблять сахарин — благо он был дешев. Брался литр воды, и в него клали два-три кристала сахарина. На стакан чайного суррогата полагались три или четыре ложечки этого раствора. Увы, вместе с почти всеми овощами исчезла и морковь, но к середине лета появилось на рынке много арбузов и дынь. Цены на них были скромные, так как уродилось их, в том году, очень много. Их корки нарезались на мелкие ломтики, сушились на солнце, и настаивали на них питье, именуемое: "чаем из арбузных и дынных корок". Вкусом, без привычки, это пойло напоминало немного касторку. Шутили, что прежде китайский чай пили "вприкуску", а теперь арбузный чай пьют "вприглядку". Делалось это по следующему рецепту: кусочек настоящего сахара — рафинада, залежавшегося в углу старого, пыльного ящика, извлекался оттуда, и привешивался при помощи нитки или тонкой бечевке, к висящей над столом лампе. После чего каждый из присутствовавших пил свой "чай", поглядывая, от времени до времени, на маячущий перед его глазами, в воздухе, ценный кристал. Исчезла в продаже одежда, а вместо обуви стали носить "колодяшки", т. е. деревянные, самодельные сандалии. Так как я рос, то моя единственная старая куртка, сделалась слишком маленькой и пришла в ветхость. Видя это, моя мать мне смастерила, как могла, другую, из старой и, кажется, дорогой гардины. Когда мама напялила ее на меня, я чуть не расплакался: на моей спине красовался целый пейзаж, чуть ли не с ручейками и пастушками. Я возненавидел эту куртку, но, к счастью, ее вскоре украли. Много грехов простится на том свете этому вору!

Между прочим, в 1921 году, на севере России был необычайный урожай на яблоки. Голодающее население их употребляло вместо всякой другой пищи. По этому поводу острили: "Большевики

создали настоящий рай, совсем как в Библии: все ходят совершенно голыми, и питаются исключительно яблоками".

Пайком моего отца, состоящего из ежедневного куска хлебного суррогата и пачки махорки по субботам, прокормить пять человек: двух стариков, двух взрослых людей и одного девятилетнего мальчика, было невозможно. Почти ежедневно моя мать ходила на рынок, и на получаемые моим отцом совзнаки, докупала еще немного этого самого суррогата. Однажды мама решилась, и взяв единственную, найденную ею при белых в Геническе, серебряную вазу, снесла ее на рынок, и там обменяла у крестьянина на довольно большую булку черного, но настоящего хлеба. Велика была ее радость, так как подобный хлеб, и за очень большую цену, не всегда можно было найти. Хоть и жалко было маме этой своей последней вазы, но она представляла себе, как обрадуются ее престарелые родители, и с какой жадностью наброшусь на эту булку я. Отойдя от мужика всего на несколько шагов, она услыхала за собой жалобный голос, и обернувшись увидела старушку. Несчастная была худа как скелет, и из ее красных, воспаленных глаз бежали слезы, а протянутая рука сильно дрожала:

— Голубушка, с голоду помираю; дай мне хоть самый маленький ломтик твоего хлебушка!

Мама отломала довольно большой кусок и дала его ей.

— Тетенька, милая, дай и мне махонький кусочек хлеба!

Маленькая, босая и оборванная девочка протягивала ей ручку. Мама дала и ей.

— Во имя Бога! Дайте и мне кусочек!

Перед мамой стоял седой старик, такой же умирающий от голода, как и другие. Потом маму окружили еще несколько плачущих детей, подошла изможденная, пожилая женщина, за ней молодая с ребенком на руках. Никто из них не просил денег — только хлеба. Мама раздавала хлеб, кусок за куском, и наконец, сама вся в слезах, почти бегом, вернулась домой с совсем маленькой краюхой хлеба, и рыдая, отдала его своим родителям. Прошло несколько недель. Взяв с собой, как всегда пять-шесть десятков тысяч рублей, моя мать пошла на рынок купить на эти деньги немного кислого молока и фунт хлебного суррогата. Идя по рынку, она заметила что-то черневшее посередине дороги. Приблизившись, мама увидела бумажник, наполовину втоптанный в грязь. Он был туго набит. Поставив на него ногу, и быстро нагнувшись, как бы поправляя свой чулок, она подняла его и сунула в карман пальто.

Оглянувшись кругом и убедившись, что никто не заметил ее маневра, мама быстрыми шагами направилась домой. Дома она позвала своих родителей, и закрыв двери комнаты, бледная от волнения, показала им свою находку. Бумажник содержал, кроме документов на имя какого-то крестьянина, свыше восьми миллионов рублей совзнаками. Документы, по совету дедушки, были сожжены, а за полмиллиона мама купила кусок довольно жирного, свежего мяса, достаточного для прокормления, в течении двух дней всей нашей семьи. Остальных денег нам хватило на месяц безбедного существования. В тот самый день, во время обеда, обгладав вкусную кость, мама кинула ее через окно во двор. Барзик жадно кинулся на нее. В это время, во двор вошел нищий старик. Увидав брошенную кость, он побежал отнимать ее у собаки, несмотря на ее укусы, а потом подняв голову на глядевшую в ужасе, на эту сцену, мою мать, с упреком сказал: "Как вам не совестно бросать собаке такую кость, когда люди умирают от голода!"

Однажды, в воскресенье, гуляя с папой по Петровской улице, мы увидали лежащего на тротуаре человека: он умирал от голода. Мы с отцом поспешно пошли в ближайшую лавку и купили там булку хлебного суррогата, но когда мы вернулись — несчастный был уже мертв.

Надо отметить, что таганрогский район страдал сравнительно мало, но в Поволжье голод принял такие размеры, что породил каннибальство. Крали и ели детей. Убивали и ели стариков. В одном из городов Поволжья был вызван к мнимому больному врач: убит и съеден.

В 1921 году: расстреливала ЧК, косил сыпной тиф, умирали от голода и люди поедали людей.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Изъятие излишков.

Осенью 1920 года, власти опубликовали декрет о конфискации всего недвижимого имущества города Таганрога. Дом в Крепости купленный, по совету покойного дедушки, моим отцом и дядей Мишей, был конечно, тоже конфискован. Однако, в целях установления социальной справедливости, этой меры новым властям показалось недостаточно. Умирающее от голода городское население было справедливо и мудро заподозренно в хранении разных

ценностей, и в склонности к роскоши и комфорту, не созвучным эпохе.

Был опубликован новый декрет об "изъятии излишков". Вскоре дело дошло и до нас. У моего отца имелся прекрасный письменный стол. Часто он приносил со службы некоторые бухгалтерские книги, и по вечерам, за этим столом, продолжал работу, неоконченную им в Санупре. Узнав об этом декрете, папа немедленно принял надлежащие меры, в результате коих он получил от Санупра, удостоверение на право держать у себя на дому письменный стол, необходимый ему для его профессиональной деятельности, и являющимся, таким образом, орудием производства. Под текстом документа стояли подписи и печати. Эта охранительная грамота совершенно успокоила моего отца, уверив его в неприкосновенности письменного стола. Увы! Однажды, в ясный майский день 1921 года, когда папа был на своей службе, а мама дома хлопотала по хозяйству, к нам явились четверо "товарищей". Один из них, по-видимому, старший, предъявил ордер на предмет изъятия излишков, и тотчас стал их у нас искать. Надо отдать ему справедливость, что ни кровать, ни четыре несколько хромых стула, ни шипевший на простеньком столике, примус, ему излишками не показались. Но вот, зоркий взгляд "товарища" упал на злополучный стол отца, и обратившись к сопутствовавшим его трем другим гражданам, сказал:

— Этот стол пригодится для какого-нибудь советского учреждения: берите его, товарищи.

Мама спокойно вынула из ящика свидетельство о неприкосновенности стола, и с торжествующим видом подала его старшему из "товарищей". Тот взял протянутую ему бумагу, внимательно ее прочел, и улыбаясь, отдал моей матери, пояснив:

— Знаете ли вы гражданка, что такое — эта бумага? Побрякушка, которую дают дитяти, чтобы оно не плакало. Для нас такой документ недействителен. Товарищи, подымайте стол... и пошли!

Взявшись с четырех сторон за края стола, они подняли его и направились к выходу, оставив маме расписку о законном изъятии излишков, совершенном в нашей комнате. Мы жили, как я уже сказал раньше, на втором этаже, и на улицу вела довольно крутая лестница. Помявшись с минуту в нерешительности перед нею, они столкнули стол вниз, и он, грохоча, пересчитал все ступени. В результате у него сломались две ножки, отбился один край и треснуло несколько ящиков. Мама возмутилась:

— Товарищи, вы конфисковали этот стол для нужд советского правительства, зачем же вы его ломаете?

— А вы, гражданка, лучше помалкивайте, а не то, за такие речи, и в ЧК попасть можно.

Мама замолчала, и поломанный стол был унесен неизвестно куда.

Несколько месяцев спустя, к нам, вновь, явились трое других советских чиновников, в поисках все тех же излишков. Предводительствовал этой "тройкой" горбатый карлик. Вторым ее членом был высокий, мускулистый мужчина, по-видимому рабочий, а третьим — женщина. Осмотрев нашу бедную обстановку, и убедившись, что из мебели взять нечего, они велели маме открыть единственный, стоявший в углу, довольно старый сундук. Мама повиновалась. В сундуке оказалось немного заштопанного белья и пара потрепанных юбок, но в глубине его лежала последняя сохранившаяся у нас ценность: большой отрез прекрасной шерстяной материи. Первым его заметил горбатый карлик, и вынув его из сундука положил возле себя. Женщина рылась в наших вещах с особым остервенением, и сопровождала эту деятельность разными, часто грубыми, замечаниями. Несмотря на все старания "тройки", излишков у нас не оказалось. Когда все их бесплодные поиски были окончены, карлик ничего не говоря, ловким движением засунул шерстяной отрез под лежащие в сундуке вещи, и захлопнул его крышку; после чего с серьезным видом заявил:

— Никаких излишков у вас, гражданка, не оказалось. До свидания.

И он ушел в сопровождении двух других. Лицо горбатого карлика было серьезно, только в его глазах искрился смех. Какой прекрасный человек!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: Наш быт в 1921 году.

Таганрог считается городом южным, но он лежит не в Крыму и не в Закавказье, и зимы в нем бывают холодными. Уголь стал очень дорог, и кафельные, голландские печи нашей квартиры топить было нечем. Мы, как и все жители необъятной России, поставили в свою комнату маленькую, железную печурку, именуемую "буржуйкой"; ее жестяная труба вела в дымоход голландской печи. Топили ее чем попало, вплоть до старых газет,

но главным образом — дровами, если их удавалось найти. На ночь "буржуйку" тушили: отчасти из боязни угара, а отчасти из экономии. В зимние месяцы ложились в постель наполовину одетыми, а к утру вода в умывальнике замерзла. В учреждениях каждое утро находили в чернильницах, вместо чернил, выпиравшие наружу куски лилового льда. Чтобы протопить квартиры и не замерзнуть в них, жители нередко жгли в своих "буржуйках", сначала всю деревянную мебель, а потом полы и внутренние двери. Ночью проникали во взятые под учреждения дома, и в них выламывали полы, потолки, двери и оконные рамы. Местные власти, сами жестоко страдавшие от холода, были бессильны бороться с этим. К весне Таганрог стоял полусожженным, как после страшного пожара, и стены многих домов начали разрушаться и падать. Жалко было смотреть на мой родной город!

Однажды, это было в начале весны, на парадной двери у нас раздался звонок. Я только что окончил занятия с моей учительницей, и теперь Александра Николаевна беседовала с моей матерью на злобу дня. Мама пошла открывать дверь, и до нас донеслись удивленные и радостные восклицания:

— Боже мой! Возможно ли? Вы ли это — Марья Михайловна!?

— Как видите.

— Когда вы приехали?

— Только вчера, и остановилась в ужасной гостинице, на Николаевской улице, но это все — неважно; я так рада вас видеть!

С этими словами, в сопровождении мамы, в комнату вошла Марья Михайловна Лесенкова. Мама познакомила ее с Александрой Николаевной. Разговор между тремя дамами сделался общим. Марья Михайловна рассказала об ужасах гражданской войны, которую пережил Геническ: о набегах банд, о грабежах, убийствах и расстрелах, о частой перемене власти. Теперь там царил страшный голод, и делать в нем было нечего. Марья Михайловна приехала в Таганрог — сравнительно большой город, выбрав его, главным образом, потому что в нем проживали мои родители. Не теряя времени, она решила приступить к поискам: в первую очередь, приличной комнаты, а затем работы. Услыхав это, Александра Николаевна обрадовалась: в квартире, где она живет, освободилась комната, и, если Марья Михайлона пожелает, то сможет сегодня же переехать в нее. Лесенкова поселилась в одной квартире с моей учительницей, и вскоре они сделались большими друзьями. Мой отец нашел ей место секретарши в одном из многочисленных

советских учреждений, и она стала нашей частой гостьей, вспоминая, с моими родителями, прежнюю жизнь в Геническе. От своего мужа, Марья Михайловна никаких сведений не имела, и считала его убитым. Очень может быть, что так оно и было.

В начале января 1921 года был сменен прежний председатель таганрогского Гор. ЧК. Новый председатель, Иван Иванович Громов, был местным рабочим и старым большевиком, не раз сидевшим, и подолгу, в царских тюрьмах. Между прочим, он в них перезнакомился почти со всеми меньшевиками нашего города, и с большинством из них был на ты. Дядя Миша, со своим закадычным другом, Keниловским, таким же адвокатом и меньшевиком, как и он сам, и еще с двумя другими приятелями, решили, по случаю холодов (был февраль), устроить дружескую попойку. Пример несчастного Резникова их не остановил; да и времена переменились; с первого января 1921 года, город перестал быть на военном положении. Кениловский достал прекрасный спирт, и водка вышла на славу. Но и на сей раз кто-то донес, и в тот самый момент, когда друзья начали разливать по рюмкам самодельную водку, явились агенты всезрящего ЧК, и их арестовали. Новый председатель ЧК велел предварительно хорошо продезинфицировать тюремную камеру, опасаясь заразить нарушителей сухого закона сыпным тифом. На следующее утро, товарищ Громов, с конфискованной, почти полной бутылкой ''вещественного доказательства'', сиречь водки, явился в тюрьму. Между зачинщиком ''преступления'', присяжным поверенным Кениловским, и представителем грозной советской Немезиды, товарищем Громовым, произошел следующий диалог:

Громов: Как вам, товарищи, не стыдно! а еще социалисты! В такое время, когда страна только что окончила свою борьбу со всеми черными силами реакции — пьянствовать!

Кениловский: Мы не пьянствовали, товарищ Громов.

Громов: Что ты мне голову морочишь, товарищ, а это, что в твоей бутылке? По твоему — вода?

Кениловский: Вода и есть, товарищ.

Громов: Что ты врешь, Кениловский, это — водка.

Кениловский: Какая же это водка, Громов, это — вода.

Громов (нюхает) : Это — водка.

Кениловский: Да что ты, Громов, нюхаешь, ты выпей, тогда и сам поймешь, что это чистейшая вода.

Громов (отхлебывая хороший глоток) : Ну так и есть — водка.

Кениловский: Да ты еще попробуй.

Через полчаса бутылка была распита, и все пятеро спели хором Варшавянку и Интернационал. К вечеру арестованные были все выпущены на волю.

Накануне первого мая, по приказу Губ. ЧК, все меньшевики были вновь арестованы, и снова заботливый Громов велел продезинфицировать тюремную камеру. Арестованных меньшевиков, их было человек десять, вели под конвоем через весь город. В их числе, разумеется, были дядя Миша и Кениловский. Этот последний разулся, забросил за плечи узелок со своим бельем и с привязанной к нему бечевкой обувью, и шагая по улице, запел Дубинушку, подхваченную всеми другими:

По дороге большой: по большой, столбовой,
Что Владимиркой, с древле, зовется —
Звон цепей раздается: глухой, роковой,
И дубинушка стройно несется.

Эй, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, сама пойдешь!
Подернем, подернем, да... ухнем!

Получилось совсем как при старом режиме. На этот раз их продержали в ЧК трое суток.

Однажды утром я почувствовал общее недомогание и легкую головную боль. Александра Николаевна пришла мне давать свой очередной урок, но я в тот день учиться не мог. Мама решила позвать врача. Доктор Шамкович жил довольно далеко от нашей новой квартиры, но вблизи от нас проживала женщина — врач, тоже наша отдаленная родственница, Розалья Яковлевна Гринберг. Моя мать позвала ее. Розалья Яковлевна была довольно полной дамой, средних лет и среднего роста, с яркорыжими волосами, закрученными на затылке. "Ну, что у вас случилось? — был ее первый, несколько насмешливый, вопрос — опять ваше "сокровище" хворает?"

Она осмотрела меня, измерила температуру, выслушала, выстукала пульс, и уверенно поставила диагноз:

— Ничего серьезного у него нет: легкая простуда, может быть — инфлуэнца. Дайте ему таблетки две аспирина, утром и вечером; я вам напишу рецепт. Через два дня он будет совершенно здоров. Пока пусть продолжает лежать в постели.

Мама мне дала приписанную дозу аспирина, но он мне не помог.

К вечеру температура немного поднялась, и появилась легкая боль в горле. Вернувшись со службы, папа обеспокоился, и вновь позвал Розалью Яковлевну. Она пришла не очень довольная, что ее потревожили, как она думала, по пустякам. Осмотрев мое горло она успокоила моих родителей:

— У вашего сына — маленькая ангина. Пусть полощет горло легким раствором борной кислоты, и продолжает принимать аспирин. Волноваться вам совершенно нечего.

Ночью, несмотря на аспирин и полоскания, у меня начался жар и боль в горле усилилась. Утром мама посмотрела мне в горло, и испугалась: оно было все красное и на нем появились странные налеты. Вновь была вызвана Розалья Яковлевна.

— Что вы меня так часто зовете? Я вам уже сказала, что у него ангина — вот и все.

— Нет, Розалья Яковлевна, — возразила мама, — я не врач, но эти налеты мне не нравятся.

— Ладно, посмотрим еще раз горло вашей цацы.

Розалья Яковлевна велела принести ложку, я терпеть не мог этой процедуры, и прижав ею мой язык, заглянула в самую глубину моего горла. Мама, с беспокойством, следила за ней. Вдруг лицо рыженькой докторши покраснело как кумач. Мама все поняла без дальнейших объяснений.

— Анна Павловна, я не хочу ставить диагноза; позовите для консилиума доктора Шамковича.

Шамкович пришел, и поставленный им диагноз был безаппеляционный: дифтерит.

— Ему надо немедленно вспрыснуть дифтеритную сыворотку; мы и так уже немного запоздали, — объявил маме Шамкович. Послали в Санупр за отцом. Он взял отпуск на несколько дней, и побежал искать сыворотку по всем аптекам города, но в те времена найти какое-нибудь специальное средство было очень трудно, а мне делалось все хуже и хуже. Уже поздно вечером он нашел и принес одну ампулу. Вернувшаяся из своей больницы, Анна Марковна, посмотрела сыворотку и посоветовала ее выбросить в сорный ящик: она была совершенно испорчена. Ночь я провел очень плохо. Наутро моя температура поднялась до 40 градусов, и боль в горле сделалась нестерпимой. Я больше не мог ничего проглотить. Утром к нам пришла тетя Аня, и предложила моим родителям съездить самой в Ростов, и там попытаться достать дифтеритную сыворотку; к вечеру она ее привезет.

Бывший при этом доктор Шамкович заметил, что вечером будет слишком поздно, и никакая сыворотка уже не поможет, и тут же посоветовал моему отцу идти искать ее, немедля ни минуты, и принести, по возможности, две ампулы, так как болезнь зашла уже слишком далеко, и, вероятно, вечером придется повторить укол. Бедный мой отец не знал, что предпринять. Подумав, он решил пойти в Санупр, просить там совета или помощи. Действительно, один из начальников моего отца предложил ему пойти с ним на центральный склад медицинских и аптекарских товаров. На складе нашлись две последние ампулы, и мой отец, почти бегом, принес их домой. В это утро Анна Марковна не пошла в больницу. Папа, весь дрожа от волнения, протянул их ей.

— Тоже не особенно свежие, — заявила она, после краткого осмотра, — но значительно свежей вчерашней, во всяком случае терять времени больше нельзя; попробуем, и что Бог даст.

К вечеру температура упала до 38 градусов, и боль в горле уменьшилась.

— Сыворотка подействовала, — сказала Анна Марковна, — теперь подождем до утра.

Ночь я провел в глубоком сне, и к утру сильно ослаб, но боль в горле совершенно прекратилась, налеты исчезли и температура упала до 35 градусов. Я выздоровел.

Сколько здоровья стоила моя болезнь моим бедным родителям!

В 1921 году хворать было опасно.

Наступила осень; 1921 год близился к концу. Медленно разрушались остовы домов с сожженными в "буржуйках" полами, потолками, дверями и оконными рамами; они мокли под дождем, и жутко чернели во мраке ночей. Много жителей умерло за этот год: иные от тифа и других болезней, иные от голода, а кое-кого расстреляло ЧК. Страшно было обывателю: приближалась новая, вероятно голодная, зима.

Мама часто говорила: "Слава Богу, что Он нам дал возможность раньше хорошо пожить: по крайней мере есть, что вспомнить. Мы с Мосей побывали за границей, а в Геническе жили как маленькие цари. Теперь это все прошло навсегда; в будущем нечего ждать кроме голода, холода и всяческих ужасов. Возможно, что нынешняя жизнь еще ухудшится, но улучшиться она уже не может". Так думало огромное большинство населения, а между тем, еще 16 марта, был официально объявлен НЭП.

Как только смеркалось, жители без крайней нужды не выходили из своих домов, и крепко запирали все окна и двери. На улицах нападали на редких прохожих и раздевали их догола. Были случаи вооруженных налетов на квартиры и, даже, убийств. В ноябре наступили холода. Однажды, в ненастную ноябрьскую ночь, возвращался из своей больницы домой, известный всему городу хирург Гринивецкий. В одном темном переулке к нему подошли два незнакомца с лицами наполовину закрытыми плотками.

— Доктор Гринивецкий? — спросил его один из них.

— Что вам угодно? — осведомился хирург.

— Мы, доктор, только хотим вас проводить до дверей вашего дома; время, сами знаете, ненадежное, так оно для вас будет верней.

— Если так, то проводите, — усмехнулся врач.

Незнакомцы поместились по обе стороны Гринивецкого и таким манером, мирно беседуя, довели его до дому. На пороге один из них вынул внезапно револьвер, и направив его на, остолбеневшего от неожиданности, хирурга, велел ему раздеться догола. После этого, спрятав свое оружие, грабитель любезным тоном сказал:

— Теперь доктор звоните скорее — вы рискуете простудиться.

Затем оба бандита исчезли во мраке ночи, унеся с собой всю одежду Гринивецкого, с ключами от квартиры в одном из карманов его брюк.

3 декабря 1921 года мне исполнилось 10 лет. Для меня кончились детские годы и началось отрочество. Александра Николаевна принесла мне в подарок десять различных предметов: тетрадь, перо, карандаш, резинку и т. д. Между этими подарками находилась и книжка произведений Гоголя: "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Миргород" и "Ревизор". Женя мне подарила произведения Некрасова, а мои родители — томик баллад Жуковского. Гоголя попросил у меня почитать мой дедушка, и вскоре возвратил мне его, сказав: "Люблю Гоголя — хорошо пишет; но не могу ему простить его мистицизма".

Наступило 31 декабря; но на этот раз, никто его у нас не праздновал. Ни у кого больше не лежало сердце произнести сакраментальную фразу: "С новым годом! С новым счастьем!" и, когда стенные часы хрипло пробили двенадцать, весь дом уже спал.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: 1922 год.

Несмотря на всеобщий пессимизм, вызванный продолжительными страданиями, зима 1922 года оказалась менее ужасной нежели предыдущая; НЭП с опозданием почти на год начал ощущаться. В 1921 году поля были частично засеяны, и теперь ожидали урожая. Появилась кое-какая частная торговля, но в первые месяцы нового года инфляция продолжалась, и некоторые продукты стоили миллионы.

Однажды, возвращаясь с рынка, моя мать увидела, что один из разрушенных домов отстраивается, и в его оконные дыры вставляют деревянные рамы. Она своим глазам не верила, и придя домой рассказала всем о виденном ею "чуде". Это была первая ласточка начавшегося возрождения. Вскоре после этого "события" местные власти издали декрет, в силу которого каждый хозяин отобранного и потом разрушенного дома может вновь получить его в полную свою собственность, при условии взятия на себя всего необходимого ремонта. Мой отец и дядя Миша поспешили починить их особняк в Крепости, и в июне он был полностью отремонтирован. Так же поступили почти все таганрогские хозяева недвижимого имущества. В конце года, когда власти заметили, что все дома отстроены, вышел новый декрет о вторичной и окончательной их конфискации. Так или иначе, но жизнь начала быстро меняться к лучшему, и Таганрог вновь похорошел. 14 февраля на Дальнем Востоке были ликвидированы последние остатки белой армии. После окончательного их уничтожения, и "мирного" присоединения к советской России, дальневосточной Демократической Республики, Япония, воспользовавшись дальностью расстояний и недавними неурядицами, захватила часть тихоокеанского побережья с Владивостоком во главе. В том же месяце декретом советского правительства была уничтожена ЧК, и заменена ГПУ (Государственным Политическим Управлением), и во главе ее стал Народный Комиссар Внутренних Дел, бывший председатель ВЧК, советский Торквемада, Феликс Эдмундович Дзержинский. Он был честнейшим и неподкупнейшим человеком, всю свою жизнь боровшимся за то, что считал своим идеалом, изведовавший царские тюрьмы и каторгу, фанатик — равно безжалостный к себе и к другим. Не следует думать, что заменив ЧК на ГПУ, советское правительство переменило только название этой организации — оно переменило и ее сущность. ЧК была кара-

тельным органом советского правительства времен военного коммунизма, тогда как ГПУ являлось политической и политико-экономической полицией эпохи НЭПа. Разница — огромная.

В марте того же года дядя Миша, его друг Keниловский, и все меньшевики находившиеся на "черном" списке, были вызваны к новому председателю местного ГПУ, недавно присланного в Таганрог советским правительством. Он вежливо усадил их всех перед собой и произнес им краткую речь на тему о необходимости признать свои старые ошибки и отказаться от них. В заключении он предложил им подписать бумагу об их отречении от прежних социал-демократических идей. Все они поспешили ее подписать. После этого акта он дружески пожал им руки и больше их никто не беспокоил.

Весной в Генуе была созвана международная конференция, на которой советская Россия приняла деятельное участие. Генуэзская конференция окончилась Рапальским договором с Германией, подписанным 16 апреля 1922 года Народным Комиссаром Иностранных Дел, Чичериным.

25 октября Красная Армия разбила японцев и отобрала у них Владивосток со всем тихоокеанским побережьем. Этим закончились все военные действия на территории одной шестой земной суши, именуемой советской Россией.

Назначенный Лениным на пост народного комиссара финансов, талантливый русский еврей, близкий сотрудник и друг Троцкого, Адольф Абрамович Йоффе, провел в жизнь гениальную денежную реформу и сразу остановил инфляцию. Цены на все продукты остановились и больше не росли. В 1922 году (ноябре месяце), совзнаки были заменены червонцами. Несколько десятков тысяч рублей совзнаками приравнивались к одной копейке (точного эквивалента я не помню).

100 копеек — 1 рубль.

10 рублей — 1 червонец.

1 червонец — 1 фунт стерлингов.

Этот еврей, отдавший все свои силы, таланты и знания стране, которая по воле случая была его родиной, пять лет спустя, преследуемый Сталиным, был принужден покончить жизнь самоубийством.

30 декабря 1922 года советская Россия официально перестала существовать, и на территории бывшей Российской Империи образовался Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

Великороссия превратилась в одну из этих республик, первой среди равных, как принято было ее величать и назвалась: Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой (РСФСР). Эти пять букв, шутя, расшифровывались так: Редкий Случай Феноменального Сумасшествия Расы. Но шутки в сторону: жизнь начала быстро улучшаться. Последние мероприятия умирающего Ленина оказались благотворными для страны. Быть может надо пожалеть о том, что он родился — вопрос спорный; но, что он слишком рано умер, этого бесспорно жаль.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: Борьба с верой.

Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: БОГ.
Державин (Ода: Бог).

Наука голословно ничего не утверждает и не отрицает. Научный метод, приводящий к доказательству того или иного явления, состоит из двух обязательных частей: теоретических выкладок и практических опытов.

Теоретические выкладки состоят из серии логически обоснованных заключений,вытекающих одно из другого. Точками отправления им служат аксиомы или постулаты. Аксиомой мы называем совершенно очевидную истину (или кажущуюся таковой), которая, в силу этой самой своей очевидности, не требует доказательств.

Пример: Всякая величина тождественна самой себе. Постулат есть утверждение менее очевидное (гипотетическое), необходимое для дальнейшего развития теоретических выкладок, но также как и аксиома, недоказуемое. К сожалению наше логическое мышление требует аксиом или постулатов, и в этом его слабость, так как абсолютные истины ему недоступны. В философии постулаты необходимы не менее, чем в точных науках.

Постулат Декарта: "Я мыслю, значит я существую".

Постулат Канта (тройной): "Мораль возможно при наличии

трех неоспоримых истин: Бог существует, душа бессмертна, воля свободна".

Если философия не требует проверок путем экспериментальных методов, то точным и естественным наукам практические опыты необходимы, ибо постулат, лежащий в основе теории, может оказаться неверным. Для этой цели создаются искусственно условия, которые должны вызвать то или иное явление. Случается нередко, что сначала наблюдаются эти явления, потом проверяются опытом, и наконец под них подводится теория, обоснованная на ряде отвлеченных доказательств. Если теоретическая выкладка подтверждается практическим опытом, или наоборот, то образуется научно-обоснованная теория. Если, напротив, теоретические выкладки не подтверждаются опытом, или под практические опыты не удалось подвести серию точных доказательств, это называется гипотезой.

Что мы называем Верой (с большой буквы), или иначе: верой в Бога Единого? Вера есть утверждение существования Бога, не основанное ни на каких точных, научных или философских доказательствах. Вера является аксиомой. Но кого мы называем Бог? Обратимся к словарям:

Иллюстрированный словарь испанского языка Аристоса (Барселона 1952 год), дает следующее лаконическое определение: Бог — Верховное Существо.

Маленький Ларус (1959 год): Бог есть Верховное Существо, Творец и Хранитель вселенной.

Прекрасным определением Бога в поэтической форме служит гениальная ода Державина. Существует более сложное, так называемое, космическое определение Бога: Все во вселенной имеет свою причину. Все предметы и явления суть следствия тех или иных причин. Но каждая причина есть в свою очередь следствие другой причины, а та другой. Все причины и их следствия составляют беспрерывную цепь и являются ее звеньями. Первое звено этой цепи мы называем Богом. Бог есть первопричина всех причин и всех следствий, но сам Он, являясь первым звеном, причины не имеет; "Первый двигатель", по определению Аристотеля.

Можно ли пытаться логически доказать существование Бога?

Кант утверждает, что так как Бог является первоначалом всего существующего, т. е. существом абсолютным, Его собственное существование доказано быть не может, ибо нам не на что опереться для подобного доказательства. Позже Фихте углубляет

эту мысль: Бог, будучи абсолютной реальностью, не может служить заключением для наших теоретических или философских выкладок, но точкой отправления для них. Бог недоказуем, как недоказуем самый факт реальности вселенной.

Материалисты всех толков, а в особенности марксисты, базируясь на том, что они называют: "Научным материализмом", отрицают существование Бога. "Научный материализм" опирается на два основных постулата:

1. Все во вселенной материально, и ничего кроме материи не существует. Эйнштейн доказал, что энергия есть форма материи и, следовательно, такое доказательство лишний раз подтверждает данный постулат. Все явления, принадлежащие к материальному миру, называются рациональными и могут быть раньше или позже изучены и доказаны. Явлений иррациональных в природе не существует.

2. Вселенная, со всеми сложнейшими и точнейшими своими законами, существовала всегда и будет существовать вечно: ей нет ни начала ни конца.

Для утверждения первого постулата требуется, прежде всего, ясно и точно определить, что такое материя. Кто мне ответит на этот вопрос?

Начну с Ларуса: "Материя есть: тело, вещество, занимающее часть пространства, делимое на более мелкие части, нечто, что мы можем постигнуть нашими чувствами" (Ларус в трех томах, издание 1965 г.) .

Обращаюсь с тем же вопросом к Ленину: "Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них". Ленин.

Теперь спрошу о материи советский энциклопедический словарь, в трех томах, издания 1954 года: "Материя первична, так как она является источником ощущений сознания, которое вторично, производно, так как оно является отображением материи. Материя несотворима и неуничтожаема, вечна и бесконечна. Движение — существеннейшее и неотъемлемое свойство материи. Многообразные явления в мире представляют различные виды движения материи".

Все три определения материи ничего не определяют: Ларус утверждает, что материя это есть нечто занимающее часть про-

странства (какого? скольких измерений?), которое мы можем постигнуть нашими чувствами. Но наши чувства малочислены, слабы и несовершенны.

Ленин называет материю: "философской категорией для обозначения объективной реальности". Какой реальности? Реальность, которая: "отображается нашими ощущениями, но существует независимо от них". Ощущения человека зависят от все тех же наших малочисленных, слабых и несовершенных чувств, а, следовательно, обязательной реальностью не являются.

Советский энциклопедический словарь утверждает, что материя первична и является первоисточником всех наших чувств. Опять наши чувства! Несомненно, что во вселенной могут существовать множество явлений, для этих самых наших чувств, совершенно недосягаемых.

Дальше, ради курьеза, сравним три последующих фразы из определения материи, сделанной советским словарем, с одой Державина "Бог":

Первые три строчки оды:

О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченья времени предвечный,
. . . .

Тридцатая строчка:

Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек.

Если слово, материя, в определении советского словаря, заменить Его святым именем, и если бы гениальный поэт не жил почти два века назад, я мог бы его заподозрить в плагиате у вышеуказанного энциклопедического словаря.

Если все логические построения и выводы атеистов-материалистов, невольно, приводят их к тому к чему, верующего монотеиста, приводит его вера, эта невольная, но необоримая и неизбежная конвергенция, может служить неплохим логическим доказательством Его существования. Добавим, что если невозможно определить "рационально" материю, то и утверждение, что все явления в природе рациональны, ни на чем не основано. Заключим: первый постулат материалистов не может служить даже постулатом, ибо ровно ничего не обозначает. Рассмотрим кратко их второй постулат. Повторим его: "Вселенная, со всеми ее сложнейшими и точнейшими законами, существовала всегда и будет существовать вечно: ей нет ни начала ни конца". Для по-

добного утверждения надо прежде всего определить: что такое вечность и бесконечность; но мы знаем, что это невозможно.

Заключим: в области веры ничего доказать нельзя, и каждый имеет право верить, или не верить, согласно своим чувствам и понятиям. Многие великие ученые были глубоко верующими людьми. Вспомним хотя бы Пастера. Здесь я хочу привести известный анекдот:

Великий ученый, с мировой славой, отец теории условных рефлексов, профессор, академик Павлов, был очень верующим православным. Однажды он шел по улице Петербурга, направляясь на заседание Академии Наук. У ворот большого дома, мимо которого он проходил, молодой дворник мел улицу. Этот последний не был, подобно многим его собратьям по ремеслу, безграмотным невеждой. Благодаря знакомству с некоторыми "передовыми" молодыми людьми, с которыми он частенько встречался в кабаках, и других подобных заведениях, он сильно развился и набрался новых идей. Кроме того он читал газеты, и при надобности умел бойко подписать свое имя. Когда седобородый ученый поравнялся с ним, в ближайшей церкви зазвонили колокола. Профессор Павлов набожно перекрестился. Дворник взглянул на него и улыбнувшись спросил:

— Дедушка, ты веришь в Бога?

— Верю, сынок, — тоже улыбнувшись, добродушно ответил великий ученый.

— Эх! темнота, темнота! невежество наше! — произнес горестно дворник, и вновь взялся за метлу, продолжая подметать улицу.

Профессор Павлов, быть может, и остановился бы побеседовать с "передовым" дворником, но он спешил: его ждали в Академии Наук.

Имея дело с гипотезами, а не с доказанными теориями, все мы: политеисты, монотеисты, атеисты, имеем право веровать, или не веровать, согласно своим убеждениям; но, с другой стороны, никто не должен сметь их насильно навязывать другим. В области недоказуемого, абсолютная терпимость обязательна. На этом основывается свобода совести, а без нее никакая другая свобода невозможна. Свобода — едина и неделима. Конечно, каждый из нас вправе, путем нормальной пропаганды, стремиться к распространению своих убеждений, но никто не должен насмехаться над чужими верованиями и кощунствовать.

Вина большевиков не в том, что они атеисты, это их неотъем-

лемое право, но в том, что они, с самого своего прихода к власти, стали бороться административными мерами со всеми формами религии. Они кощунствовали и издевались над верой и верующими, словесно и печатно, одновременно воспрещая всякую религиозную пропаганду, и преследуя ее всеми мерами, имеющимися в распоряжении диктаторов. Стал выходить иллюстрированный журнал: "Безбожник". Потом они, продолжая систематически притеснять всех служителей различных культов, принялись закрывать церкви, синагоги, мечети и прочие Храмы Божьи. На принудительных сходках и собраниях, перед согнанной насильно публикой, выступали малограмотные ораторы, говорили глупости, богохульствовали и издевались над верованиями других. Возражать им было опасно. Однако, расскажу про случай, имевший место в Москве:

На одном из таких собраний, перед аудиторией, состоящей почти исключительно из простых рабочих, молодой пропагандист воинствующего атеизма, в течении часа кощунствовал и насмехался над всем, что ни есть святого в душе человека. В заключении этот нахал заявил: "Если, дорогие товарищи, Бог существует, то после всего мною сказанного, я смело вызываю Его: пусть Он явится, и ударит, перед всеми вами, меня по щеке".

Среди общего смущения, поднялся со своего места, высокий, уже немолодой молотобоец, и развалистой походкой подошел к трибуне, с которой говорил оратор. Поднявшись на нее, и, обратившись к слушателям, он громким, но ровным голосом, с легким московским акцентом, произнес: "Зачем же, для такого дела, Господа то нашего беспокоить, это и я, за Него, могу сделать". За сим, среди гробовой тишины замершей залы, прозвучала мощная оплеуха.

Летом 1922 года в Таганроге советские власти начали закрывать одну за другой, православные церкви. Русское население волновалось, но до времени терпело: в городе еще оставалось несколько нетронутых церквей, и этого, пока, было достаточно. Комсомольцы, с пением антирелигиозных песен, являлись к напуганным священникам, и требовали у них сдачи церкви под клуб. В начале осени, незадолго до Рош Ашана, в нашу синагогу явилась группа таких молодых коммунистов (к великому стыду надо признаться, что все они были евреями), и распевая частушки, вроде:

Долой, долой: монахов, раввинов и попов!
Зачем нам синагога, когда есть комсомол!

велели вынести торы и священные книги, а все здание, с пристройками, им передать под клуб. Представьте себе горе моей религиозной бабушки! Но набожные евреи устроились: нашли не очень, правда, большую комнату, и превратили ее в место молитвы. В ней они и отпраздновали Рош Ашана и Йом Кипур, и там же стали собираться в пятницу вечером и в субботу. Несмотря на это, было очень жаль таганрогской синагоги, в основании которой участвовал еще мой прадед.

В середине октября, готовясь отпраздновать пятилетие большевистской революции, местные власти решили закрыть последнюю, очень чтимую русскими, церковь. Но тут случилось нечто непредвиденное: в день предполагаемого ее закрытия, перед нею собралось чуть ли не все православное население города, приехали, даже, крестьяне, из ближайших деревень. Начались причитания и плач женщин, послышались крики и угрозы по адресу властей. Большевики испугались, и церковь осталась открытой.

Увы! за еврейскую синагогу заступиться было некому.

К этому времени, с целью вызвать раскол в среде православного духовенства, советские власти образовали, так называемую, "живую" церковь, реформированную во вкусе нового режима. Этой церкви власти покровительствовали, а "мертвая" церковь", т. е. традиционная, терпела всяческие гонения. Много позже, при перемене Сталиным политического курса, в связи с оппортунистическими интересами текущего момента, эта "живая" церковь была им ликвидирована.

В 1924 году официальный поэт советского правительства, Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов), настрочил целую поэму: "Новый завет, без изъяна, евангелиста Демьяна". Демьян Бедный начинал свое произведение с повествования о том, как, якобы, роясь в пыльной груде писаний отцов церкви, случайно разыскал:

"Евангелие от Иуды;
Которое писала рука
Любимого исусова ученика,
И пламенного еврейского патриота,
Иуды Искариота".

И т. д. У него, в конце концов, получалось, что Христос предал Иуду, а не наоборот.

О Марии Магдалине, считаемой православными святой и равноапостольной, он пишет:

"Мария Магдалина, известно в точности,
Была далека от непорочности".

И т. д. и т. п. На протяжении многих листов, Демьян Бедный грубо издевается над Христом, его апостолами, и всем, что чтимо верующим русским человеком. Это грязное произведение было полностью напечатано в "Правде", перепечатано в других газетах, и после этого вышло отдельной книжкой, дешевого, общедоступного издания. Но подобное наглое хамство не могло остаться без ответа. Вскоре появилось, ходившее в списках по рукам, стихотворение,приписываемое известному молодому поэту, Сергею Александровичу Есенину (1895–1925). Оно называлось: "Ответ Демьяну Бедному", и в нем звучало все негодование, и вся боль оскорбленной души. Оно длинное, но я привожу его полностью:

"Ответ Демьяну Бедному"

Я часто думаю: за что его казнили?
За что он жертвовал своею головой?
За тем, что Рима враг, он, против всякой гнили,
Отважно поднял голос свой?

За тем ли, что в стране проконсула Пилата,
Где культом кесаря полны и свет и тень,
Он, с кучкой рыбаков из бедных деревень,
За кесарем признал одну лишь силу злата?

За тем ли, что себя на части разорвав,
Он к горю каждого был беспредельно чуток,
И всех благословлял, мучительно любя:
И маленьких детей, и грязных проституток?

Не знаю я, Демьян, в евангелье твоем
Я не нашел правдивого ответа...
В нем много бойких слов: ах, как их много в нем!
Но слова нет – достойного поэта.

Я не из тех кто признает попов,
Кто безотчетно верит в Бога,
Кто лоб свой расшибить готов
Молясь у́ каждого церковного порога.

Я не люблю религии раба,
Покорного от века и до века,
И вера у меня в чудесное слаба:
Я верю в знание и в силу человека...

Я верю, что стремясь по нужному пути,
Здесь, на земле, не расставаясь с телом,
Не мы, так кто-нибудь, ведь должен же дойти,
К, воистину, Божественным пределам.

И все-таки, когда я в "Правде" прочитал
Неправду о Христе, блудливого Демьяна,
Мне стало стыдно, будто я попал
В блевотину извергнуту спьяна.

Пускай Будда, Моисей, Конфуций и Христос,
Далекий миф, мы это понимаем,
Но все-таки нельзя ж, как годовалый пес,
На все и всех захлебываться лаем.

Христос — сын плотника, когда-то был казнен,
Пусть это миф, но все же, когда прохожий
Его спросил: "Кто ты?", ему ответил он:
"Сын человеческий", а не сын Божий.

Пусть миф Христос, как мифом был Сократ,
Так что ж из этого и следует подряд,
Плевать на все, что в человеке свято?

Ты испытал, Демьян, всего один арест,
И ты скулишь: "Ах, крест мне выпал лютый!"
А чтоб когда тебе голгофский дали крест,
Иль чашу с едкою цикутой?

Хватило б у тебя величья до конца,
В последний час, по их примеру, тоже
Благословлять весь мир, под тернием венца,
И о бессмертии учить на смертном ложе?

Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел его, пером, нимало:
Иуда был, Разбойник был,
Тебя лишь, только, не хватало.

Ты сгустки крови, у креста,
Копнул ноздрей, как толстый боров;
Ты только хрюкнул на Христа,
Ефим Лакеевич Придворов.

Но ты свершил двойной тяжелый грех:
Своим дешевым, балаганным, вздором,
Ты оскорбил поэтов вольный цех,
А малый свой талант покрыл большим позором.

Ведь там, за рубежом, прочтя твои стихи,
Небось злорадствуют российские кликушки:
"Еще тарелочку Демьяновой ухи,
Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай".

А русский мужичек, читая "Бедноту",
Где образцовый шрифт печатают дублетом,
Еще усерднее потянется к Христу,
А коммунистам, "мат" загнет при этом.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: Из области иррационального.

Горацио:
О день и ночь! Все это крайне странно!
Гамлет:
Как странника и встретьте это с миром.
И в небе и в земле сокрыто больше,
Чем снится вашей мудрости, Горацио
Шекспир: "Гамлет".

Мой отец любил эту фразу, и часто ее повторял.

В 1922 году по всей стране распространился странный слух: старая, потемневшая от времени, позолота, покрывавшая кресты и купола церквей, стала, сама собой, обновляться. Внезапно, среди

белого дня, на глазах у всех, она начинала светлеть и блестеть как новая. Это странное явление прокатилось по всей России, и свидетелями ее были многие десятки миллионов людей. Советская литература и история, конечно, не отметила этого явления, и умолчала о нем, но все те, кто проживал тогда в России, и кому теперь свыше 65 лет, могут это подтвердить. Однажды утром, возвращаясь с рынка с покупками, и проходя мимо церкви, мама была остановлена криками: "Смотрите, смотрите: крест и купол обновляются!" Мама подняла голову: действительно, одна часть темного купола и крест начали светлеть и блестеть. Собралась большая толпа; все глядели вверх. Постепенно, и на глазах у присутствовавших, обновление позолоты распространилось по всей поверхности купола, как если бы это делала невидимая рука. Многие в толпе начали креститься. Когда, вернувшись домой, мама рассказала обо всем виденном ею, Александра Николаевна, дававшая мне свой ежедневный урок, попросила позволение окончить со мной занятия раньше обыкновенного, и побежала смотреть на происходящее чудо. Одни за другими, все кресты и купола церквей города, обновились. Власти всячески старались уменьшить впечатление от этого события, и пытались распространить слух, что все это дело зловредных попов, которые ночью взлезают на купола и мажут их какой-то мазью. Конечно, подобное объяснение есть полнейшая чушь.

При советском режиме, и под всезрящим оком ГПУ, в России, десятки тысяч попов, лазящих по ночам на купола церквей, для совершения ими их "преступного" умысла, и не попавшихся ни разу на месте "преступления" — дело немыслимое. Некоторые, позитивно настроенные граждане, толковали о возможном массовом гипнозе, или же массовой галлюцинации; но все эти ученые доводы, принимая во внимание величину России и десятки миллионов свидетелей, не выдерживают никакой серьезной критики.

Пускай каждый думает об этом, что он хочет!

В это лето жить стало гораздо легче. На рынке появились продукты, как то: жиры, мука, яйца, сахар и т. д., но жалованье, которое продолжал получать в Санупре мой отец, было мизерное. Марья Михайловна Лесенкова, зарабатывавшая совсем мало, решила бросить свою службу и, вместе с моей матерью, заняться торговлей. На углу Чеховской улицы, рядом с нашим домом, стоял старый киоск. Я не знаю чей он был раньше, но в то время

он принадлежал городу. Обе дамы арендовали его у Горсовета, и купив муки, сахару, яиц и прочего, принялись печь пирожные и пирожки, и сидя в нем, продавали их прохожим. Торговля пошла очень бойко, и материально наше положение немного улучшилось.

Однажды, к нам явилась молодая хохлушка: грязная, оборванная и худая. Она пожаловалась моей матери, что буквально умирает от голода, стала умолять взять ее в прислуги, за комнату и стол. Мои родители согласились, и дав ей деньги на баню, одели ее чисто, и устроили у нас на кухне, назначив ей маленькое месячное жалованье. Маруся, так звали молодую украинку, была очень довольна, и начала у нас работать. Так как теперь мама много времени проводила в киоске, то помощь в домашнем хозяйстве оказалась весьма кстати. Все это было хорошо, но мой отец, естественно, продолжал быть недовольным своим заработком, и принялся искать лучшей службы. К этому времени, в Таганроге, вновь открылся, знаменитый на всю Россию, кожевенный завод. Попасть туда на службу было трудно, но жалованье там платили прекрасное. У моего отца оказались связи, и одно влиятельное лицо обещало ему поговорить с директором завода, гражданином Белоградовым. Через несколько дней мой отец получил приглашение спешно явиться к Белоградову и переговорить с ним лично. Немедля ни одного дня, папа отправился к директору, но каково было его удивление и разочарование, когда он услыхал, что место уже занято. Накануне, к этому самому директору, пришел некто, отрекомендовался Михаилом Давидовичем Вейцманом, и попросил у него службы.

— Я, — объяснил Белоградов, — обещал моему приятелю дать это место, на нашем заводе, М. Д. Вейцману — вот я его ему и дал; вышло досадное недоразумение, о котором я очень сожалею, но поделать ничего не могу: для двух М. Д. Вейцман, у меня работы нет.

Опять эти две буквы: М. Д., сыграли нехорошую роль, дав возможность, правда совершенно случайно, получить дяде Мише службу, предназначавшуюся моему отцу. Пришлось примириться со случившимся, и продолжать работать в Санупре на прежнем, скромном, жалованьи. К счастью еще, что мама теперь прилично зарабатывала продажей пирожных.

После своего поступления на кожевенный завод, дядя Миша начал вновь жить, для той эпохи, весьма прилично. Его семья каждый день стала есть белый хлеб, мясо, коровье масло и свежие овощи.

Как-то раз, в разговоре с моей матерью, которая жаловалась на мизерное жалованье, получаемое папой, дядя ей сказал:

— Мося сам виноват в этом, он недостаточно энергичен, а в наше время нужно проявлять большую энергию.

Услыхав такую речь, моя мать воспылала негодованием:

— Это говоришь ты, Миша, получивший случайно место твоего брата?! Ты, который учился на его деньги, который никогда не имел, да и не будет иметь, такого положения, какое занимал Моисей в Геническе, и ты смеешь бросать ему обвинение в недостаточной энергии.

В тот день досталось дяде Мише от моей мамы.

Проснувшись, в одно прекрасное утро, первыми словами моего отца было:

— Послушай, Нюта, этой ночью мне снился мой отец; будто действительно ночь, и я лежу и сплю; вдруг открывается дверь и, пробудившись, я вижу, что в комнату вошел мой покойный отец. Обратившись ко мне он сказал: "Я пришел тебе сообщить, Мося, что ты не должен больше нервничать и волноваться. Скоро у тебя все переменится к лучшему". — С этими словами он повернулся и вышел из комнаты.

— Дай Боже! — ответила моя мать, — может оно так и будет.

Встав, она отправилась на кухню, велеть Марусе готовить завтрак. Там уже возилась, со своим примусом, жена Дедушки Мороза, тетя Аграфена. Увидав маму, она воскликнула:

— Нюта, сегодня ночью мне снился Давид, и так странно! Будто я у себя в комнате. Вдруг открывается дверь, входит Давид и говорит мне: "Здравствуй, Аграфена; Моисей живет теперь у тебя. Укажи мне, пожалуйста, его комнату". — Я указала ему на вашу дверь, и он ушел.

Мама в первый миг онемела от удивления, потом немного успокоилась, и приведя в порядок свои мысли, рассказала, пораженной не менее ее, тете Аграфене, папин сон.

Через несколько недель, мой отец получил от местного Исполкома предложение организовать в Таганроге за счет правительства, так называемый соляной трест, т. е., попросту, контору по закупке и продаже соли, и ее склады в порту. Отец принял это предложение, и, организовав в короткий срок все соляное предприятие, был назначен его директором. Дело пошло великолепно, и папа получил официальную благодарность от таганрогского Исполкома, а до сих пор, по его собственным словам, о соли он знал

только то, что ею хорошо посыпать вареное мясо. Жалованье отцу шло прекрасное, и в конце года моя мать оставила свою торговлю пирожными.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: Конец 1922 года.

Готовясь торжественно отпраздновать пятилетие октябрьской революции, советская власть, после закрытия почти всех церквей и синагог страны, принялась за систематические отвинчивание памятников. Только на Медного Всадника, в Петрограде, у большевиков не поднялась рука. Рассказывали еще, что не тронули знаменитую конную статую Александра Третьего, творение талантливого скульптора Трубецкого. Этот памятник спасло его собственное уродство. Трубецкой якобы нарочно изваял карикатуру на царственного пьяницу. Царь — "Миротворец" был изображен в виде какого-то русского мужика, верхом на чем-то вроде гиппопотама. До революции острили: "На площади стоит комод, на комоде — бегемот, на бегемоте — идиот, на идиоте — шапка". Теперь памятник оставили, прибив к его цоколю медную дощечку с четырехстишием Демьяна Бедного:

Мой сын и мой отец народом казнены,
А я, прияв удел посмертного бесславья,
Стою здесь пугалом чугунным, для страны
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

У нас, в Таганроге, было два памятника: Петру Первому и Александру Первому. Громадную статую великого царя, большевики сняли с его не менее огромного пьедестала, но, к счастью, не уничтожили, а поместили ее в городской, исторический музей, рядом с каменными бабами, найденными в курганах. Величественный пьедестал остался пуст. Кто-то из местных властей догадался, и поставил на него крохотную статуэтку Ленина, переименовав, по этому случаю, Петровскую улицу на Ленинскую. Николаевская улица, к предстоящим торжествам, была перекрещена в улицу имени Троцкого. Крохотный Ленин, на огромном пьедестале, был великолепен и вызывал улыбку у всех прохожих. Этот памятник сделался еще одной достопримечательностью моего родного города. Вторая статуя, украшавшая улицы Таганрога, была, как ей и полагалось быть, меньше размером, и стояла в небольшом сквере, на Александровской улице, напротив знаменитого греческого

монастыря. Изображенный в величественной позе, умерший в Таганроге царь-законодатель (он же Александр Благословенный), держал в правой руке медный свиток, который мне всегда, почему-то, казался чем-то вроде полена, но долженствовавший изображать собой свод законов Сперанского. Этот памятник власти не сняли, но заколотили его внутрь деревянного обелиска, и таким образом сделали его невидимым. У подножия этого обелиска был похоронен какой-то местный советский герой, и на могиле бойца, павшего за торжество на земле Третьего Интернационала, поставили маленькую колонку с красной звездой на ее верхушке. Таганрожцы острили:

"Вы не знаете почему заколотили деревянными досками памятник Александру? — Для избавления Благославенного Царя от зрелища всякой дряни, улегшейся у его ног".

Прибавлю от себя, что лично я ничего против отвинчивания памятников не имею. Для меня все они — идолы, кого бы не изображали. Им, по-моему, место не на улицах или площадях, но в музеях.

7 ноября 1922 года в Таганроге очень торжественно отпраздновали пятую годовщину Великой октябрьской революции. Шли войска, играла музыка, шелестели знамена. Газеты были полны статьями о международном положении, воспоминаниями участников первых дней революции и гражданской войны, а также стихами местных поэтов. Лучшую поэму написал один молодой таганрогский еврей — коммунист, имени которого я не помню. В этой поэме описывался человек-робот, долженствовавший олицетворять революцию, идущую к своей далекой, но лучезарной цели. Он весь покрыт ранами, и на его стальной груди выжжены огнем даты великих событий и этапов пройденного пути. Кончалась эта поэма так:

О сколько ран на нем!
Одежда сорвана,
Но знамя высоко и светит алой новью
В руке из чугуна.

Среди глухих дорог, где преграждают доступ
Громады рыхлых глыб, где весь в лощинах путь,
Стучит уверенно его стальная поступь,
И ровно дышит грудь.

3 декабря, в день моего рождения, Женя мне подарила шахматы, и научила меня этой игре. Я полюбил играть в них, но большого шахматиста из меня не вышло.

Новый год встречали весело. Вновь возродились надежды на лучшее будущее. Накануне праздника, вместо груды обесцененных совзнаков, мой отец, в первый раз, принес домой свое жалованье, в виде двадцати новеньких, приятно хрустящих, червонцев.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ: Переходный возраст.

В эту зиму, в нашем доме сделалось и тепло и уютно; на столе появились: белый хлеб, масло, сметана, молоко, сахар, яйца и даже мед. За обедом мы ели мясо. Я учился более обыкновенного, так как Александра Николаевна готовила меня в пятый класс только что образовавшейся в СССР Единой Трудовой Школы. Для поступления в нее требовалось выдержать экзамен, и с этой целью моя учительница начала проходить со мной синтаксис русского языка и алгебру. Я не любил арифметических задач, казавшиеся мне скучными, но алгебра меня серьезно заинтересовала, и я стал мечтать об изучении математики. Между тем, для моей дальнейшей школьной карьеры намечались серьезные затруднения. Упорно носился слух, что наш город будет присоединен к Украинской Социалистической Советской Республике (УССР); в этом случае мне придется изучать украинский язык. К счастью, в Кремле решили иначе, и граница России прошла, как ей и следовало проходить, на северо-запад от станицы Матвеев Курган. Таганрог остался в РСФСР, вошел в состав Северокавказского Края, и вопрос об изучении украинского языка отпал.

Между тем, во мне самом начали происходить серьезные перемены. Внешним их признаком явился мой голос: он стал ломаться. Разговаривая, я порой переходил на такие басовые тона, которым мог бы позавидовать любой соборный протодьякон, а порой срывался на дискант. Мои игры и интересы тоже изменились. С Женей я часто, и охотно, проводил время, склонившись над шахматной доской; с остальными моими приятелями и приятельницами я хотя и продолжал играть по-прежнему, бегая с ними по улице вперегонку, но кое-что, в наших отношениях, стало менее детским. Коля Харитонов превратился в пятнадцатилетнего уличного мальчишку. Не знаю: учился ли он где-нибудь, или нет? Меня этот русский хулиган любил, и прозвал Отцом Филимоном; но рас-

сказывал мне такие вещи, из области его похождений, в компании таких же как он парней, в возрасте от 14 до 17 лет, о которых я предпочитаю письменно не распространяться. Кроме того у него образовался довольно большой репертуар шуток и анекдотов, способных заставить покраснеть, подобно юной девице, старого вахмистра царской службы. С его сестрой, Нонной, моей верной подружкой детских игр, отношения стали тоже меняться. Еще года полтора тому назад, она плакала и жаловалась моим родителям, что я ей разорвал куклу, но теперь нас связывала дружба более интимного и менее детского характера. Мы уединялись, уходили гулять на улицу, и там болтали всякий полудетский вздор, который, постепенно, делался все менее и менее детским. Однажды наша беседа коснулась "запретных" тем, и это взволновало нас обоих. В тот день, в компании Нонны, я впервые почувствовал себя мужчиной, в узком смысле этого слова. Моя мать начала с беспокойством следить за мной. Воспитанная на понятиях девятнадцатого века, она очень опасалась, в связи с возможным пробуждением во мне половых инстинктов, за мое здоровье. Нередко она принималась беседовать со мной, пугая меня всякими ужасными последствиями, если я... и т. д. Такие разговоры действовали на меня подавляюще. Подобными воспитательными методами, моя бедная мать, рисковала достигнуть обратного результата, и вызвать, у своего рано развивающегося сына, неврастению. Еще с самого раннего детства я легко краснел. При всяких обстоятельствах, когда меня что-либо смущало, волновало или пугало, я делался красным как кумач. Теперь меня, это мое неудобное свойство стало сугубо мучить. Стоило мне остаться с глазу на глаз с моей горячо любимой матерью, как мысли невольно касались "стыдного", и я заливался краской, а мама начинала с беспокойством допытываться причины моего смущения. Однажды, сидя за обеденным столом, вместе с моими родителями, я опять подумал о чем-то в этом роде, и покраснел. Мама пристально взглянула на меня, от чего я покраснел еще больше.

— Филя, в чем дело? Почему ты сидишь такой красный?

Но тут, к счастью, вмешался мой отец:

— Послушай, Нюта, оставь его в покое, он теперь обедает с нами и, следовательно, ничего плохого делать не может; пусть себе ест с аппетитом — это все, что от него теперь требуется.

Он, как мужчина, понимал меня лучше.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ: Последнее лето в Таганроге.

За год НЭПа мы все перестали походить на людей, только что вставших после тяжелой болезни. Больше всех пополнела и похорошела Маруся, и вновь превратилась в молодую, красивую украинку. Вскоре она нашла себе поклонника, в лице молодого агента ГПУ, и сошлась с ним. Скверное влияние на Марусю ее друга, проявилось очень быстро. Однажды утром она заявила моей матери, что мы ее эксплуатируем больше года и, что "теперь не те времена". Указав на закон, по которому ей полагалось получать столько-то червонцев в месяц, она потребовала от нас довольно крупную сумму, которую мы должны ей выплатить немедленно, и тогда она уйдет с миром, в противном случае в дело вмешается ее друг из ГПУ. Мой отец тотчас заплатил ей все сполна, и Маруся навсегда оставила наш дом.

На прощание мама ей сказала:

— Ты, Маруся, поступила с нами плохо, если тебе не подходили условия, ты могла бы о том нас уведомить, но не требовать таких денег, да еще угрожать нам вмешательством ГПУ. Мы тебя подобрали, умирающую от голода, взяли к себе, одели и накормили — так честные девушки не поступают.

— А что мне своего терять! — коротко ответила Маруся, и с этими словами ушла.

Мама стала искать себе другую домашнюю работницу, и вскоре нашла такую. Настя, или Настенька, была молодая, красивая и здоровая казачка, родом из Матвеев Кургана; девушка умная, грамотная и безукоризненно честная. Работала она прекрасно, а в свободное время, лежа на своей постели, читала дешевые романы, куря одну папиросу за другой. За ней водилась еще одна слабость: любила флиртовать с молодыми мужчинами, ...и не только флиртовать, но головы никогда не теряла. Был, однако, разряд людей, которых она ненавидела и презирала всем своим казацким сердцем: большевиков. Подобные "крамольные" чувства Настенька скрывала, но советскую власть терпеть не могла.

Договорившись об условиях, она поступила к нам на службу, и сразу, между мамой и ею, возникли взаимные доверия и симпатии. Когда моя мать ей рассказала о поступке Маруси, которую та знала в лицо, Настя только пожала плечами:

— Дура несчастная — еще не раз пожалеет.

Мой отец, между тем, продолжал занимать пост директора

Таганрогского соляного треста, и устроил на службу, на складах в порту, маминого отца. Дедушке, в то время было 74 года, но его богатырское здоровье, несмотря на все пережитое, еще не иссякло. На службу в порт приходилось ходить пешком, а до него было версты с две, а может быть и больше. Летом, по возвращении домой, этот старик брал полотенце и отправлялся на море купаться, проделывая таким образом до десяти километров в день.

Этим летом мои родители возобновили довоенную традицию: наняли дачу. Дача помещалась в самом Таганроге, на Михайловской улице, и состояла из простенького домишка в три комнаты, без всяких удобств, но при нем был большой сад, тянувшийся до самого обрыва, глубиной метров в пятьдесят; внизу находился песчаный пляж, окаймляющий часть Таганрогского залива. В хорошую погоду был ясно виден его украинский берег. Воду на этой даче приходилось каждое утро покупать — ее привозил водовоз в бочке. Вся прилегающая к берегу сторона Михайловской улицы состояла из таких дач, и кончалась широким спуском ведущим к заливу. Дачу мы сняли вместе с семьей папиного сослуживца, Николая Семеновича Верескова, состоящей из него самого, его жены, Елены Петровны, и из двухлетней дочки, Зои. Николай Семенович проделал в Красной Армии, в кавалерии Буденного, всю гражданскую войну, был, некогда, коммунистом, но его за что-то исключили из партии. Елена Петровна, будучи еще совсем молодой женщиной, хозяйничать не любила, и дома оставалась редко. Помню один случай: накануне, Николай Семенович отыскал на рынке и купил, по весьма сходной цене, ведро прекрасного меда, пахнувшего акацией, и поставил его у себя в комнате. Елена Петровна, по своему обыкновению, оставив Зою одну, без всякого присмотра, ушла на полчаса, куда-то по своим делам. Мы с мамой сидели в саду, когда до нас донесся испуганный крик Елены Петровны. Мы тоже испугались и поспешили ей на помощь. Оказалось, что по возвращению, ей представилось следующее зрелище: Зоя, пользуясь отсутствием матери, влезла в ведро с медом. Девочка, как была, в платьице и в беленьких туфельках, погрузилась, чуть не по горло, в душистый мед. В одной руке она держала сапожную щетку, всю в меду, а другой черпала его жадно ела. Зою вытащили из ведра, раздели и вымыли, но она слишком много поела сладкого, и у нее сделались рвоты. Платье, которое было на ней, спасли, выстирав его хорошенько, но беленькие

туфельки погибли безвозвратно, а мед, конечно, пришлось вылить. Легко представить домашнюю сцену, разыгравшуюся по возвращении Николая Семеновича со службы. Досталось в тот день Елене Петровне, ...и по заслугам!

Дни летели быстро. Вскоре соседнюю дачу нанял дядя Володя, и поселился в ней на месяц, вместе с Женей. Все время мы проводили в саду или на берегу моря. Однажды утром, на пляж пришла довольно полная женщина, лет сорока, и раздевшись догола, легла на спину, на глазах у всех, "загорать на солнце". Дело в том, что с недавних пор, советская власть уничтожила закон, карающий оскорбление общественной нравственности, чем и воспользовалась толстая бесстыдница. Этот спектакль стал повторяться каждое утро, чем моя мама была очень недовольна.

В один прекрасный день, когда она так лежала, мимо проходила группа рабочих, сокращавших берегом свой путь. Большинство из них были молодые парни. Глядя на нее, они смеялись, и отпускали грубые шутки, которые ее нисколько не смущали. Позади их всех шел уже довольно пожилой рабочий. Неожиданное зрелище заставило его приостановиться. Он уставился с недоумением и отвращением на голую бабу, и внезапно, ничего не говоря, с негодованием плюнул прямо на нее. Она поспешно встала, оделась и ушла, и больше не возвращалась.

Лето в том году выдалось прекрасное. Дни стояли ясные и довольно жаркие. Раз как-то мы пошли вечером гулять, по нашей тихой Михайловской улице, и дошли до спуска к берегу. Оттуда было видно море. Поднялась полная луна. Море было спокойно, и лунная дорога сверкала и серебрилась на нем. На одной из ближайших дач пели простенький романс, и это пение, и этот лунный свет, скользящий по ровной водной поверхности, запечатлелись у меня на всю жизнь.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ: Отец нашел службу по своей специальности.

В середине августа мы покинули нашу дачу, и вернувшись домой, я снова принялся, с помощью Александры Николаевны, "грызть зубами гранит науки". Жизнь, хоть и медленно, стала входить в свое нормальное русло. В Таганроге открылся городской театр и заработали два кинематографа: "Луч" и "Модерн". В театре я был два раза. Мой отец повел меня в него посмотреть

танец знаменитой, как он меня уверял, балерины. ''Позже, Филя, — говорил он мне, — ты сможешь сказать, что видел ее на сцене''. Балет мне не понравился, а имя этой знаменитости я забыл.

Другой раз мама взяла меня с собой, в тот же театр, на ''Снегурочку'' Островского. Эта пьеса доставила мне огромное удовольствие. Но главным образом, в компании Жени и других подростков, я стал посещать наш самый большой кинематограф, ''Луч''. Первые фильмы, в своем огромном большинстве, были американского происхождения. Один из них был в шести сериях, и я их просмотрел все, от первой до последней. Назывался он ''Тайны Нью-Йорка или душащая рука''. Фильм был потрясающим. Помню еще один, с участием знаменитого комика, Макса Линдера. Начали появляться и советские картины, как например ''Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма''. Все они были, в большей или меньшей степени, пропагандного характера. В тот год я не только учился, но и развлекался.

Однажды вечером, когда отец был уже дома, к нам пришли неожиданные гости: Абрам Давидович и Марья Григорьевна Либман, с другом моего раннего детства, их сыном, Солей. Мы с ними не видались со времени нашего отъезда из Геническа. Оказалось, что вскоре они тоже покинули этот город, и проблуждав, в вихре гражданской войны, по юго-востоку России, осели в Ростове на Дону. Недавно, совершенно случайно, им удалось узнать наш адрес, и они приехали, на один день, в Таганрог, с целью нас повидать. Начались бесконечные воспоминания о довоенной жизни в Геническе. Даже нам с Солей было о чем поговорить. Но оказалось, что не простое желание побеседовать с друзьями о прошлом, вызвало их приезд: у Абрама Давидовича было серьезное дело к моему отцу. Советская власть совсем недавно организовала на Северном Кавказе отделение Народного Комиссариата Внутренней Торговли (Наркомвнуторг), под названием ''Госторга'' (государственная торговля). Госторг будет тесно сотрудничать (и в некоторой степени зависеть) с Народным Комиссариатом Внешней Торговли (Наркомвнешторг), так как закупаемый товар предназначается, главным образом, для экспорта за границу. При НЭПе внутренняя торговля была свободна, и частные лица могли конкурировать с государством, но внешняя торговля являлась государственной монополией. В Ростове на Дону открывалась центральная контора Госторга для всего Северного Кавказа. В Госторг входили различные отрасли торговли, меж-

ду которыми, конечно, хлебная. Либману было предложено стать во главе хлебной конторы, и взять себе в помощники еще одного крупного специалиста. Первым делом Абрам Давидович подумал о моем отце; но тут вмешалась Марья Григорьевна и безапелляционно заявила своему мужу:

— Абрам, не делай глупости: директором должен стать Моисей Давидович, а ты будешь его помощником.

Она боялась, что слишком большая ответственность ляжет на плечи ее Абраши, и он может с работой не справиться. Абрам Давидович согласился с доводами своей супруги, и предложил это место моему отцу. Папа ответственности никогда не боялся, и потому дал немедленно свое согласие. Наконец он сможет вернуться к своему любимому хлебному делу, которое для него являлось единственной настоящей специальностью. Было решено, что мой отец, через несколько дней, поедет в Ростов представляться главному директору северокавказского Госторга, Петру Сергеевичу Сорокину, и если дело уладится, то отец подаст в отставку в Сольтресте, и после моего экзамена мы переедем жить в Ростов на Дону. На следующий день Либманы вернулись к себе.

Неделю спустя мой отец поехал в Ростов для переговоров с начальством о своей будущей службе. С собой он взял меня. В тот день я впервые увидал этот город. Таганрог, после Геническа, казался огромной столицей; но тут, много раньше,нежели я услыхал впервые о теории Эйнштейна, мне стал понятен принцип относительности. Чем был Таганрог перед Ростовом — деревней! Шумные, многолюдные улицы, трамваи, автобусы, автомобили и громадные дома: в три, четыре и, даже, пять этажей! Подобных "небоскребов" я еще никогда не видывал, разве что в американских фильмах; а на углу Большой Садовой и Большого Проспекта возвышалось здание в шесть этажей. Мне очень захотелось остаться жить в таком огромном городе, и мое желание исполнилось: отцу удалось, на хороших условиях, получить место директора хлебной конторы Госторга, и наш отъезд был назначен на первое октября.

В сентябре у меня были экзамены, первые из длинной серии других, которые мне пришлось держать в течении моей жизни. Никогда я не сумел к ним привыкнуть, несмотря на то, что так много раз и экзаменовался, и сам экзаменовал. Они меня всегда неприятно волновали. В тот раз я был настолько хорошо подготовлен, что, к моему удивлению, все сошло легко и просто. Меня

спрашивали о вещах, которые я давно и твердо знал, а все задаваемые задачи оказались пустяковыми. Короче, я выдержал экзамен блестяще, и получил свидетельство о поступлении в пятый класс.

1 октября 1923 года, мы покинули Таганрог и переехали жить в Ростов.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

В Ростове на Дону.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: Ростов.

На юг от нынешнего Цимлянского водохранилища и Волгодонского канала лежит северокавказская равнина. На севере она ограничена Доном и Волгой, на западе — Азовским и Черным морями, на востоке — Каспием, на юге — Кавказским хребтом. Довольно большое количество городов, и множество казацких станиц и сел, расположены на ней. Однообразная, и плоская как блин, тянется она на многие сотни километров. Летом на ней нестерпимо жарко и пыльно, а зимой, на этой равнине, стоят суровые морозы, и гуляют по ней снежные метели. Всем памятен "Ледяной поход" генерала Корнилова. Осенней порой, в Новороссийске, бешенный Норд-Ост сбрасывает в море груженные зерном вагоны. В сорока километрах от Новочеркаска, прежней резиденции наказных атаманов, и, приблизительно, на таком же расстоянии от гирл Дона, на его высоком правом берегу, стоит, тогдашняя административная столица Северного Кавказа, Ростов на Дону. Внизу течет спокойная, широкая река. Ни в ясную погоду, ни в страшную бурю, не грозен "тихий" Дон. "Ревет да стонет Днепр широкий", писал некогда Тарас Шевченко; но Дон никогда не ревет и не стонет. Зимой он скован льдом; весной он разливается, как море, до самого горизонта; а летом и осенью — спокойно катит, среди болотистых берегов, свои воды в Таганрогский залив, и дышет на город миазмами всяческих лихорадок, брюшного тифа и холеры. Ростов растянулся длинной и узкой лентой, от Софиевской площади, отделяющей его от маленького армянского городка, Нахичевани, до Темерницкого холма,увенчанного водонапорной

башней, и у подножия которого расположился ростовский вокзал. От вокзала до Софиевской площади (как-то она теперь называется?), протянулась главная улица города: Большая Садовая. Почти все гостиницы и рестораны, гастрономические магазины и кондитерские, театры и кинематографы, находились на ней или вблизи нее. На углу Большой Садовой и Братского переулка, в мое время, возвышалось недавно построенное здание в новом вкусе, ростовского университета. Свыше двадцати местных "единых, советских, трудовых школ", готовили для него поколения студентов. Под горой работал порт, а через Дон был перекинут огромный подъемный мост. Когда он был опущен, то через него проходили поезда и проезжали автомобили; когда же он бывал поднят, то под ним проплывали пароходы и баржи. При мне стали ходить регулярно, из Ростова в Феодосию, мелкосидящие торгово-пассажирские пароходы. По дороге они заходили в Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Керчь. Самым крупным из этих пароходов был в то время, недавно спущенный с верфей, "Ян Рудзутак". Кроме того, Ростов являлся крупным железнодорожным узлом; из него можно было ехать в Москву и во Владикавказ, в Астрахань и в Одессу. Через него проходил знаменитый сточасовой экспресс: Петроград–Тифлис.

Вот в этом городе мне было суждено провести три года моего отрочества. В нем мне исполнилось: двенадцать, тринадцать и четырнадцать лет.

ГЛАВА ВТОРАЯ: Общежитие Госторга и его обыватели.

На углу Малой Садовой и Большого Проспекта возвышалось красивое пятиэтажное здание, принадлежавшее до революции страховому обществу "Россия". Со стороны Большого Проспекта в нем помещался театр, а со стороны Малой Садовой, в трех первых этажах, находились конторы Госторга. Два верхних этажа были отведены под общежитие старших служащих. Одна из квартир пятого этажа, была занимаема главным директором, Петром Сергеевичем Сорокиным. Квартира состояла из четырех комнат, кухни, и при ней комнаты для домашней работницы, длинного коридора и всех удобств. Зимой квартира согревалась центральным паровым отоплением. Полы были паркетные, и их раз в неделю приходил натирать воском, полотер, Ермолай. В доме действовал

лифт, нередко застревавший между этажами. Мы поселились в квартире директора. Сорокин отдал нам две из четырех принадлежащих ему комнат. Настя, приехавшая с нами, заняла комнату около кухни. Мы договорились, что она, за наш счет, будет обслуживать Сорокина с его женой.

Петр Сергеевич был высокий, и уже немолодой, человек с желтым, рябым лицом, и с тяжелым, неприятным взглядом. Во всем его облике было что-то отталкивающее, и даже пугающее. Он не очень давно женился на совсем молоденькой и миловидной женщине. Звали ее Нина Валерьяновна Чувство испытываемое ею к мужу состояло из отвращения и страха. Что касается Петра Сергеевича, то он ее не столько любил сколько ревновал. Сорокин был настоящим советским сановником: членом центрального, московского правительства, членом краевого комитета партии и президиума краевого исполнительного комитета (Крайисполкома). В прошлом, в период гражданской войны, он был, как поговаривали, председателем какого-то ЧК, и на его совести лежало много расстрелов более или менее невинных людей. От времени он запирался в своей комнате, и там напивался в одиночку. Предполагали даже, что он был морфиноманом. Может быть он пытался в алкоголе и морфии утопить свою, порой просыпающуюся, совесть. Моя мать подружилась с его женой, но его самого боялась. Однажды он спросил моего отца:

— Скажите, Моисей Давидович, почему это, когда я вхожу в комнату, Анна Павловна встает и покидает ее?

Отец, конечно, уверил его, что это ему только кажется.

Сорокин уважал моего отца, считая его безукоризненно честным человеком и прекрасным специалистом. Однажды он ему сказал:

— Знаете, Моисей Давидович, не в моем обычае таскать за собой хвосты, но если меня, в один прекрасный день, переведут на другую работу, я, с удовольствием, возьму вас с собой.

В другой раз, было созвано какое-то важное партийное собрание. На него могли попасть только члены партии. Петр Сергеевич заявил:

— Моисей Давидович, я хочу чтобы вы, вместе со мной, присутствовали на нем.

У дверей зала, в котором происходило это собрание, дежурил сторож-коммунист. Петр Сергеевич предъявил ему свой партийный билет, и указав на моего отца, промолвил:

— Этот товарищ идет со мной.

Но красный цербер остановил отца:

— Товарищ, предъявите ваш партийный билет.

— У меня его нет — я беспартийный, — сказал отец.

— В таком случае, товарищ, вы войти сюда не можете, — заявил страж.

Петр Сергеевич позеленел в лице:

— Вы что, не слышали, что я вам сказал? товарищ идет со мной. Знаете ли вы кто я такой? Я — член центрального правительства.

На этот раз побледнел сторож:

— Простите, товарищ, я не знал; если так то... конечно: проходите, товарищ, — и он широко открыл перед моим отцом двери зала.

Несколькими годами позже, будучи уже в Москве, Петр Сергеевич Сорокин сошел с ума.

В соседней квартире, соединенной с нашей всегда открытой дверью, жили Либманы и директор угольной конторы, Адно. Михаил Львович Адно, по происхождению еврей, человек лет сорока, был старым активным коммунистическим деятелем. При Столыпине он был сослан в Сибирь на каторжные работы. Отбыв положенные ему пять лет каторги, он остался на положении политического ссыльного в восточной Сибири. Освобожденный революцией, с громким титулом политкаторжанина, Михаил Львович проделал в рядах Красной Армии всю гражданскую войну, и теперь начал занимать ответственные посты. Он был дважды женат, оба раза на сибирячках. Его первая жена умерла от родов, оставив ему сына, Бориса. Вторая жена, с которой он теперь жил, родила ему дочь, Нину. Во время гражданской войны, как и многие другие дети той страшной эпохи, маленький Борис потерялся, и сделался беспризорником. Только год тому назад Адно удалось его разыскать. О Борисе я расскажу ниже. Сам Адно был человеком симпатичным и тихим, но, как говорится, "с неба звезд не хватал". Его теперешняя жена, Марфа Петровна, была злой, сварливой и малограмотной бабой. Что касается ее внешних качеств, то скажу словами Тэффи: "Затем нужно отметить, что она некрасива. Не то, что на чей вкус. На всякий вкус". Ее лицо сильно напоминало оголенный череп: очень глубокие глазные впадины, сильно выступающие скулы, крохотный, вздернутый нос, огромный рот. Не знаю в кого пошла их дочь, Нина: она была весьма миловидной девочкой.

Моему отцу дали трех помощников, все они были евреями: одного беспартийного — Либмана, и двух партийцев: Бонка и Копеля. Давид Ильич Копель был еще молодым человеком, деятельным, но не очень симпатичным. Его следовало остерегаться: такой и донести мог. Что касается Бонка, то он был честным работником и прекрасным товарищем. Однажды Либман, в своей работе, совершил какую-то весьма крупную ошибку, и ему, по тем временам, могла грозить тюрьма. Бонк сказал: "Я возьму вину на себя. Мне, как коммунисту, ничего не будет". Он так и сделал, и все сошло благополучно. Бонк был женат на русской и имел двоих детей: Илью и Веру. Илья был четырьмя годами старше меня, и я его мало знал, а Вера была моей однолеткой и приятельницей. Оба они были очень красивыми молодыми людьми. Семья Бонка занимала квартиру под нами, в четвертом этаже.

Во второй квартире, рядом с семьей Бонк, жил, с женой и сыном, директор конторы по закупке и экспорту мехов и ковров, еврей, по имени Литвак. Совсем молодой, изящный и стройный, он походил, со своим орлиным профилем на черкеса. Елена Яковлевна, его жена, тоже еврейка, была еще моложе его, чрезвычайно красивая и развратная женщина. Она не скрывала этого, и говорила, что они с мужем дали друг другу полную свободу, хотя и продолжают жить как супруги. Однажды, в компании других дам, и в присутствии моей матери, эта "дама" стала рассказывать о самой себе такие вещи, называя все своими именами, что возмущенная мама не выдержав, сказала ей:

— Елена Яковлевна, как это возможно?! Такая молодая и красивая женщина как вы, может своим очаровательным ротиком произносить подобные слова! Кроме того вы верно шутите и клевещете на саму себя.

Она бесстыдно расхохоталась:

— Уверяю вас, дорогая Анна Павловна, что все, что я говорю — чистейшая правда.

Война и революция сказались на нравах.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Советская школа.

По приезде в Ростов, мои родители решили меня определить в школу, в которой уже учился Соля Либман. Старое, довольно большое, трехэтажное здание советской трудовой школы № 1,

при царском режиме принадлежало ростовской классической гимназии. Попасть в нее было нелегко, и мой таганрогский диплом там не был принят во внимание. Хотя занятия уже начались, мне было предложено держать новый, проверочный экзамен, предупредив при этом, что главным препятствием для меня будет являться русский язык, преподаваемый старой и очень требовательной учительницей. В педагогическом совете ее голос имел большой вес, и ее мнение могло оказаться решающим. Однако мой письменный экзамен, несмотря на порядочное количество ошибок, прошел по тогдашним понятиям, недурно, а на устном я поразил экзаменационную комиссию теоретическими знаниями правил русской грамматики. Я всегда был склонен больше к теории, чем к практике. Нам потом рассказывали, что на педагогическом совете, преподавательница русского языка воскликнула: "Давно не встречала мальчика его возраста, обладающего такими познаниями". Александра Николаевна меня подготовила очень хорошо; я был принят. Когда я впервые переступил порог класса – сердце мое усиленно билось. Мне указали на свободное место на одной из парт. Я сел, вынул из новенького ранца, накануне купленного мне моими родителями, "неразливную" чернильницу и тетрадь. Первым был урок русского языка. Вошла та самая грозная учительница, и сев за свой стол начала диктовать. Открыв тетрадь, я принялся писать. "Новичок, как ты сюда попал?" Я обернулся. Русский мальчик лет двенадцати, с любопытством, но без особого доброжелательства, смотрел на меня. "Новичок, как тебя зовут?", – с этими словами он толкнул меня под руку, и я поставил, на чистенькой первой странице огромную кляксу. "Тише там", – шикнула учительница, и он замолчал, но продолжал, от времени до времени, толкать меня под локоть и в спину.

Прозвонил звонок и началась перемена. Я, с некоторым беспокойством, встал со своего места. Меня окружили: "Новичок! Новичок! Как тебя зовут?" Я сказал им свое имя; но меня не отпускали, толкали и смеялись. Звонок прекратил мои мучения. На большой перемене я вышел в коридор; там я встретил Солю, учившегося в третьем классе. Он был окружен группой учеников, играл весело с ними, и видимо был душой общества. Удивительно, как этот мальчик умел подделываться под любой тон. Я подошел к нему, преследуемый несколькими озорниками из моего класса, но он заметил, что я являюсь предметом травли, быстро отошел от меня, не желая быть скомпрометированным в глазах своих

товарищей, подобным знакомством. В тот день я вернулся из школы домой с тяжелым сердцем, и рассказал все моим родителям. Папа меня успокоил, объяснив, что такова участь почти всех "новичков", но, что скоро все обойдется. Однако дни шли, а травля не только не прекращалась, но все усиливалась. Я был слишком тихим мальчиком, привыкшим к домашнему воспитанию, и это обстоятельство мне сильно вредило. Все же такие явления, как травля "тихонь" и "новичков", обыкновенно недолговечны. Со временем товарищи по классу привыкают к новому ученику и принимают его в свою компанию. В старой царской гимназии, единственным исключением из этого правила являлись "фискалы", т. е. доносчики, но они были редки. К сожалению, причина моей травли была не та: все чаще и чаще я стал слышать слово "жид". "Эй, ты, жид пархатый!" "Жиденок, в морду не хочешь? Ха! ха! ха!" Соля, внешность которого была более русской, избежал всего этого, но у меня всегда был сильно выраженный еврейский тип.

Дольше терпеть издевательства и оскорбления я не мог. Мои родители нашли мне репетиторшу, долженствовавшую на первых порах, помогать мне. Это была молодая учительница — еврейка, преподававшая в другой советской школе. Звали ее Дора Владимировна Гершфельд. Она посоветовала моим родителям перевести меня в советскую трудовую школу № 13, ту самую, в которой она учительствовала. В конце ноября я перешел в пятый класс этой школы, и в ней провел три года, до окончания мной семилетки, и получения диплома.

До революции это было еврейское училище, и в мое время почти все преподаватели, и 80% учеников, были евреями. В городе нашу школу в насмешку называли: Сов. Труд. Хедер № 13. В ней я чувствовал себя прекрасно. Директором этой школы была другая еврейская девушка лет 35, Евгения Ильинична Шершевская. Красивая, умная, прекрасный оратор, она окончила три факультета: юридический, естественных наук и химический. В старших классах, Евгения Ильинична преподавала химию. Учителем математики был ее отец: Илья Григорьевич Шершевский, а русский язык преподавал ее двоюродный брат. Как видите: школа носила несколько семейный характер. Дора Владимировна преподавала у нас обществоведение, заменявшее историю, науку, которую больше не проходили. Новые педагоги рассуждали, примерно, так:

"Не все ли равно, если, скажем, Людовик тринадцатый царствовал от 1610 до 1643 года. Если предположить, что сей французский король именовался бы Генрихом, а не Людовиком, и царствовал бы от 1605 до 1642 года, то что бы от этого изменилось?"

Исходя из подобных рассуждений, Наркомпрос (Народный Комиссариат Просвещения), постановил заменить во всех школах СССР преподавание истории, преподаванием обществоведения, т. е. науки о развитии человеческого общества. Нам объясняли, что оно развивается, отправляясь от, так называемого, примитивного коммунизма, и проделав ряд последовательных этапов: патриархальную общину, феодализм, централизованный абсолютизм, торговый капитализм, промышленный капитализм, финансовый капитализм, диктатуру пролетариата, социализм, пройдя весь этот длинный путь, вновь приходит к коммунизму. Все это объяснялось и доказывалось при помощи методов марксистской диалектики. Нам старались внушить сознание неотвратимости некоторых исторических явлений, как например диктатуры пролетариата. Через год после моего поступления в эту школу, приказом Наркомпроса был введен новый обязательный предмет: политграмота, т.е. история коммунистической партии в России. Надо было твердо знать хронологию и число партийных съездов, а также все, что на них говорилось и решалось. В изучении русского языка больше всего налегали на знание литературы, и на умение правильно выразить свою мысль, но смотрели "сквозь пальцы" на ошибки правописания. В большом почете были все точные науки: математика, физика и т. д. Преподавался, и всегда очень плохо, один из иностранных языков; в нашей школе таким языком являлся французский. Изучение древних языков было совершенно прекращено.

Единые трудовые школы РСФСР состояли из двух ступеней. Первая ступень шла до четвертого класса включительно, а вторая — от пятого до седьмого. По окончании семилетки выдавался диплом, открывавший двери университета. Кроме этого существовали два добавочных класса: восьмой и девятый. Эти классы, в каждой школе, были с, так называемым, уклоном, т. е. наравне с общеобразовательными предметами, в них преподавались еще и специальные, имевшие цель подготовить ученика, не желавшего поступить в ВУЗ (высшее учебное заведение), так стали называть университеты, к немедленной практической дятельности. Два добавочных класса нашей школы имели педагогический уклон.

Окончание девятилетки давало право на получение профессионального диплома низшей или средней квалификации.

В каждой советской школе существовали разные, необязательные, кружки самодеятельности, как например: редакционная коллегия выпускаемой ежемесячно стенной газеты, "физматаст" (кружок добровольного изучения физических, математических и астрономических наук), спортивный кружок и т. д. В каждом классе школы второй ступени, были свободно избираемы, без всякого участия учителей, ученики, ответственные за дисциплину и порядок в классе, за гигиену, и прочее. Все они составляли соответственные комиссии. Во главе каждого кружка и каждой комиссии стоял выбранный председатель, а все эти председатели образовали, так называемый, школьный исполком (исполнительный комитет). Ученик возглавлявший школьный исполком состоял полноправным членом педагогического совета, в котором его роль была защищать интересы учащихся. Таким образом, решение педагогического совета делалось известным всей школе. Забыл упомянуть, что в шестом классе я сам был избран председателем санитарной комиссии. За деятельностью школьного исполкома, и всех кружков, следила местная комсомольская ячейка, если таковая существовала, и пионерский "форпост". В этот последний входили все учившиеся в данной школе пионеры. Никакой обязательной формы для учеников не существовало, и всякие внешние знаки уважения к педагогическому персоналу, вне стен школы, были отменены. Пусть читающий эти строки сравнит царскую гимназию времен моего отца с единой, советской, трудовой школой, в которой я учился.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Первая зима в Ростове.

Наступила зима. Из окна нашего класса виднелся край, скованного льдом, Дона, а за ним голые, занесенные снегом, поля, и почти на самом горизонте — чернеющий Батайск. Климат в Ростове более континентальный нежели в Таганроге: летом в нем значительно жарче, и холоднее зимой. На улицах часто бывала гололедица, на которой я первое время падал, пока не научился по ней ходить.

3 декабря, по случаю моего дня рождения, был устроен праздничный обед и чай. Этим утром к нам приехали из Таганрога два

неожиданных гостя: Женя и Александра Николаевна. Последняя привезла мне в подарок прекрасный глобус, а Женя подарила альбом для стихов, вписав в него от себя два первых стихотворения, несколько дидактического характера. Вот они:

Лень бежит от дела,
Как от солнца — тьма.
Лень есть глупость тела,
Глупость — лень ума.

Рисковать своим здоровьем не годится: это ясно!
Но чересчур его лелеять — жизнью пользоваться скудно.
Всякий знает, что зубами гвозди грызть — совсем напрасно;
Но не есть, чтоб не сломать их: это тоже безрассудно!

Отдавая его мне, и целуя меня, она прибавила:

— Правда, что альбомы дарят, главным образом, барышням, но тебе только двенадцать лет, так что ты еще не ''молодой человек''. Пускай твои друзья вписывают в него хорошие стихи: это приятно и полезно.

Действительно, позже я давал писать в него всякую ерунду; но Женины стихотворения оставалися самыми лучшими. Впоследствии этот альбом где-то затерялся. А жаль!

Александра Николаевна уехала к себе в тот же вечер, а Женя прогостила у нас пару дней.

1924 год встречался весело. Все соседи и сослуживцы сошлись в квартире Либмана, где устроили прекрасный ужин. Мы, дети, собрались в соседней комнате: там нам сервировали отдельный стол. Мы ели, пили чай с пирожными и болтали всякие глупости. В особенности отличался тринадцатилетний Борис Адно. Бывший беспризорник стал нам рассказывать такие анекдоты, что мы все краснели и смеялись одновременно. Надо прибавить, что при этом присутствовало несколько девочек, а в их числе — его девятилетняя сестренка, Нина. Внезапно, не знаю за чем, в нашу комнату вошел Адно. Мы сразу смущенно замолчали, но он что-то услышал, и оглядев внимательно всех нас, вышел, не сказав нам ни слова. Пробило двенадцать, и мы поздравили друг друга с Новым годом, а еще через час, взрослые и дети разошлись по своим квартирам. Вернувшись к себе, мои родители меня спросили:

— Что это ты рассказывал за анекдоты?

Я, по своему обыкновению, сделался красным как рак, но

стал их уверять, что, действительно, был такой грех, анекдоты рассказывались, но не мной, хотя я тоже смеялся.

— Ты не должен говорить глупостей, которых еще сам не понимаешь, — строго внушил мне мой отец, — Адно сам слышал и уверяет, что это ты — главный рассказчик. Если так будет продолжаться, то все родители запретят своим детям с тобой встречаться. Какой стыд!

Судебная ошибка! Я оказался невинно — приговоренным.

Раз в месяц мы с мамой проводили пару дней у бабушки в Таганроге. Выезжая в субботу с вечерним поездом, мы возвращались в Ростов в понедельник или во вторник утром. В моем классе я числился одним из первых учеников, и мои занятия от этих маленьких, своевольных вакаций не страдали.

В субботу, 19 января 1924 года, мы, как всегда, отправились в Таганрог, решив вернуться во вторник, с утренним поездом. В понедельник, в таганрогском городском театре давали интересную пьесу, которую моя мать и Александра Николаевна желали посмотреть. К семи часам вечера моя учительница должна была принести билеты, и мама ждала ее, совсем готовая идти в театр. В половине восьмого Александра Николаевна вернулась ни с чем. По ее словам: театр и все кинематографы города закрыты в знак траура, так как в Москве умер какой-то очень высокопоставленный большевик. Кто именно, она не знала. На следующее утро мы прочли во всех экстренных выпусках газет, что накануне, 21 января 1924 года, в 18 часов 50 минут, на подмосковской даче, в Горках, умер Владимир Ильич Ленин.

Ростов мы нашли погруженным в глубокий траур. На всех домах висели приспущенные красные и черные флаги.

И прежде чем укрыть в могиле
Навеки от живых людей,
В колонном зале положили
Его на пять ночей и дней.

И потекли людские толпы,
Неся знамена впереди,
Чтобы взглянуть на профиль желтый
И красный орден на груди.

Текли. А стужа над землею
Такая лютая была,

Как будто он унес с собою
Частицу нашего тепла.

Мы пять ночей в Москве не спали
Из-за того, что он уснул.
И был торжественно — печален
Луны почетный караул.

Вера Инбер.

ГЛАВА ПЯТАЯ: Ленин.

1. Семья Ленина.

Отец Ленина: Илья Николаевич Ульянов (1831—1886); по утверждению официальных советских биографов, происходил из астраханских мещан, но сколько мне известно, он был мелким дворянином — разночинцем. В течении 14 лет был учителем физики и математики в одной из царских гимназий, а с 1869 года по 1874, — инспектором народных училищ Симбирской губернии. В 1874 году — назначен на пост директора, и пробыл на нем до самой своей смерти, имевшей место в 1886 году.

Мать Ленина: Мария Алексеевна (1835—1916).

Старший брат Ленина: Александр Ильич Ульянов (1866—1887). Народоволец. Участник покушения на жизнь Александра Третьего. Был приговорен к смерти, и повешен в Шлиссельбургской крепости 8 марта 1887 года.

Старшая сестра Ленина: Анна Ильинична Елизарова-Ульянова (1864—1935). Была арестована и судима по делу о покушении на жизнь Александра Третьего. Большевичка с 1903 года. Видная сотрудница Наркомпроса. Автор воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине.

Младший брат Ленина: Дмитрий Ильич Ульянов (1874—1943). Военный врач. С 1896 года член РСДРП. Большевик с 1903 года. Крупный сотрудник Наркомздрава.

Младшая сестра Ленина: Марья Ильинична Ульянова (1878—1937). С 1898 года член РСДРП. Большевичка с 1903 года. Крупная партийная и общественная деятельница.

Жена Ленина: Надежда Константиновна Крупская (1869—1939).

С 1890 года член РСДРП. Большевичка с 1903 года. С 1927 года член ЦК ВКП(б). Одна из создательниц советской педагогии. Одно время была арестована и сослана Сталиным.

Вот та семья, к которой принадлежал Ленин!

2. Краткая биография Ленина.

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870–1924), родился в городе Симбирске (ныне г. Ульяновск), 22 апреля 1870 года.

В 1887 году окончил гимназию с золотой медалью, и поступил на юридический факультет Казанского университета. В декабре того же года, за активное участие в революционном движении, он был арестован, исключен из университета, и выслан в деревню Кукушкино Казанской губернии, под негласный надзор полиции. В октябре 1888 года, Владимиру Ильичу Ленину было разрешено вернуться в Казань, но в университет он не был допущен. В Казани он вошел в контакт с марксистскими кружками.

В 1889 году Ленин переехал в Самару. Весной и осенью 1891 года он блестяще сдал экзамены, экстерном, за юридический факультет при Петербургском университете, и получил диплом первой степени. В августе 1893 года Ленин переехал в Петербург, где продолжал заниматься революционной деятельностью. В 1895 году он совершает поездку за границу, в Швейцарию, где встречает Плеханова и делается его горячим последователем. В том же году, по возвращении в Петербруг, он был арестован, судим и приговорен к ссылке в Сибирь (1897–1900). Там он встретил Надежду Константиновну Крупскую и женился на ней. После своего освобождения он уехал в Швейцарию. В 1900 году Ленин начал издавать газету "Искра". В 1903 году, на втором съезде РСДРП, произошел раскол, и образовались две партии: большевиков и меньшевиков. Во главе большевиков стал Ленин, а во главе меньшевиков — Плеханов, с которым Ленин разошелся. В 1905 году, по случаю вспыхнувшей в России революции, он возвратился в Петербург. После ее подавления, Владимир Ильич вновь уехал за границу, и проживал там, главным образом, в Женеве и в Париже. 12 марта 1917 года пало самодержавие. С разрешением германского правительства, Ленин, в запломбированном вагоне, выехал из Женевы в Петроград (27 марта–3 апреля). В июне 1917 года он руководил восстанием против Временного правительства. Восстание не удалось и Ленин бежал в Финляндию, но вскоре вернул-

ся в Петроград. 7 ноября 1917 года он стал во главе нового восстания: это — революция! Ленин приходит к власти. 3 марта 1919 года он перенес столицу в Москву. В марте 1919 года Ленин образовал Третий Интернационал и сделался верховным вождем всего коммунистического движения мира. В 1921 году он создал НЭП. В 1922 году Ленин превратил бывшую Российскую Империю в Союз Социалистических Советских Республик (СССР).

21 января 1924 года, в 18 часов 50 минут, Владимир Ильич Ленин умер.

За свою жизнь Ленин написал множество трудов по политической экономии, социологии, философии, памфлеты и т. д. Вот некоторые из его творений:

1897—1900 — "Задачи русских социал-демократов", "Протесты российских социал-демократов", "Проект программы нашей партии", "Развитие капитализма в России".

1908 — "Материализм и эмпириокритицизм".

1915 — "О лозунге Соединенных Штатов Европы".

1916 — "Империализм как высшая стадия капитализма", "Военная программа пролетарской России".

1919 — "Тезисы о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата".

1920 — "Детская болезнь "левизны" в коммунизме".

1923 — "Странички из дневника", "Лучше меньше да лучше".

3. Кем был Ленин:

Владимир Ильич Ульянов-Ленин, происходил, как мы видели выше, из высокообразованной и свободомыслящей семьи. Он был типичным революционером-интеллигентом. В нем, как и у большинства ему подобных, сочетались ряд противоречий: крайний и убежденный материалист, он был, одновременно готов жертвовать, ради идеалов, своей свободой и жизнью. Кабинетный ученый в нем сочетался с активным практическим деятелем, с хорошим администратором и прекрасным трибуном. Был ли он добрым? Нет. Злым? Конечно нет. Честным? Несомненно; однако считал, что для достижения высоких целей, все средства хороши. Был ли он эгоистом? мизантропом? Нет; но и альтруистом и филантропом, в обычном смысле этих слов, он тоже не был. Он горячо, всей своей душой, любил человечество, но все человечество вообще, и даже не теперешнее, а будущие его поколения.

К живым, реальным людям, он относился как ученый относится к морским свинкам: они пригодны для произведения над ними опытов, в его случае — социальных. Был ли он властолюбив? И да, и нет. Власть ради власти его совершенно не интересовала, и пустое честолюбие было ему чуждо; но власть он любил как средство, дающее ему возможность совершать над стошестьдесятимиллионным населением свой очень увлекательный, хотя, порой, и жестокий опыт. В нем было нечто от Петра Великого, но в отличии от императора-революционера, Ленин не был самоучкой, но, напротив, обладал громадной эрудицией. Поражает количество написанных им трудов. Был ли Ленин патриотом? любил ли он Россию? На эти вопросы можно смело ответить: нет! Прежде всего он был истинным интернационалистом-космополитом. Передавали одну из сказанных им фраз:

"Жаль, что социальная революция произошла в такой отсталой и неорганизованной стране как Россия; я бы, во много раз предпочел Германию".

Был ли Ленин диктатором? Нет: он был вождем, но не диктатором вроде Сталина или Муссолини. Для проведения в жизнь своих идей он не останавливался перед методами массового террора, но для честных партийных, и непартийных работников, Ильич не был тираном. В своем ближайшем окружении Ленин допускал, что его сотрудники могли иметь свои мнения. В этом он резко отличался от Сталина. Троцкий, и другие члены политбюро, нередко спорили с ним, но всегда, в конце концов, подчинялись его авторитету. Владимир Ильич Ленин создал военный коммунизм, но он же, одним из своих последних декретов, его отменил и объявил НЭП, вследствие которого в течении трех лет страна восстала из своих развалин, и расцвела как никогда. Сталин все погубил! Конечно, во многом Ленин ошибался и многое преувеличивал. Некоторые его мероприятия были неразумными и вредными. Он ввел процентную норму, в высших учебных заведениях, для молодых людей не рабочего и не крестьянски-бедняцкого происхождения. С верой в Бога он пытался бороться административными мерами, и объявил, что мораль есть понятие классовое, и пролетарская мораль с буржуазной ничего общего не имеет. К каким это последствиям привело, я расскажу позже. Короче, он ошибался, как и все люди, но НЭП доказал, что в основном он знал, что делал. Ленин признавал свои ошибки, и говорил: "На ошибках учимся".

Был ли Ленин антисемитом? О нет! Он делил человечество на социальные классы, но не на религии, расы или национальности. Симпатизировал ли Ленин сионизму? Нет, ему он не симпатизировал — он его не понимал. На его взгляд антисемитизм был продуктом классового несовершенства общества. Он считал, что угнетатели трудящихся пользуются им для отвлечения справедливого народного гнева, от настоящих виновников его страданий, и стараются направить этот гнев против безоружных, и ни в чем не повинных евреев. Ленин был уверен, что с приходом социализма исчезнет и антисемитизм. Что касается декларации лорда Бальфура, то он ее рассматривал как грубый обман, как оружие английского империализма, натравляющего евреев и арабов друг против друга.

Я уже выше сказал, что в качестве вождя и человека, Ленин пользовался искренним и глубоким уважением у почти всех главарей коммунистической партии. Я где-то читал, кажется у Алданова, что во время одного из последних прений в Центральном Комитете партии, в котором он еще участвовал, в пылу горячего спора, он обозвал Клару Цеткин: "старой мерзавкой". Вскоре здоровье Ленина настолько ухудшилось, что он пропустил целый ряд заседаний. Однако, однажды, уже наполовину парализованный, он явился на одно из них, и с трудом уселся на свое обычное место. Клара Цеткин робко подошла к нему, и взяв его парализованную руку, поцеловала ее. Он грустно взглянул на старую революционерку, и безнадежно махнул еще здоровой рукой.

Какие бы ошибки ни совершил Ленин, но я твердо убежден, что страшным несчастьем для моей Родины, была его преждевременная смерть.

4. На смерть Ленина.

Наш зоркий Вождь, наш большелобый Гений,
Наш Капитан, что сам держал штурвал;
Ты, к берегам великих откровений,
Россию вел, и мир за нею звал.

Но вот ты бросил нас в открытом море...
Мы плачем, бьемся — не воскреснешь ты!
Но не в слезах топить нам наше горе
Велят твои спокойные черты.

Прощай, наш Ленин, и на смертном ложе
Ты — капитан родного корабля;
И пусть твой дух бессмертный им поможет:
Тем смельчакам, что станут у руля.

К сожалению я не помню имени автора этих строк.

ГЛАВА ШЕСТАЯ: Пионеры.

Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы, пионеры, —
Дети рабочих.
Близится эра
Светлых годов.
Клич пионера:
"Всегда будь готов!"
Александр Жаров.

По случаю смерти Ленина, наша школа несколько дней оставалась закрытой. Я, как и все жители Ростова, а вероятно и всей страны, пришпилил себе на левый рукав шубы и куртки, черные повязки. В первый день моего прихода в школу, одна из девочек нашего класса, "старая" пионерка, мне сказала:

— Знаешь, что, Вейцман, носить траурную ленту, по случаю смерти Ленина, это, конечно, хорошо, но траур по Вождю носят не на рукавах, а в сердце. Почему ты не запишешься в пионерский отряд?

Я смутился, и придя домой рассказал моим родителям об этом разговоре. Отец посоветовал мне сделаться пионером. Соля Либман уже несколько месяцев носил красную косынку. Когда я ему сообщил о моем решении, он предложил мне подать просьбу о принятии меня в его отряд. Менее чем через десять дней я получил право одеть пионерскую форму и таким образом стал членом нашего школьного "форпоста". В этом отряде я сразу почувствовал себя на своем месте, и подружился с большинством из ребят.

Еще в самом начале своего прихода к власти, в период гражданской войны, большевики создали юношескую коммунистическую организацию: комсомол (Коммунистический Союз Молодежи). В

него входили подростки, от пятнадцати до двадцати лет, из него можно было перейти в партию. Многие из этих подростков активно участвовали в гражданской войне. Позже, по окончанию войны, такой переход перестал быть автоматическим, и комсомолец, достигший необходимого возраста, подлежал довольно строгой "селекции", основанной, главным образом, на его классовом происхождении и, отчасти, на собственных заслугах и политической грамотности. Принятый "счастливец" делался кандидатом в партию. Пробыв в кандидатах два-три года, и выдержав еще один экзамен по политграмоте, он получал партийный билет, и достигал "высокого" звания действительного члена партии. Приблизительно в 1922 году, большевики распустив, существовавшую до них в России, скаутскую организацию, создали на ее месте так называемые "пионерские" отряды. В них входили дети от 10 до 15 лет. Для совсем малышей (от 5 до 10 лет), были выдуманы отряды "октябрят", т. е. нечто вроде детского сада, в которых "октябрятам" старались привить первые элементы коммунистических идей. Из октябрят можно было совершенно свободно перейти в пионеры, и вообще поступление в пионерский отряд трудностей не представляло; но переход из пионеров в комсомол не был столь легок. Желающих проверяли, экзаменовали, и если считали достойными, то принимали в кандидаты. Новый стаж, новые экзамены, и только после всего этого подросток мог рассчитывать сделаться комсомольцем. Говорили: "Пионеры идут на смену комсомольцам, а комсомольцы — на смену коммунистам: смена смене идет". Октябрята и пионеры носили специальную форму. Комсомольцы никакой формы не имели, но прикалывали к своим курткам и блузкам комсомольский значок. Коммунисты, кроме членов Центрального Комитета партии, не обладали ни формой, ни значками, и вообще, от простых смертных, внешне ничем не отличались.

Во главе всей пионерской организации стоял центральный комитет, состоящий исключительно из комсомольцев, назначаемый центральным комитетом комсомола, и находящийся в Москве. В мое время, генеральным секретарем центрального комитета пионеров, была молодая комсомолка. Центральному комитету подчинялись краевые, а краевым — городские. Под управлением городского комитета находилось несколько, так называемых, пионерских баз. Во главе такой базы стоял "базовой", т. е. командир базы. Базы группировали детей согласно службы или ра-

боты их родителей. Все пионеры нашей базы были детьми советских служащих, но не рабочих. Нашего "базового" звали Копась. Он был совсем простым парнем — комсомольцем, несомненно рабочего происхождения. Каждая база делилась на несколько отрядов. Отряды были прикреплены к различным фабрикам, заводам, селам или Наркоматам (Народным Комиссариатам). Наш отряд состоял при ростовском отделении Наркомфина (Народного Комиссариата Финансов), и в нем, теоретически, должны были быть записанными исключительно дети его сотрудников, но на деле это было не обязательно. Командовал нашим отрядом очень симпатичный комсомолец, по имени Григорий Свечников. Отряды делились на звенья, и ими командовали "звеньевые". Каждое звено состояло, приблизительно, из дюжины пионеров. Все "звеньевые" и секретари звеньев, принадлежавшие одному отряду, составляли так называемое "кадровое звено". На посты командиров звеньев — "звеньевых", пионеры не назначались, но избирались всеобщим, свободным, но явным голосованием, при помощи поднятых рук. Командиры отрядов и баз назначались местным пионерским комитетом. Все отряды были смешанные, т. е. в них входили мальчики и девочки. Мы все носили специальную форму, состоящую из коротких синих штанишек, или юбок у девочек, блузки защитного цвета хаки, и мягкой круглой шляпы, с широкими полями, несколько ковбойского типа. Правая сторона этой шляпы была примята. Зимой мы все носили теплые шапки-кубанки и, конечно, шубы. На шее у пионеров, уже принесших свою клятву верности, именуемой "торжественным обещанием", красовалась красная косынка. Она повязывалась таким образом как и у скаутов. Поступив в отряд, я не имел еще право ее носить, и мечтал о ней. У пионеров был лозунг заимствованный у тех же скаутов, но несколько измененный. Когда выносилось знамя, каждый отряд имел свое, то отрядный командовал: "На встречу знамени — смирно! Пионер, в борьбе за рабочее дело — будь готов!" И все пионеры хором отвечали: "Всегда готов!", а барабан выбивал дробь.

При встрече мы приветствовали друг друга поднятием руки, с раскрытой ладонью, выше головы. Этот салют должен был обозначать: пять пальцев руки — пять частей света, в которых капиталисты продолжают угнетать и эксплуатировать трудящихся, а поднятием руки выше головы, мы напоминали друг другу о том, что интересы угнетенных мы должны ставить выше собствен-

ных. У нас были свои законы и обычаи, которым мы были обязаны подчиняться и им следовать. Один из них, например, гласил: "Пионер не ругается, не курит и не пьет". Другой: "Пионер никогда не падает духом и находит выход из всех обстоятельств. Пионер — всем ребятам пример" и т. д. По этому поводу расскажу один курьез: в моем отряде запретили "чертыхаться", — это уже считалось руганью. Нельзя было сказать товарищу: "Иди к черту!" С другой стороны, как обойтись, в дружеской беседе, без посылки приятеля к "нечистому". Мы нашлись, и на место черта поставили фашиста. "Иди к фашисту! чего пристал?" Отрядный, посмеявшись, разрешил нам эту "ругань".

Прошло около трех месяцев прежде, нежели моя заветная мечта о красной косынке, наконец, сбылась. В середине апреля, всех новых пионеров с нашей базы, в одно воскресное утро, собрали в огромном дворе, при каком-то советском учереждении, и молодой коммунист произнес перед нами целую речь. Он нам сказал, что наша первая и главная задача состоит, пока, в успешном прохождении школьных наук, чтобы мы, в последствии, сделались полезными гражданами Советского Союза. Потом он скомандовал нам: "Смирно!", и прочел нам текст "Торжественного обещания", а затем мы все его за ним повторили хором. Вот оно:

"Я, пионер СССР, перед лицом своих товарищей — пионеров, торжественно обещаю: что буду твердо и неуклонно бороться за дело рабочего класса, в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира; что буду честно исполнять законы и обычаи юных пионеров, и заветы Ильича".

После этого он нам прокричал наш лозунг, на который мы дружно ответили: "всегда готов!", и разошлись, повязывая себе на ходу новенькую косынку. В этом году, к нашему званию — пионер, прибавили еще другое — "ленинец".

Летом пионеры, это было, впрочем, необязательно, уезжали куда-нибудь на берег реки или моря, иногда в лес или горы, и там разбивали лагерь, и жили месяц, другой, в палатках. Ночью зажигали костры и сидели вокруг них, беседуя или поя песни. Такие костры служили им для варки пищи, главным образом картошки. Мальчики и девочки были всегда вместе. Случалось, хоть и не часто, что одна из пионерок приезжала домой беременной. Я сам ни разу не жил в лагерях, мой отец мне этого не позволял, да, сказать по правде, я и не настаивал, предпочитая, каждое лето уезжать с родителями в Одессу или Крым. Во время учеб-

ного года, два раза в неделю (в четверг вечером и в воскресенье утром), мы собирались во дворе здания ростовского отделения Наркомфина, и там наши командиры проводили с нами беседы на политические темы, или мы играли в разные спортивные игры. Если погода была ясная и теплая, то в воскресенье утром мы уходили на целый день за город. Шли мы в строю, как солдаты, впереди несли знамя отряда, и два барабанщика отбивали шаг. Чаще всего барабан умолкал, и мы, идя в ногу, пели разные революционные песни, времен гражданской войны, или наши новые — пионерские, а, иногда, и антирелигиозные, нередко, увы! кощунственного характера. Я шел в строю, окруженный моими товарищами, пел как умел, отбивал шаг, и был совершенно счастлив. Впоследствии мне пришлось побывать в двух других отрядах, но я никогда не мог в них ужиться, и там встретил не только простую неприязнь, но и открытй антисемитизм. Много времени утекло с той поры!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Беспризорники.

Идешь зимой по занесенной снегом улице, и видишь: на краю тротуара стоит огромный черный котел. Таких котлов в Ростове было множество: в них варили асфальт для починки тротуаров и дорог. Чинили их у нас не только летом, но и зимой. Проходишь мимо такого котла, огонь под ним давно погас, но он еще тепел, и вдруг из него вылазят какие-то оборванные и вымазанные сажей существа: дети — не дети, черти — не черти, а почитай, что и черти. "Проходи, гражданин, сторонкой — лучше будет!" Чтобы избавиться от чертей, в старину существовали разные заклинания, а против этих черных существ никакие магические формулы не действуют, и они опасней всяких чертей. Опасней чертей?!, но я ясно вижу, что это только оборванные и вымазанные сажей дети! Как может обыкновенный ребенок быть опасней черта? — Ошибаетесь, дорогой гражданин, это — не обыкновенные дети, это — беспризорники".

В огне и ужасе гражданской войны перемещались целые населения городов и сел. Гражданская война — война братоубийственная, и нельзя сидеть на месте и дожидаться прихода "брата"; и бегут, бегут, в панике, люди, бросая все: от белых, от красных, от черных, от зеленых, от всех цветов политической палитры.

Стреляют солдаты, и мечется, обезумевшая от страха, толпа. Только что держала мать своего Ванюшу за руку, но выпустила на полминуты, и его оттиснули бегущие люди. Исчез Ваня и не найти его больше. Может быть упадет ребенок, и затопчит его толпа, или скосит шальная пуля. Но если мальчик и избегнет такой участи, то он рискует в короткий срок умереть от голода. Надо Ване спешно учиться добывать себе кусок хлеба. Но живучи дети, и, понемногу, приспосабливается ребенок, и для борьбы за существование начинает просить милостыню и красть. Потом его подбирают установившиеся в городе власти, и помещают в детский дом. Там мальчик попадает в среду других беспризорников. В приюте обращаются с детьми плохо, а кормят еще хуже. В нем процветают курение, пьянство и всевозможные формы детского разврата. С наступлением теплого сезона, дети бегут из него, и вновь принимаются за вольную, бродячую жизнь. Их ловят, но они вновь убегают, и понемногу совершенно дичают, и делаются закоренелыми, маленькими преступниками. Ничего у них нет, кроме грязных отрепьев, надетых на давно немытое тело, да вольной волюшки, а хлеб свой насущный они добывают наглым попрошайничеством, сопровождаемым нередко угрозами, воровством, грабежом и разбоем.

Есть среди них и девочки. Их судьба, пожалуй, еще ужасней. Кто в гражданскую войну мог пожалеть беспризорную восьмилетнюю Машу!?, конечно, не озверевший за долгие годы войны, и рискующий ежечасно своей жизнью, солдат, и не бандит — махновец. Все, без исключения, беспризорные девочки, растленные еще в раннем детстве, занимаются уличной проституцией, и спят, вповалку с мальчиками: зимой, в теплых асфальтовых котлах, или в подвалах полуразрушенных домов, а летом — где придется. Все девочки, и большинство мальчиков, заражены сифилисом, и они сами это прекрасно знают. Подходит такой беспризорник к прохожему: "Дядя, подай рубль, а то укушу, а я сифилитик". Испуганный "дядя", не только рубль, а и шубу ему отдаст, лишь бы не кусался. Рассказывали про случаи таких укусов и про их трагические последствия. Народная милиция боялась этих детей как огня, и обыкновенно их не трогала. Один московский милиционер имел смелость их преследовать. Однажды ночью, когда он стоял на своем посту, и прохожих почти не было, на него набросились несколько беспризорников, повалили на землю и кастрировали.

В 1926 году в Харькове, местное ГПУ сделало ночью на них облаву, и захватив более двухсот человек, в ту же ночь, негласно, расстреляло. Конечно, громко об этом не говорили, но население знало о случившемся.

Я, лично, был хорошо знаком с двумя бывшими беспризорниками: Борей Адно и Митей Колокольцевым. О первом я уже кое-что писал, но теперь хочу рассказать об обоих поподробней.

1. Боря Адно.

Когда, в середине 1918 года, Боря потерялся, ему было семь лет, а его сестренке, Нине, три года. Он, за четыре года скитаний, перебывал в пяти детских домах, и каждый раз бегал оттуда. Боря бродяжничал, воровал, а может быть и хуже. Рассказывая о своей жизни, Боря вспоминал других беспризорников, с которыми ему приходилось встречаться, и о том, как они ему не верили, когда он им говорил, что у него есть сестренка, чисто одетая и с ленточкой в косичках. Однажды он ночевал в лесу на дереве. Во время сна, совсем близко от него, прокричала сова, Боря, спросонья, испугался, упал с дерева, и больно ушибся. Его прошлое оставило на нем неизгладимый моральный отпечаток: он был лгуном, нечестным в играх, и любил говорить всякие гадости. Однажды, Боря, с серьезным видом, заявил Соле и мне, что когда его сестренка подрастет, он постарается сделать из нее уличную девку.

2. Митя Колокольцев.

Митя был сыном бывшего профессора статистики, Ивана Семеновича Колокольцева, поступившего на службу в Госторг в конце 1925 года. В период гражданской войны, в возрасте семи лет, во время бесчисленных эвакуаций Киева, в котором одно время проживали его родители, Митя потерялся, и остался после их бегства в этом городе. Совсем недавно Ивану Семеновичу удалось разыскать Митю в одном из детских домов Киева. Теперь Мите было четырнадцать лет. После невольной разлуки со своими родителями, Митя очень скоро попал в детский дом, из которого он ни разу не пытался бежать, и где он оставался до того счастливого момента, когда там его нашел Колокольцев. Это был тихий и очень симпатичный паренек, и мы с ним сдружились. Годы одиночества не оставили на его морали, ни на его умственных способ-

ностях, никаких следов, но сильно отразились на физическом развитии. Вероятно Митя очень голодал, он почти совсем не рос, и на всю жизнь остался карликом, со сморщенным, как у старца, лицом. На его шее виднелись шрамы: бедному мальчику вырезали какие-то железы. Митя мне как-то признался, что и в половом отношении он остался восьмилетним ребенком. Учился он хорошо, и разговор его был занимателен и умен. Нередко мы с ним уходили за город, и часами гуляли вместе. Так жизнь беспризорника каждого из них: одного морально, а другого физически.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: Пролетарская мораль.

Ленин сказал: "Мораль есть понятие классовое, и пролетарская не тождественна буржуазной".

Крупная коммунистическая деятельница, Александра Михайловна Коллонтай (1872–1952), писательница и дипломат, советский посол в Мексике, Норвегии и Швеции, является автором известного сочинения: "Любовь пчел трудовых". Среди отдельных рассказов о любви, составляющих эту книгу, имеется один, особенно достойный внимания, он называется: "Любовь трех поколений". Передаю его по памяти, своими словами.

В начале второй половины девятнадцатого века, молоденькая девушка из хорошей дворянской семьи, была выдана родителями за нелюбимого человека. Женщина умная, передовая и решительная, она не могла долго выносить сожительства с тем, к кому не чувствовала ни любви, ни дружбы. Вскоре ей встретился другой юноша, и они полюбили друг друга. Честная по натуре, она все сказала своему мужу, и навсегда порвав с ним, открыто сошлась со своим любовником. Этот поступок вызвал огромный скандал в том обществе, к которому она принадлежала. Конечно, любовников иметь можно: кто их не имеет! но тайно, ибо лицемерие есть законная дань, приносимая пороком добродетели. Все двери перед ней закрылись, что, впрочем, мало ее беспокоило. Вскоре у них родилась дочь, и они прожили счастливо, до самой смерти того, кому она осталась верной на всю жизнь.

Наступило последнее десятилетие девятнадцатого века. Дочь свободной любви выросла и превратилась в красивую девушку. Мать ей сказала:

— Ты выйдешь замуж за человека, которого полюбишь; мне все равно за кого.

Избранник сердца дочери не заставил себя ждать, и мать радовалась глядя на их счастье.

Прошло несколько лет. Однажды дочь пришла к матери, и поведала ей тайну своего сердца и своей интимной жизни: она недавно встретила другого человека и влюбилась в него.

— Так ты разлюбила своего мужа? — спросила удивленная и огорченная мать.

— Нет, — ответила дочь, — я его по-прежнему люблю, но люблю и другого, и уже принадлежу ему. Мой муж знает об этом, он меня понял, и согласен не ревновать. Мы решили жить втроем.

Мать сильно рассердилась:

— Прости меня, но это не любовь, а разврат! Страничка из французского бульварного романа. Я тоже принадлежала двум мужчинам, но не одновременно, и за первого вышла замуж против воли, а полюбив второго ушла открыто к нему. То, что ты мне рассказала: цинично и грязно.

Но дочь стояла на своем:

— Мама, твой случай — не мой: ты не любила первого мужа, а я горячо люблю обоих, и буду им верна.

Две женщины не поняли друг друга.

От одного из двух "мужей" у дочери родилась дочь. Шли годы... Умерли оба героя, мирно делившие всю жизнь любовь любимой ими женщины; умерла и старушка мать. Прогремела Мировая война, пронеслась над Россией, сметая все устои, революция. Наступила первая половина двадцатых годов двадцатого века. Жизнь людей есть вечное повторение: подросла маленькая дочь, и превратилась в красивую молодую комсомолку.

Приходит она, однажды, к матери, и говорит:

— Мама, дай мне, пожалуйста, немного денег, у меня их сейчас недостаточно.

— На что они тебе? — заинтересовалась мать.

— Я беременна и хочу сделать себе аборт.

— От кого у тебя ребенок? — спросила спокойно свободомыслящая мать.

— Право не знаю, — последовал такой же хладнокровный ответ дочери.

Мать удивленно уставилась на дочь:

— То есть как это ты не знаешь от кого?

— Да, честное слово, не знаю: может быть, от Петра, или Николая, или Семена, или кого другого.

— Ты, что — проституткой сделалась? — закричала, вышедшая из себя, мать.

— Почему это — проституткой? — возмутилась, в свою очередь, дочь. — Я — комсомолка, а комсомолки проституцией не занимаются! Просто, когда кто-нибудь из моих товарищей по комсомолу, просит меня переспать с ним, я не вижу основания ему отказать. Физическая близость только укрепляет наши товарищеские отношения.

— Но ты можешь схватить дурную болезнь! — воскликнула обеспокоенная мать.

— Это, конечно, возможно, — согласилась дочь, — однако, пока я ее не схватила. Когда кто-нибудь из моих товарищей просит меня удовлетворить его физическое желание, то я его всегда предупреждаю: если ты меня заразишь сифилисом, то даю тебе мое комсомольское честное слово, что я убью тебя из этого самого нагана, и я указываю ему на мой револьвер. Был уже один такой случай: просивший меня паренек, в последний момент отступился.

Сама Коллонтай проводила в жизнь свои теории, и личным примером старалась доказать их правильность.

В 1926 году, в одной из трудовых советских школ, ученица седьмого класса, пятнадцатилетняя девочка, родила. Почти весь педагогический совет этой школы состоял из учителей царских гимназий. При прежнем режиме им ни разу не пришлось иметь дело с подобным фактом, но все они твердо знали, что в этом случае молодая грешница была бы немедленно исключена из гимназии, и, притом, с "волчьим билетом". Но теперь, при новом режиме, как им следует поступить? Педагогический совет, не желая брать на себя ответственность, ни за слишком тяжелое, ни за слишком легкое наказание, обратился прямо к тогдашнему Наркомпросу, товарищу Луначарскому, за соответствующими разъяснениями. Ответ "товарища" Наркомпроса был таков: "Прошу педагогический совет передать молодой матери мой горячий привет".

Среди рабочей молодежи двадцатых годов, в особенности в комсомоле, свободная любовь рассматривалась точно так, как ее понимала женщина третьего поколения из романа Коллонтай. Комсомолка не должна была отказывать комсомольцу в удовлетворении его желаний, а комсомолец, в свою очередь, не дол-

жен был отказывать комсомолке, если той хотелось провести с ним ночь. Теоретически, такие отношения должны были поддерживать товарищескую связь и обоюдное доверие, а прежние моральные запреты являлись ничем иным как "буржуазными предрассудками". Целомудренные юноши и чистые девушки были слишком смешны и недоступны: они не "звучали в унисон с эпохой". Если молодая девушка поступала в комсомол, она, волей или неволей, должна была подчиниться этому общему правилу. Нередко, поступившая в него новая комсомолка, имела уже в своем прошлом известный "любовный" опыт; для нее такие обычаи были нормальны и весьма приемлемы. Но чаще, при поступлении, она еще бывала чистой девушкой. Однако, большинство из них, чтобы не выделяться и быть ассимилированными комсомольской средой, скоро подчинялись общему правилу и отдавались первому подвернувшемуся комсомольцу. По этому поводу было напечатано немало романов, как например: "Луна с правой стороны" Малашкина, или "Без черемухи". В них описывались горечь и слезы первого падения. Но слезы высыхали, и молодая женщина постепенно втягивалась в такую жизнь, теряла всякий стыд и делалась развратной. Но не все девушки соглашались, во имя сомнительных принципов пролетарской морали, и ее логического последствия — свободной любви, дать себя загрязнить на всю жизнь. Таких упрямиц старались уговорить, и объяснить им, что их взгляды на девичью чистоту и невинность — устарели и смешны. Раньше или позже большинство этих девушек сдавались на уговоры. Оставались такие, которые не соглашались с подобными доводами. Этих последних, все парни и все ранее падшие девушки, начинали преследовать насмешками, и устраняли их от всякой товарищеской и общественной жизни. Редко какая из них долго выдерживала подобный режим, и кончала обыкновенно тем, что покорялась, и становилась как и все прочие ее подруги. Однако, правда редко, но случалось, что ни бойкот, ни насмешки не могли сломить упорное желание: быть комсомолкой, и одновременно оставаться чистой. В этих крайних случаях применялась последняя мера: насилие. Девушку заманивали на "дружескую" пирушку, и там она бывала изнасилована несколькими из ее товарищей-комсомольцев. После этого у нее не оставалось никакого основания упорствовать, и она бывала "приводима к общему знаменателю". Иногда это кончалось трагически.

Расскажу один реальный случай, взятый из хроники тех лет:

Одна комсомолка говорила: "Я — чистая девушка, и останусь такой. В день моего замужества я хочу иметь возможность высоко держать голову". Ее старались уговорить, объясняли ей, что подобные идеи — суть пережитки буржуазной морали, и т. д. Издевались над ней, но все было тщетно, и она стояла на своем. Тогда решили применить к ней насилие, но девушка была осторожна и отказывалась участвовать в "дружеских" пирушках, слишком часто переходящих в настоящие оргии. Однажды, по случаю дня рождения одной из комсомолок, устроили маленький "девичник". Ее пригласили в нем участвовать, уверив, что там не будет парней. Действительно, на вечеринке были только комсомолки. Приготовили ужин, появилась выпивка. Молодой девушке все подливали и подливали вина, и когда она совсем опьянела, то ее втолкнули в соседнюю комнату, в которой весь вечер ожидал спрятанный парень. Будучи слишком пьяной, чтобы сопротивляться, да и другие комсомолки держали ее крепко, ей не удалось избежать насилия. Через два дня после этого она покончила с собой. При ней нашли письмо, в котором она объясняла свой поступок тем, что потеряв чистоту, для нее не оставалось никаких других возможностей, кроме двух: или стать как все, и понемногу отучиться говорить: "нет", или уйти из жизни. Она выбрала вторую.

Подобных случаев было немало, но не буду их перечислять. Скажу, между прочим, что насилие над женщиной, советские законы того времени, строго не карали. Все же был случай, нашумевший на весь Советский Союз, и даже, попавший в заграничную печать:

В 1926 году в Ленинградском университете училась молодая, серьезная и чистая девушка. Однажды, возвращаясь вечером домой, она шла по несколько темному Чубаровскому переулку. Внезапно на нее накинулись пять молодых заводских рабочих, втолкнули в какой-то пустой двор, повалили на землю и начали ее насиловать. Когда первый хулиган окончил свое гнусное дело, то вышел со двора, и вскоре вернулся в сопровождении других рабочих того же завода. Все они, один за другим, насиловали несчастную. Потом приходили все новые и новые парни. Их всех оказалось ровно сорок человек. Бедняжка кричала и умоляла ее отпустить, но насильники только смеялись и повторяли: "Не затем мы тебя сюда затащили, чтобы отпустить. Потерпи: когда кончим — тогда отпустим". Так оно и было. Только после сорокового — последнего парня, ее оставили в покое, одну, во дворе.

С невероятными усилиями, несчастная выбралась из него, и дотащилась до постового милиционера, который, вызвав скорую помощь, отправил ее в больницу. Она выжила. Был суд. На скамьях подсудимых сидели все сорок хулиганов. Свидетели защиты, другие рабочие того же завода, утверждали, что подсудимые: "парни как парни, и ничего плохого за ними замечено не было". Но, на сей раз, власти отнеслись к делу серьезно. Это уже не было обыкновенным насилием, но чем-то похуже. Прокурор подвел дело под статью о "злостном бандитизме", и требовал применения к подсудимым "высшей социальной защиты", т. е. смерти. Пять первых насильников были приговорены к этой "высшей мере" и расстреляны, остальные получили от пяти до десяти лет тюрьмы, "со строгой изоляцией". Что сталось потом с молодой женщиной я не знаю.

Однажды, придя к нам на свою еженедельную работу, полотер Ермолай, с искренним возмущением и отвращением, рассказал о виденном им, только что, на Большой Садовой, шествии, состоявшего из мужчин и женщин. Через плечо у всех была повязана красная лента с надписью: "Долой стыд!" Но дело было не в надписи: на демонстрантах обоего пола, кроме этой ленты ничего не было — что называется: "в чем мать родила".

— Совсем голые, — рассказывал возмущенный Ермолай.

Жена профессора Колокольцева, женщина уже довольно пожилая, но несколько эксцентричная, воскликнула:

— Неужели совсем голенькие? Какая прелесть!

— Да, совсем голые, — продолжал повествовать Ермолай, — но явилась милиция, отвела всех этих бесстыдников в участок, и там их насильно одела.

Как потом оказалось, подобные шествия имели место во всех городах Советского Союза. По закону они ничем не рисковали, так как условная мораль была отменена. Наконец вмешался все тот же Луначарский, объявив, что теоретически манифестанты совершенно правы, ибо физический стыд — есть буржуазный предрассудок и пережиток прежнего режима, но, с другой стороны, ни наш климат, ни гигиенические условия больших городов, ничем не оправдывают хождение голыми, а посему он советует прекратить подобные шествия. После чего они, действительно, были прекращены административными мерами.

Говорят: "Кесарю кесарево". Надо отдать справедливость Сталину, что этот кровожадный тиран понял опасность, и пре-

сек, как он это умел, подобное падение нравов, постаравшись одновременно, сколь возможно, укрепить разрушавшуюся семью.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: Ростов (1924–1925).

Поступление в пионерский отряд не повлияло на мои школьные занятия; в нашем классе я был и оставался одним из первых. Первой считалась одна русская девочка, Молчанова. Я не особенно гнался за славой, и слишком прилежным школьником не был, но учение мне давалось довольно легко, и учителя меня любили. Свободное от занятий время я стал делить между пионерскими обязанностями, чтением, прогулками и кинематографом. Изредка еще я ходил в театр с моими родителями. К сожалению, большой, "Асмоловский" театр уже несколько лет как сгорел. В Ростове в то время работали три больших кинематографа: "Солей", "Модерн" и "Колизей". Мы с Солей, а иногда и в компании других приятелей и приятельниц, раз в неделю отправлялись в один из этих кинематографов. В "Колизее", находившемся совсем недалеко от нашего дома, нам довелось увидеть, только что вышедший, знаменитый фильм: "Броненосец Потемкин". В то время была мода на фильмы в сериях, и я, однажды, просмотрел все девять серий, не пропуская ни одной, невероятной чепухи, кажется, американского производства, именуемой: "Женщина с миллионами".

В 1925 году, престарелые родители моей матери, оставшиеся после нашего переезда в Ростов, совершенно одни, отправились жить к их младшей дочери, тете Рикке, в Одессу, где у тети была своя собственная, довольно обширная и удобная квартира. Наши частые поездки в Таганрог совершенно прекратились, но зато каждое лето мы ездили месяца на два, в Одессу на Средний или Большой Фонтан. Я привык к Ростову, и он мне уже не казался таким огромным городом, а красавицу Одессу я, слыхавший о ней столько хорошего, нашел, увы, после гражданской войны, полной руин. Центр города, правда, уцелел, но совершенно потерял свой прежний веселый облик, а его дачные предместья лежали в развалинах. Несколько дач, на каждой станции Фонтана, все же уцелели, и мы приискивали себе, на летние месяцы, одну из них. Такие дачи являлись настоящими оазисами, окруженные кварталами полуразрушенных и пустых домов. Вечерами, при

лунном свете, гулять среди этого мертвого города было немного жутко, но приятно. Опасаться, впрочем, как это ни странно, в те годы было нечего.

На службе у моего отца произошла крупная перемена: в феврале 1925 года, был сменен папин прямой начальник, главный директор краевого Госторга, Петр Сергеевич Сорокин. Уезжая, он еще раз намекнул, что если мой отец того желает, то может перевестись на новую службу вместе с ним. Папа вежливо отклонил это лестное предложение.

Как я уже писал выше, мы жили в одной квартире с главным директором. Сорокин был настоящим аскетом, и мало интересовался удобствами жизни. Мебель в квартире была казенная, и он к ней почти ничего не добавил. После его отъезда, в обстановке мало что изменилось. Но вот, еще раньше, чем Борис Васильевич Лавров, так звали нового главного директора, въехал в квартиру, в нее прибыли прекрасные персидские и ташкентские ковры. Сын попа, коммунист с 1917 года, Борис Васильевич любил роскошь и комфорт. Мужчина лет сорока, широкоплечий, среднего роста, с лицом красивым, но несколько бульдожьим, и с вечной короткой трубкой в зубах, таков был "товарищ" Лавров. Его жену звали Марья Львовна. Умная и интересная женщина, росту выше среднего, худощавая, немного рябая и отменно некрасивая, она пользовалась огромным успехом у мужчин, вероятно благодаря ее почти болезненному влечению к противоположному полу. Когда кто-нибудь из знакомых дам ей откровенно говорил: "У вас такой еще молодой и интересный муж; чего вам еще надо?" — Она обыкновенно отвечала: "Бореньку моего я очень люблю, и никогда ни за что не оставлю, но..." За этими словами следовало весьма выразительное многоточие. В конце концов, она все-таки бросила своего мужа, и ушла с каким-то летчиком. Но это случилось несколькими годами позже. У нее была девятилетняя дочь, Наташа, воспитывавшаяся у ее матери. Она, эту свою единственную дочь, терпеть не могла, и чувствовала к ней какое-то патологическое отвращение.

Борис Васильевич ревновал свою жену, но больше для виду. Он сам пользовался огромным успехом у женщин, и платил Марье Львовне, за ее слишком частые измены, той же монетой. Этот человек умел хорошо пожить, т. е. вкусно поесть, в дружеской компании прилично выпить, посмеяться и рассказать пару забавных анекдотов. Лавров выдавал себя за убежденного мизантро-

па. Он любил повторять чью-то чужую фразу: "Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных".

Эту свою любовь к животным он доказывал не только словами но и делом: Борис Васильевич был страстным, и говорят, хорошим охотником.

Марье Львовне комфорт и роскошь в жизни нравились еще более чем ее мужу.

— Боря, — говорила она, — на что мне твой коммунизм? Для чего я должна страдать, или отказывать себе в чем-либо, ради каких-то Ванек? Чем твои Ваньки лучше меня?

Борис Васильевич, в ответ, только усмехался, и дымил своей трубкой. Однажды, когда мои родители познакомились лучше, и ближе сошлись с Лавровым, моя мать, шутя, сказала:

— Борис Васильевич, какой из вас коммунист, если вы так любите ковры, шелковые халаты, дорогое белье и прочие жизненные удобства?

Лавров засмеялся:

— Вы ошибаетесь, Анна Павловна, это то и есть коммунизм. Мы хотим, чтобы в недалеком будущем, все жили не хуже меня. Все, без исключения.

Мои родители нередко, вместе с Лавровыми, ходили по вечерам в театр. Случилось раз, что они вернулись позже обыкновенного. На звонок вышел заспанный ночной сторож Госторга, и открыв дверь, поклонившись, пожелал им спокойной ночи. Когда они поднялись в лифте, к себе на пятый этаж, мама задала Лаврову вопрос:

— Объясните мне, Борис Васильевич, для чего была сделана революция? Для чего погибло столько людей? Для чего мы все переносили голод и холод? Не для того-ли, чтобы мы, как и до революции, теперь поздно возвращались из театра? Не для того-ли, чтобы, как и при прежнем строе, все тот же швейцар, разбуженный нами, нам открывал с поклоном дверь, и желал доброй ночи?

Борис Васильевич вынул изо рта свою трубку, и усмехнулся:

— Вы, любезная Анна Павловна, такие вещи все-таки не говорите: неравно услышит кто. Спокойной ночи! — И он отправился спать.

В самом деле: к чему были пролиты реки крови и слез?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: Настя.

Поговорим немного о Насте.

Приехав с нами в Ростов, она поселилась в большой и светлой комнате за кухней, и стала, согласно договору, обслуживать две семьи: нашу и начальника папы, в квартире которого мы жили. Работать ей приходилось немало, но молодой и здоровой казачке сил было не занимать — стать, а жалованье ей шло очень приличное. Работая, она распевала модные песни, и некоторым из них научила и меня. Как и раньше, в свободное время, она лежала на своей постели, куря папиросу за папиросой, и читала любовные романы. Ее собственные сердечные дела шли тоже, кажется, весьма успешно, но о них Настя скромно умалчивала. Большевиков она, по-прежнему, терпеть не могла. В силу новых законов, моя мать была обязана подписать с Настей трудовой договор. По этому контракту ей полагалось известное минимальное жалованье, приличная, для жизни, комната, спецодежда, один свободный день в неделю и двухнедельный годовой отпуск. Насчет жалованья и комнаты — все обстояло благополучно, но вся ее спецодежда состояла из пары передников. Каждое воскресенье она имела половину свободного дня, но годового отпуска у нее совершенно не было. Когда летом мы уезжали на дачу в Одессу, она продолжала обслуживать семью Сорокиных, а позже — Лавровых. Однажды к нам явилась комиссия из "Защиты труда", мужчина и женщина, дабы проверить: насколько исполняются условия трудового договора.

Мама позвала к ним Настю.

— Товарищ, получаете ли вы аккуратно обещанное вам жалованье?

— Получаю аккуратно, полностью, — довольно сухо ответила Настя.

— А спецодежду вы получаете?

— Еще бы!

— А свободный день в неделю, а две недели годового отпуска, вы имеете?

— Все имею.

— Не хотите ли вы предъявить какие-нибудь претензии?

— Совершенно никаких.

Оба "товарища" из "Защиты Труда" казались недовольными.

— А комната приличная у вас есть?

— Есть.

— Покажите нам ее.

Настя повела их к себе. На пороге они остановились, и с недоверием уставились на Настю:

— Это — ваша комната?

— Моя.

— Ого! Однако!

У них самих такой комнаты не было.

В другой раз пришел к ней какой-то тип из Ликбеза. (Ликбез — ликвидация безграмотности). Когда мама позвала Настю к "ликбезовцу", она рассердилась:

— Какого черта они еще хотят от меня? — Однако вышла к нему, вытирая руки о передник.

— Вы, товарищ, будете домашней работницей?

— Буду.

— Вы свободны по воскресеньям?

— Конечно, свободна.

— По имеющимся у меня сведениям, вы ни разу не были у нас.

— У кого это — у вас?

— У нас, в Ликбезе.

— А чего я там не видала?

— Вы должны к нам прийти.

— Для чего?

— Для ликвидации безграмотности.

— Чьей, вашей?

— Вы, товарищ, не сердитесь, — все должны ликвидировать свою безграмотность.

— Мне, товарищ, ликвидировать нечего: я, вот, книжки читаю, а коли письмо написать придется, там думаю, что лучше вашего напишу. А теперь, извините, но у меня на разговоры времени мало, бегу на кухню — боюсь, что там жаркое подгорит. Прощайте.

Товарищ из Ликбеза ушел, пожимая плечами, и больше ее никто не беспокоил.

Однажды мама, в сопровождении Насти, покупала на рынке необходимые продукты. Внезапно Настя потянула маму за рукав:

— Анна Павловна, поглядите, кто там стоит.

Мама оглянулась. В десяти шагах от них стояла худая, оборванная и грязная молодая женщина; на своих руках она держала, завернутого в тряпье, больного ребенка. Он весь был покрыт струпьями и прыщами. Женщина протягивала руку и просила

подаяния. В несчастной, с трудом, мама узнала ту самую Марусю, которая работала у нас в Таганроге, и связавшись с чекистом, вытребовала себе крупную сумму денег. Мама подошла к ней:

— Маруся, — ты?

Та тоже узнала мою мать, и разрыдалась.

— Анна Павловна, барыня, он мне, мерзавец, ребенка сделал, меня самую обобрал до ниточки, да и бросил. Это Бог меня за вас наказал.

Мама подала ей целый рубль и отошла прочь. Маруся приняла его и еще больше расплакалась. Маме ее было искренне жаль, но, что она могла поделать? Когда они отошли на несколько шагов, Настя заметила моей маме:

— Вам, кажется, Анна Павловна, ее жалко, а мне — нисколько: дурой баба была, дурой и осталась; нашла с кем связаться.

Больше никто из нас Марусю не встречал, и ее дальнейшая судьба мне совершенно неизвестна.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: Поездки отца по Северному Кавказу.

Свыше пятидесяти больших и маленьких отделений Госторга, занимавшихся покупкой пшеницы и других хлебных злаков, были разбросаны по территории Северного Кавказа. Все они подчинялись ростовской хлебной конторе Госторга, во главе которой стоял мой отец. По нескольку раз в год, в сопровождении одного из своих помощников, он объезжал, с целью ревизии, некоторые из них. Приезжая в одно из таких отделений, он, первым делом, запечатывал кассу и брал себе все бухгалтерские книги. Эти поездки были утомительны, но очень интересны; я до сих пор жалею, что ни разу не сопровождал в них моего отца. Ездил он обыкновенно автомобилем. В те времена, после недавно окончившейся гражданской войны, такие экспедиции были не безопасны, и в машине, вместе с ними, сидели всегда два конвойных с ружьями. Не знаю, может быть теперь, полвека спустя, нравы переменились, но в те времена, под сенью кавказских гор, они еще сохранились полностью, во всей их своеобразной дикости.

Однажды, проезжая мимо какого-то аула, шофер, по неосторожности, задавил чью-то собаку. Тотчас остановив автомобиль, он сказал, что необходимо немедленно найти хозяина, и заплатить ему за раздавленного пса; в противном случае им всем угрожает

кровная месть. На зов шофера и крики местных женщин, вышел уже пожилой, с седеющей бородой, ингуш. Вначале он, как и все, принялся кричать и размахивать руками. Однако, переговорив с шофером, тоже ингушем, он успокоился, и получив требуемые им деньги, удалился очень довольный, таща за собой за хвост мертвую собаку, и желая счастливого пути виновникам "преступления". На каждом ночлеге, у гостеприимных туземцев, приходилось лакомиться жареной бараниной, подаваемой во всевозможных видах, и запивать ее аракой и кахетинским терпким вином.

Отмечу, между прочим, что сухой режим недавно был отменен новым председателем Совнаркома, Рыковым. Благодарное русское население назвало, в его честь, сорокаградусную водку — Рыковкой. Мой отец страдал желудком, и подобные пиршества вредили его здоровью, но отказаться было нельзя — кровная обида.

После очередной ревизии, одного из подведомственных ему отделений Госторга, прошедшей вполне благополучно, мой отец остался ночевать у местного директора. Директор-чеченец, угощая моего отца жирной бараниной, с гордостью показывал ему своего девятилетнего сына.

— Смотри, товарищ, какой у меня джигит растет! В прошлом году я ему, было, настоящий кинжал подарил, да глуп еще, еле удалось отнять: сестренку свою в колыбели зарезать хотел. Ничего, пусть себе поумнеет, скоро я ему этот кинжал возвращу. Бравый джигит будет!

У этого директора был брат — студент. Он учился в ростовском университете, и мой отец его нередко встречал в Госторге. На этот раз, увидя молодого человека в доме его брата, в самый разгар учебного года, мой отец немного удивился, и пользуясь своим превосходством в летах, задал ему вопрос: почему он не на курсах?

— Не могу сейчас, — спокойно ответил юноша, — пока не покончу с одним делом, до тех пор не вернусь в Ростов.

— Какое у вас такое неотложное дело? — пошутил мой отец, — наверное жениться собираетесь?

— Ради женитьбы не стал бы пропускать лекций профессоров, — последовал серьезный ответ, - жениться и летом успел бы. У меня здесь есть дело поважнее. Уже четыре года, как один негодяй убил моего отца и убежал. Отец еще не отомщен, и на его могиле воткнут шест с красным флажком. Недавно этот наглец вернулся,

и как ни в чем не бывало расхаживает по улице. Мой брат семейный, зачем ему рисковать, а я одинок. Как только убью убийцу, и отомщу за отца, тогда и вернусь в Ростов, кончать мой курс наук.

Папа возмутился:

— Как вам не стыдно! Вы — человек интеллигентный, скоро будете иметь высшее образование, а говорите невероятные вещи.

— А вы как думаете?! У нас теперь мне прохода не дают, стыдят как последнего труса; скоро все старые бабы меня засмеют. Нет, пока его не убью, до тех пор не уеду.

Покидая гостеприимный дом, мой отец обратил внимание на огромную, прекрасно выделанную шкуру медведя.

Хозяин это заметил:

— Она тебе нравится, товарищ?

— Да, — признался отец, — красивая шкура.

Хозяин ничего не ответил. Месяца через четыре, к отцу в Ростов, пришел незнакомый чеченец, и принес ему в подарок, с поклоном от того самого директора, другую, но ничем не уступающую первой, медвежью шкуру. Голова медведя была выделанна таким образом, что казалась целой, и скалила зубы, а на месте глаз, в нее были вставлены стеклянные шарики. При шкуре нашлося письмо, в котором пославший ее просил отца принять этот "скромный" подарок, в знак дружбы и уважения, и, между прочим, пояснял, что этого медведя он сам, специально для моего отца, убил на охоте в горах.

Раз как-то, в другом отделении Госторга, мой отец констатировал нехватку пятиста червонцев. Он потребовал объяснения у директора-ингуша.

— Эти пятьсот червонцев я сам взял из кассы, — объяснил директор.

— Для чего? — поинтересовался мой отец.

— Калым заплатить. Мой старший сын женится, так это за его невесту калым, в пятьсот червонцев, пришлось заплатить. Вот как дорого! Зато невеста какая хорошая — стоит этих денег!

— Но, товарищ, деньги то не ваши, а казенные.

— Так что из того, что казенные? Да ты, товарищ, не сомневайся, деньги не пропадут. Я у ее отца их вытрушу.

Спорить было бесполезно. Высшее начальство посоветовало моему отцу временно оставить этого директора в покое. Действительно, месяцев через восемь, он вернул в кассу всю сумму

сполна; вероятно "вытрусил" ее, как он выразился, у тестя своего сына.

При всяком советском учреждении существовала своя коммунистическая ячейка. В ростовском Госторге, секретарем ячейки, был некто – товарищ Иванов. По своему происхождению простой рабочий, коммунист с 1917 года, он проделал всю гражданскую войну, и местные власти с ним считались. Несмотря на беспартийность моего отца, Иванов ему покровительствовал. В то время директором новороссийской хлебной конторы Госторга, был его родной брат, который, в силу своего служебного положения, подчинялся моему отцу. Во время очередной инспекционной поездки, отцу пришлось обревизовать хлебную контору, возглавляемую братом Иванова. Можно было легко представить себе его огорчение, когда он констатировал в кассе нехватку двухсот червонцев. Пришлось составить соответствующий акт, но прежде чем дать делу законный ход, папа, по своем возвращении в Ростов, рассказал Иванову о случившемся, и спросил его совета.

— Вы, товарищ Вейцман, не знаете, что предпринять? Вы должны, немедленно, передать это дело прокурору.

– Но он — ваш брат, -- возразил мой отец.

— Это ничего не меняет.

Пришлось поступить по закону, и вскоре директор новороссийской конторы был арестован.

В один прекрасный день, во время работы, зазвонил телефон. Папа снял трубку:

— Алло!

— Я говорю с гражданином Вейцманом?

– Да.

— С вами говорит эконом-отдел ГПУ. Будьте любезны явиться к следователю, товарищу Арсеньеву.

Мой отец, передав текущие дела одному из своих помощников, поднялся спешно к себе в квартиру, и сказав маме, куда он идет, отдал ей свои золотые часы, и золотое кольцо с брильянтом:

– В это учреждение знаешь, когда войдешь, но не знаешь, когда выйдешь.

В ГПУ его не заставили долго ждать, и через несколько минут он был принят следователем, товарищем Арсеньевым.

Арсеньев: Товарищ Вейцман?

Отец: Я.

Арсеньев: Вам известно, что в подведомственном вам отделении хлебной конторы Госторга, в Новороссийске, произошла растрата казенных денег?

Отец: Не только что — известно, но я сам ее раскрыл и передал дело прокурору.

Арсеньев: Все это верно; но известно ли вам, что вы, в качестве прямого начальника, директора новороссийской конторы, товарища Иванова, являетесь, вместе с ним, ответственным за эту растрату?

Отец: Нет, но этого не может быть. Как я могу отвечать за кражу, которую сделал другой?

Арсеньев: Вы — прямой начальник растратчика и, следовательно, вместе с ним отвечаете за растрату. Но, скажите мне, может быть товарищ Иванов вовсе не украл этих денег, а попросту, по ошибке, при закупке пшеницы, передал их крестьянам? Ведь это возможно?

Отец (Поняв сразу, что от него хотят) : Конечно возможно.

Арсеньев: Неправда ли? Иванов мог их передать?

Отец: Мог.

Арсеньев: Так вы, гражданин Вейцман, изложите мне теперь, в этом смысле, письменно, ваше мнение. Вот вам лист бумаги: садитесь и пишите.

Папа сел и написал то, что от него требовали.

— Вот и хорошо. Благодарю вас, гражданин Вейцман; вы можете идти.

Отец не заставил себя просить. Очень скоро дело Иванова, о расхищении казенных денег, было прекращено.

Однажды, на улице Владикавказа, мой отец был свидетелем следующей сцены. В середине небольшой кучки туземцев, стояла молодая женщина, и горячо что-то рассказывала одобрительно шумевшим слушателям. Папа заинтересовался, но не поняв о чем она говорит, попросил одного из присутствовавших, объяснить ему в чем дело. Оказалось, что эта женщина была вдовой одного кабардинца, пытавшегося ограбить банк. Это ему не удалось, но отстреливаясь, он убил сторожа. Совершив убийство, грабитель пытался бежать, но, на углу одной из улиц Владикавказа, был окружен милицией. Тогда он стал стрелять из двух револьверов: убил и ранил несколько человек, и только когда запас патронов иссяк, последнюю оставшуюся у него пулю, пустил себе в висок. Теперь его молодая жена громко возмущалась:

— Какой народ нынче пошел! Не нашлось ни одного кунака, чтобы, когда у моего мужа не хватило патронов, дать ему в руки хотя бы еще один заряженный револьвер!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: Два случая из служебной практики моего отца в Госторге.

"Вы знаете, Анна Павловна, ваш Мосенька — просто трус. Можете ему сказать, что я трусов не люблю, и им не доволен".

Борис Васильевич Лавров, вернувшийся домой раньше моего отца, теперь с жаром, говорил все это, моей удивленной и обеспокоенной матери, а трубка его пыхтела и дымила более обыкновенного.

Когда папа возвратился с работы, мама обратилась к нему за разъяснением. Ее очень огорчило, что между Лавровым и отцом произошла серьезная размолвка.

— А пусть он идет к черту! — ответил мой отец. — Я, ради его прекрасных глаз, подводить себя под расстрел не собираюсь, — и он рассказал матери в чем было дело.

Нуждаясь в иностранной валюте, советское правительство, за крупную денежную сумму в долларах, предоставило некоторым иностранным державам, на известный срок, концессии на Северном Кавказе. В числе этих концессий были и земледельческие. Теперь, иностранные концессионеры, испытывая сами довольно серьезные материальные затруднения, предложили Госторгу финансировать их, обещая, в относительно короткий срок, вернуть одолженную сумму с весьма интересными процентами. Лаврову эта операция понравилась, и так как дело касалось также концессий земледельческих, то он вызвал моего отца, и посоветовал ему выдать концессионерам требуемые деньги на установленных условиях. Папа наотрез отказался, и так как Лавров продолжал настаивать и горячиться, то он ему объяснил, что концессии даются для получения денег, а не наоборот, но, что если он, Лавров, настаивает на подобной операции, то пусть даст соответствующий письменный приказ, скрепленный его подписью и печатью и тогда, в порядке служебной дисциплины, мой отец сделает то, что от него требуют. Борис Васильевич обозвал папу трусом и ответил ему, что такого приказа не даст, а совершит эту сделку, помимо моего отца, своей собственной властью. Так он

и сделал. Отношения между ними сильно испортились. Несколько месяцев спустя, Лавров был снят с занимаемого им поста, и вызван в Москву к Троцкому, бывшему тогда председателем Совнархоза (Совета Народного Хозяйства). Говорят, что Троцкий кричал на него как на мальчишку, и еще много времени спустя Лавров не расставался со своим револьвером, готовясь, если придут его арестовывать, застрелиться. Для него, как для старого коммуниста, все кончилось благополучно, хотя он и очень много пережил; но мой отец, если бы его послушался, то был бы несомненно предан суду, обвинен в экономической контрреволюции и, вероятно, расстрелян.

В 1925 году на всем Северном Кавказе был недород, краевой Исполком отдал приказ, впредь до нового урожая, прекратить посылку зерна за границу. Мой отец получил соответствующее распоряжение. Одновременно, из центральной конторы Экспортхлеба в Москве, пришел другой приказ, об отправке за границу максимального количества пшеницы, так как государство продолжало остро нуждаться все в той же иностранной валюте. Два приказа были диаметрально противоположны. Поколебавшись самую малость, мой отец решил, что, в конце концов, Москва окажется всегда правой, и сделал распоряжение о погрузке на суда в Новороссийске, имеющееся в амбарах зерно. В результате отец был вынужден предстать перед ростовским дисциплинарным трибуналом, который вынес следующее решение: "Гражданина Моисея Давидовича Вейцмана, за неисполнение приказа местных краевых властей, приговорить к выражению ему строгого порицания, с занесением его в послужной список, и к опубликованию решения суда в печати".

Мой отец аппелировал в Москву, в центральную Рабоче-Крестьянскую Инспекцию (РКИ). Прошло свыше года. Мы уже в то время жили в Москве, когда РКИ, под председательством известного Сольца, вынесла по этому делу следующее решение: "Ввиду того, что гражданин Моисей Давидович Вейцман, посылая в 1926 году пшеницу за границу, выполнял этим приказ Народного Комиссариата Внешней Торговли, приговор северокавказского, краевого дисциплинарного суда отменить, вычеркнуть его из послужного списка вышеупомянутого гражданина, и опубликовать это решение в печати".

Трудно и опасно было служить в советских учреждениях!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ: В Москву! В Москву! В Москву!
Чехов ("Три сестры").

В 1926 году я окончил семилетку, и получил диплом с отличной характеристикой. В то время мне шел только пятнадцатый год, и для поступления в университет я был слишком молод. Кроме того, для поступления во все высшие учебные заведения, для детей интеллигентных родителей, существовала, позже отмененная Сталиным, процентная норма. Отец решил, что вплоть до окончания девятилетки, я буду учиться в средней школе.

В этом году мы вновь поехали на лето в Одессу, и сняли дачу на одиннадцатой станции Среднего Фонтана. На дачу мы с мамой отправились без отца, так как он был вызван в Москву. В середине лета папа приехал к нам на дачу и сообщил, что: он, Либман, Копель и многие другие, переводятся в Москву на предмет, в ближайшем будущем, их посылки за границу. Покаместь, начиная с первого сентября, мой отец переходит на службу в центральную московскую контору Экспортхлеба. Комната для нас была уже найдена и снята в квартире брата тети Ани. Платить за нее будет сам Экспортхлеб. Жалованье моему отцу было положено, для того времени, весьма значительное: 35 червонцев в месяц. Мы с мамой были очень довольны; в особенности нас прельщал мираж поездки в далекие страны, за границу. По этому поводу отец сказал, что, по всей вероятности, его пошлют в Италию. Самому ему уезжать из Советского Союза не хотелось, и он надеялся, что эта поездка состоится еще не скоро. Дядя Миша тоже устроился в каком-то учреждении в Москве, и переехал туда с тетей Аней и Женей, отправив бабушку к ее дочери, Рахили, в Симферополь, в Крым. Вскоре дядя получил при юридическом факультете московского университета, кафедру экстраординарного профессора. Уже несколько лет проживала в Москве двоюродная сестра моей матери, Маршак, замужем за брата жены Рыкова. Одна из моих троюродных сестер, Мура, вышла замуж за какого-то начдива, и тоже поселилась в Москве. К концу 1926 года многие из наших родственников и знакомых переехали жить в Белокаменную.

По возвращении из Одессы в Ростов, начали собираться и мы. Сборы были недолгие. Первым делом мы запаковали и послали по железной дороге, все наше небольшое имущество, в том числе и медвежью шкуру. Мама с Настей пошли официально расторгнуть их договор. Насте очень хотелось поехать с нами, но это было

совершенно невозможно. В бюро, занимавшимся делами домашних работниц, заседала молодая мордастая баба, с головой, повязанной красной косынкой. Перед ней стояла какая-то девица, и крикливо рассказывала ей про свою ссору с хозяйкой, у которой она работала, обвиняя эту последнюю во всех тяжких грехах. Баба, в красной косынке, время от времени подавала ей сочувственные реплики, и видимо наслаждалась этой беседой. Настя сделала брезгливую гримасу, и наклонившись к маме тихо сказала:

— Вы только посмотрите, Анна Павловна, на этих двух стерв; послушать их — с души воротит.

Язык, употребляемый Настей был красочен, хотя и не дипломатичен; но мама вполне согласилась с ее мнением, однако приложила палец к губам. Настала их очередь. "Красная косынка" посмотрела на обеих:

— Что вам угодно, гражданки?

— Пришли расторгнуть договор, — сказала Настя.

Баба вновь осмотрела их с ног до головы. Обе были в шляпках, обуты в изящные новенькие туфли и с сумочками в руках.

— Да кто ж из вас будет домашней работницей?

— Я, — ответила Настя.

Баба, не то с укоризной, не то с удивлением, качнула головой. За сим последовали все те же вопросы: получала ли она сполна свое жалованье, имела ли отпуска и все прочее, и не желает ли она предъявить каких-либо претензий или жалоб? Настя отвечала, что имела больше того, что ей полагалось, и жаловаться ей не на что.

— В таком случае, товарищ, если вы так всем довольны, — сердито заявила, заседающая за столом, защитница интересов притесняемых домашних работниц, — распишитесь вот здесь.

Выйдя с мамой на улицу, Настя расхохоталась:

— Заметили, Анна Павловна, как эта дрянь была недовольна моими ответами? Ей не хватало маленькой ссоры между нами.

Теперь и мне оставалось закончить мои дела. В отряде я получил бумагу, удостоверяющую мою принадлежность к пионерской организации, и дату моего в нее поступления. Это удостоверение мне служило переводом в любой другой пионерский отряд СССР. После чего, в сопровождении моей матери, я отправился прощаться с Евгенией Ильиничной Шершевской, директоршей моей школы. Она была искренне огорчена моим отъездом, и предложила маме оставить меня у нее, на все время учебного года.

— Я буду ему как мать, — уверяла она, — ему будет у меня хорошо. Вашего сына надо знать — он очень славный мальчик, но если в Москве, в другой школе, его не поймут, он будет страдать.

Конечно, мою мать она не убедила, и я навсегда расстался с моей школой, с пионерским отрядом и со всем маленьким мирком, к которому я привык.

В последний вечер, когда я уже лежал в постели, внезапно пришла попрощаться со мной, жившая этажом ниже, Вера Бонк. Она была в том же пионерском отряде, что и я, и будучи одного роста со мной, в строю мы стояли всегда вместе. В прошлом мы нередко ссорились, но теперь она села на мою кровать, и мы провели в дружеской беседе около часу. Прощаясь, мы с ней, в первый и в последний раз в жизни, расцеловались. На другой день, с утренним поездом, вместе с матерью, я уехал в Москву. Еще одна страница истории моей жизни перевернулась.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.

В Москве.

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы!

Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах...
Сколько храмов, сколько башень
На семи твоих холмах!

Исполинскою рукою
Ты, как хартия, развит
И над малою рекою
Стал велик и знаменит.

На твоих церквах старинных
Вырастают дерева;

Глаз не схватит улиц длинных...
Это матушка Москва!
Глинка (Москва)

ГЛАВА ПЕРВАЯ: В домике, за Тверской заставой.

. . . . .
. . . . Ну! не стой,
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют! вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.

За Тверской заставой, в глубине Новотриумфальной площади, напротив Варшавского вокзала, с которого нам суждено было уехать за границу, стоял, а может быть, и теперь стоит, маленький двухэтажный домик. Нижний его этаж был каменным, а верхний — деревянным. Каждый этаж его состоял из одной квартиры в три комнаты, с кухней и всеми удобствами. Перед домом был разбит крохотный садик, отделявший его от площади, в котором росли два чахлых кустика. В 1926 году нижний этаж этого домика принадлежал брату тети Ани. Он был женат на женщине — враче, еврейке, родом из Винницы. Детей у них не было. Тетя Аня, как я уже говорил выше, происходила из хорошей семьи, довольно богатых таганрогских евреев, Минкелевич, но ее брат, для того чтобы это имя не звучало слишком еврейским, переменил его ни Минкевич. Был он человеком ловким и довольно неприятным. Где он служил — мне неизвестно. Его жена, напротив, была милейшей женщиной. Работала она в одной из крупных больниц Москвы. В конце года они нашли себе квартиру ближе к центру города, и продали ту, в которой мы снимали комнату, одному богатому армянину-нэпману, по имени Джанумов.

Георгий Авгарович Джанумов, был господином среднего роста, лет пятидесяти с небольшим. Он был в близком родстве с богатейшими армянскими банкирами царского времени, Джангаровыми. Его жена, полька, умерла накануне революции, оставив ему дочь Лизу. Елизавете Георгиевне было теперь лет под двадцать пять; она была красивой и образованной, но странной девушкой: бедняжка страдала боязнью пространства. Целыми днями она сидела дома, или уезжала гулять, со своим отцом, в автомобиле. Однажды,

моей матери удалось уговорить Елизавету Георгиевну, сопровождать ее, пешком в центр города, полюбоваться на витрины магазинов. Отойдя шагов на двести от дома, несчастная девушка начала дрожать всем телом, и стала умолять маму отвести ее поскорее домой. Она была близка к обмороку. Между ней и ее отцом отношения были странные: он часто приносил дочери дорогие подарки, но, порой, они ужасно ссорились, и тогда дочь кричала на отца. Злые языки говорили, что она совсем не его дочь, но падчерица: дочь его покойной жены, и что теперь Джанумов живет с ней как с женой. Может быть всем этим, и громадной разницей в их возрасте, объясняется крайняя нервозность молодой женщины, доходящей порой до истерики. Однажды мама ей сказала:

– Елизавета Георгиевна, вы нервны, как настоящая старая дева.

– Я не старая и не дева, – последовал лаконический ответ.

У нее была маленькая собаченка, неизвестной породы, по имени Джанчик. Кухня у нас была общая. И вот, в один прекрасный день, когда мама, как всегда, собиралась приготовить мне обед, так как я должен был к двум часам быть в моей школе, Елизавета Георгиевна оставила меня без обеда, потому что на газе варилась еда для Джанчика.

Во втором этаже жила русская семья: муж, жена и дочь, Ольга. Ольге было лет пятнадцать, но на вид ей можно было дать гораздо больше. Невысокого роста, полногрудая, всем своим видом и повадками она напоминала уже совсем зрелую женщину. Как только мы познакомились, Ольга стала "ухаживать" за мной. Каждый раз когда она видела меня в нашем садике, то спускалась в него, и совершенно никого не стесняясь, садилась ко мне на колени, и прижималась всем телом. Пару раз, встретившись в коридоре, она поцеловала меня в губы. Когда я теперь вспоминаю об этом, то, не без сожаления, думаю, что, несмотря на мои пятнадцать лет, я был еще большим дурнем, и потерял великолепный случай получить первый любовный опыт. Впрочем, в этих делах я всегда бывал застенчив и нерешителен.

Мама нашла себе в Москве, приходящую на полдня, домашнюю работницу, Матрену. Эта была уже немолодая крестьянка Тульской губернии. Баба она была весьма добродушная, но простая, совершенно безграмотная, и не умевшая сварить самого обыкновенного обеда. Однажды мама попросила ее помочь ей на кухне.

– Да, Павловна, я ж не умею.

— Как это ты не умеешь? Ты ведь уже баба немолодая, у тебя, небось, и дети есть.

— Как не быть — есть, четверо: трое сыновей да дочь. И внуков у меня уже девять, а муж давно помер.

— Да как же ты им готовила еду?

— А, что мне было, Павловна, им готовить? Известно какая у нас еда: картохля да картохля.

Моя наши полы или окна, она очень любила петь. Пела Матрена, как только умеют петь одни "кацапы", то есть при полнейшем отсутствии голоса и слуха, и о чем ни попало. Мама любила рассказывать, по поводу великорусского пения, один украинский анекдот:

"Два кацапа-маляра красят дом. Один из них обращается к другому:

— Ваня, а Ваня, слышь! Спой мне что-нибудь такое, чтобы за душу хватило.

Ваню просить долго не надо, и смотря перед собой, он начинает, заунывным голосом, петь про все, что видит: "И прохожий идет, и собака бежит, и лошадь стоит, а моя шапченка да из одной материи, что и твои онученьки..."

Тут другой мастер его прерывает:

— Будя, Ваня, будя! Уже я и прослезился".

Так, приблизительно, пела и наша Матрена.

— Павловна, а, Павловна, а что я тебе скажу: когда я окна-то мою, то извозчики, что на площади, перед станицей стоят, дюже любят слушать как я пою.

— Ну что ж, — отвечала ей мама, — коли так любят, так и пой им.

И она пела. Бывало Матрена громко восхищалась нашей скромной обстановкой. Однажды она сказала:

— Павловна, слышь: уж так красиво у тебя! Разреши мне привести к тебе моего племянника, посмотреть как ты живешь.

— Приведи, — согласилась моя мать.

Через пару дней, наша девица пришла на работу в сопровождении молодого, здорового парня, который наивно любовался весьма простой мебелью нашей комнаты, как если бы он попал в королевский дворец. Мама его угостила чаем. После его ухода, Матрена сказала:

— Павловна, а ведь я тебя обманула, — он мне совсем не племянник.

— А кем же он тебе будет? — поинтересовалась мать.

— А полюбовником.

В апреле 1927 года на Новотриумфальной площади, перед самым Варшавским вокзалом, обосновалось несколько тысяч безработных. Они поставили там палатки, по ночам зажигали костры, и жили таким образом, неизвестно чем, довольно долго. В одно прекрасное утро прискакал отряд конной милиции, и разогнал их всех, так быстро и умело, что позавидовал бы, пожалуй, казацкий эскадрон доброго старого времени. Оказалось, что ждали приезда какого-то западноевропейского дипломата.

Из наших окон мы видели, как привезли тело убитого в Варшаве советского посла, Войкова. На вокзале польской столицы Войков встречал поезд, в котором ехал в Москву, возвращаясь из Лондона, другой советский дипломат. В ожидании, он гулял по перрону. Неожиданно, к нему подошел русский белый эмигрант, по имени Коверда. Подойдя вплотную к советскому послу, он выхватил револьвер и выстрелил в него. Войков был смертельно ранен. Арестовавшим его, польским жандармам, Коверда заявил: — Я отомстил за смерть моего Императора и всей его семьи". Войков, как известно, был одним из трех физических убийц Николая Второго. Досужие москвичи нашли странную, почти кабалистическую, связь, существовавшую между фамилией убийцы и его жертвы:

ВОЙ	КОВ
КОВ	ВЕРДА

ГЛАВА ВТОРАЯ: Мои московские досуги.

До сих пор, в моих странствованиях по белому свету, судьба меня вела по восходящей кривой: Геническ, Таганрог, Ростов на Дону, Москва. Огромным мне показался Таганрог после Геническа, и таким же представился моим глазам Ростов после Таганрога; но чем все они были перед Москвой?! Громадный, старинный и прекрасный город! В нем, в свободное время, я превращался в туриста. Выйдешь, бывало, в воскресный, погожий, зимний день, и пойдешь в направлении центра города. Не близок свет! Но я любил ходить, и расстояниями не смущался. Морозно, но безветренно, снег скрипит под ногами... На мне теплая меховая шуба,

на голове — шапка, на ногах — резиновые галоши. За заставой начинается Тверская (ныне — улица Горького). В этой своей первой части, она еще очень широкая. Старотриумфальная площадь лежит на кольце Б. Вся Москва есть круг с концентрическими окружностями. Заставы и валы представляют собой внешнюю окружность. Мы жили сейчас же за ней. Ближе к центру находится кольцо Б., а еще центральней пролегает кольцо А. Тверская, как и многие другие улицы, представляют собой радиусы сходящиеся к Кремлю, к Красной и Театральной площадям. До Старотриумфальной площади, широкая Тверская имеет вид улицы губернского, если не уездного, города, необъятной России; но за кольцом Б. она подтягивается, и всем своим видом начинает говорить: "Я — одна из главных улиц Москвы". Кольцо А. Направо — Пушкинский бульвар, со знаменитой статуей поэта. Дальше Тверская сужается, но делается еще красивей. Советская площадь, с домом Моссовета с одной стороны, и с обелиском Свободы с другой. К его подножию была прибита бронзовая доска, с выгравированным на ней текстом Советской Конституции. Впоследствии эта конституция менялась несколько раз. Кстати, расскажу как проходили в мое время выборы в Моссовет. Моему отцу довелось быть в числе избирателей от Краснопресненского района. В огромном зале набилось множество народу. На трибуне, за столом, покрытым красной материей, заседает президиум, состоящий из председателя и двух членов. Берет слово представитель местного комитета партии:

— Граждане, партия предлагает выбрать в Моссовет следующих кандидатов: X, У, ... Граждане, кто голосует за предложенный список пусть подымет руку.

Поднялось несколько рук.

— Кто против?

На этот раз поднялся целый лес рук.

— Нет граждане, вы, вероятно, не поняли: этих товарищей предлагает выбрать в Моссовет наша партия. Начнем сначала: кто голосует за предложенный список кандидатов?

Опять поднялось несколько рук.

— Кто против?

Снова — лес поднятых рук.

— Нет, товарищи, я вижу, что вы опять меня не поняли... — и комедия продолжается.

Наконец, уставший, но ничего не добившийся "товарищ", заявляет:

— Проголосуем еще раз: кто за предложенных кандидатов? Раз, два, три, четыре... Большинство! Предлагаемые партией товарищи выбраны в Моссовет.

Председатель обьявляет заседание закрытым.

Теперь, в СССР, практикуется тайное голосование, но результат его неубедителен; предлагаемые правительством кандидаты всегда получают от 97% до 99% голосов. Такое же явление наблюдается во всех странах диктатуры. При подсчете голосов никакого контроля не существует, да, кроме того, "свободные" граждане опасаются голосовать против: "Оно-то, конечно, тайное, но если власти, ненароком, узнают?!"

Но оставим политику, и продолжим прогулку по Москве. Охотный Ряд. Здесь помещался Экспортхлеб, в котором служил мой отец. Часовня Иверской Божьей Матери, всегда полной молящихся. Кремль и Красная площадь. При входе на нее стоял памятник Минину и Пожарскому. Теперь памятник перенесен в глубину площади. Под кремлевской стеной лежит маленькое кладбище. Там похоронены вожди и герои революции. Тела некоторых героев были сожжены, и урны с их пеплом замурованы в эту самую стену. Там же возвышается мавзолей Ленина. Теперь он каменный, но в мое время он был деревянным. День и ночь перед мавзолеем стоит почетный караул. Входили в него посетители через одни двери, а выходили через другие. В центре мавзолея находилось небольшое, четырехугольное помещение залитое красным светом. Посередине стоял саркофаг, покрытый стеклянной крышкой, под которой, в нем, лежало забальзамированное тело Ленина. Пишу в прошедшем времени, так как не знаю, как все это теперь. На одной из стен, напротив саркофага, в рамке, под стеклом, висел обрывок одного из знамен Парижской Коммуны. В глубине Красной площади — собор Василия Блаженного, а недалеко от него находилось страшное "Лобное место", с ржавыми цепями, и большим , плоским камнем, со следами на нем ударов топора. Теперь вход в Кремль, сколько мне известно, свободен; но в мое время, проникнуть в него, без особого пропуска, было невозможно. Когда кто-либо из членов правительства выезжал из него через Спасские ворота, то особый звонок предупреждал об этом прохожих. Однажды, когда я гулял по Красной площади, зазвонил такой звонок. Я, как и все прочие, остановился. Спасские ворота раскрылись,

и из них выехал автомобиль, и полным ходом помчался в сторону Тверской. В нем я мельком увидал пожилого человека, в военной форме, с бородкой клином. "Это Троцкий, Троцкий", — заговорили все кругом.

В другой раз я сидел с Солей, в одном из центральных кинематографов Москвы. В антракте прошла мимо нас и села на несколько рядов впереди, пожилая и некрасивая женщина. "Ульянова!" — зашептали зрители. Действительно, это была сестра Ленина. Я имел счастье видеть Москву еще не обесцвеченную сталинскими реформами. Была цела старинная стена Китай-города, не были снесены Красные Ворота, и как незыблемый памятник верности Великому Царю, возвышалась Сухарева башня, и горели огни сотен свечей в часовне Иверской Божьей Матери. Правда, что не было в Москве высотных домов, и не существовало, совершенно невероятной, по своей ненужной роскоши, московского метрополитена, этого подземного памятника тирану.

Иногда, разнообразя мои прогулки, я поворачивался спиной к центру города, и шел по Ленинградскому шоссе, вплоть до Петровского замка. Однажды, мой отец повел меня в зоологический сад, полюбоваться на зверей без клеток, и на слона свободно разгуливающего по аллеям.

Мои родители часто посещали театры, и обыкновенно брали меня с собой. В Большом я впервые слушал оперу "Аида". В Малом мне удалось увидеть гоголевского "Ревизора", в его классической постановке. Эту же пьесу я видел позже в интерпретации Меерхольда. В Художественном театре (МХАТ) я присутствовал на представлении "Синей птицы" и "Горе от ума".

Вероятно, мы все инстинктивно чувствовали, что надо пользоваться этими последними месяцами нашей жизни на Родине.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Советская трудовая школа на Красной Пресне.

По приезде в Москву, я, первым делом, пошел в пионерский центр, который направил меня в один из отрядов нашего, т. е. Краснопресненского, района. С первого же дня я понял, что делать мне в этом отряде нечего. Его состав, его деятельность, и вообще атмосфера, царившая в нем, ничего не напоминали ростовский отряд, в котором я себя так хорошо чувствовал. Я рассказал о моих впечатлениях отцу, и он мне посоветовал прекратить его

посещать. Я последовал совету отца и, без особых сожалений, вышел совсем из пионерской организации.

Теперь у меня была забота посерьезней: школа. Следуя общему правилу, я поступил в восьмой класс, ближайшей от моего дома, школы нашего района. Это была девятилетняя со счетоводным уклоном. Директором ее был довольно молодой коммунист из рабочих. Преподавание в ней велось довольно посредственно, а счетоводством я совершенно не интересовался, хотя мы и изучали двойную итальянскую бухгалтерию по учебнику профессора Вейцмана. Все это было бы терпимо, если бы не злостный антисемитизм, царивший среди учеников. В первые же дни моего пребывания в этой школе я стал чувствовать, со стороны большинства моих товарищей по классу, отчужденность и неприязнь. Вскоре начались насмешки и вопросы вроде: "Вейцман, откуда ты приехал?" Я отвечал, что из Ростова на Дону. "А мы думали, что из Бердичева". Потом пошли толчки и издевательства. Все чаще и чаще, в моем присутствии, произносилось слово "жид". Мне начали аккуратно мазать спину мелом. Мама меня спрашивала: "Отчего у тебя всегда спина в мелу?" Я отмалчивался или объяснял все беззлобными шутками товарищей.

У меня сохранилась старая гимназическая этика, отчасти почерпнутая из книг: никогда и ни в каком случае, не доносить на товарищей. Однажды, придя в класс, я понял, что что-то готовится против меня. Группа мальчиков смотрела в мою сторону, и шушукалась. Наконец, уже на последнем уроке, я явственно услышал, как один из них сказал: "Жидов надо бить"; на что другой ему возразил: "Их надо не бить, а убивать". Когда уроки кончились, на улице уже стояла туманная и холодная московская ночь начала октября. С тяжелым чувством, и, что греха таить, со стрхом, собрав мои книги и тетради, я вышел из школы, намереваясь, как можно скорей, пойти домой. В десяти шагах от школьных дверей меня окружило человек шесть учеников, и среди них я заметил того, который требовал убийства евреев, а не их избиения, и двух других его главных приспешников. С криком: "Бей жидов!" они набросились, с кулаками, на меня. Все мои книги и тетради полетели в грязь. В этот момент я услыхал голос моей матери:

– Ах вы, хулиганы проклятые! Погромщики! Убийцы!

Мальчишки тотчас разбежались. Чутко бывает сердце матери!

Незадолго до того, когда я должен был вернуться домой, мама сказала отцу:

— Мося, пойдем навстречу Филе: я боюсь за него. Последнее время мальчишки пачкают, каждый день, ему спину мелом. Он не жалуется, но это мне не нравится.

Отец согласился, и они подоспели вовремя. Если бы не их вмешательство, то, вероятно, я был бы серьезно избит, может быть ранен. Несмотря на мое нежелание доносить начальству, мои родители насильно повели меня обратно в школу. Директор находился еще у себя в кабинете, когда отец попросил его нас принять "по спешному делу".

Директор выслушал внимательно моего отца, и горячо заявил:

— В подведомственной мне школе я антисемитизма не допущу.

После этого своего заявления он велел мне назвать имена виновных. Всякий донос мне был противен, и в первый момент я пытался его уверить, что в темноте не разглядел лиц нападавших, но он мне не поверил и продолжал настаивать. В конце концов я назвал имя главного виновника, и двух его друзей, но при этом прибавил, что уверен только в вине одного его, а двое других были скорее свидетелями чем виновными, и в попытке моего избиения активного участия не принимали. Что касается остальных участников, то я их лиц хорошенько не рассмотрел. Началось дело. На следующий день все хулиганы явились в школу сильно испуганными. Некоторые из них прямо обратились ко мне, умоляя не называть их, и обещая, что больше никто меня трогать не будет. Директор-коммунист передал дело, имевшейся при школе, комсомольской ячейке. Отмечу мимоходом, что один из комсомольцев, членов этой ячейки, великовозрастный парень, учился в одном классе со мной, и не раз присутствовал при антисемитских выходках некоторых из учеников, направленных против меня, но никогда не вмешивался , а ограничивался улыбками. Секретарем ячейки была одна семнадцатилетняя девица. Я был вызван к ней для снятия с меня допроса. Я повторил ей, слово в слово, все показания, уже ранее данные мной директору. Был созван товарищеский суд. Директор школы дал ему исполнительные права, заявив, что подпишется под любым его решением. Председательствовала на суде все та же комсомолка. Кроме нее были назначены еще два члена суда, обвинитель и защитник. На скамье подсудимых сидел только один главный виновник, тот

самый, который требовал смерти евреев. Я являлся пострадавшим, а остальные участвовали в роли простых свидетелей.

В начале заседания председательница произнесла речь, в которой говорила о недопустимости подобных выходок со стороны советского ученика, и обьясняла, что антисемитизм есть постыдный пережиток старого режима. ''Прокурор'' требовал исключения виновника из школы. Сам хулиган признавал себя виновным, но обещал исправиться. В конце концов он был приговорен к исключению из школы, но... условно, на три месяца, т. е. если в течении этого срока он опять серьезно в чем-либо провинится, то будет исключен автоматически. После этого суда всякие антисемитские выходки прекратились, напротив, вчерашние мои враги начали лебезить передо мной, и старались заслужить мою симпатию. Все это мне казалось слишком противным, да и преподавание оставляло желать лучшего. В начале ноября мой отец перевел меня в школу, в которой учился Соля Либман. Правда, она находилась в Хамовническом районе, т. е. очень далеко от нашего дома, но это была одна из лучших школ Москвы. О ней я расскажу в следующей главе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: **Школа в Хамовническом районе.**

Новая школа, в которую я записался, была с педагогическим уклоном. Это учебное заведение было на столь высоком счету, что при мне, в девятом классе, училась дочь народного комиссара здравоохранения, доктора Семашко. Это была девочка лет шестнадцати; товарищи ее прозвали Елена Наркомздрав. Когда какая-то западноевропейская делегация пожелала увидеть как работает советская школа, ее привели к нам. Помещалась она в старинном барском особняке. Особняк был недостаточно велик, и занятия в нем происходили в две смены: младшие классы — от 8 до 13,5 часов, а вторая смена — от 14 до 19,5 часов. Каждый урок длился 50 минут, а после третьего урока бывала большая, получасовая перемена. Во второй смене учились четыре старших класса этой девятилетки. Чтобы попасть вовремя к началу занятий, я выходил из дому в час дня, а возвращался домой к восьми с половиной часам вечера. В Москве зимние дни коротки, и занятия происходили при электрическом освещении.

Все четыре старших класса учились по, так называемой, систе-

ме Дальтон-Плана. Постараюсь объяснить в чем он заключался. Классных комнат, в их обыкновенном значении, согласно этому плану, не существовало: их заменяли лаборатории разных изучаемых материй, бывшие ничем иным, как довольно обширными библиотеками, состоящими исключительно из книг, относящихся к данной материи. Приведу два примера. Математическая лаборатория имела в своем распоряжении множество трудов различных авторов, касающихся: арифметики, алгебры, планиметрии, стереометрии, плоской и сферической тригонометрии, анализу алгебры и т. д. Лаборатория русского языка содержала библиотеку, состоящую из десятка русских грамматик, и целой коллекции произведений классиков, и других старых и новых писателей.

Программы всех проходимых предметов были разбиты на несколько частей, долженствуемые быть пройденными в течении года. В каждой лаборатории, бессменно сидел преподаватель данного предмета. Большую часть времени он ни во что не вмешивался, а только наблюдал. От времени до времени, приблизительно раз в месяц, он собирал, на час или другой, учеников, и бегло объяснял им в общих чертах, следующую часть проходимой материи.

Иногда учителя русского языка и математики задавали письменные работы, а преподаватели физики и химии производили опыты. Для этой цели, в их лабораториях, имелись различные аппараты и препараты. Приходя в школу, ученик отправлялся в ту или иную лабораторию по собственному выбору, и проводил в ней столько часов, сколько хотел, но прежде всего он был обязан, в каждой лаборатории, проштемпелевать специальную контрольную карточку. На ней отмечался предмет, изучаемый учеником, а также час, число и месяц. Раз в месяц эти карточки отбирались у всех учащихся, проверялись дирекцией школы, а ученикам выдавались новые. Дирекция интересовалась только тем, чтобы ученики проводили положенные часы в стенах учебного заведения, оставляя им полную свободу в выборе занятий. Настоящих уроков, с их обязательным расписанием, совершенно не существовало. Если, во время изучения того или иного предмета, после консультации всех к нему относящихся трудов, имеющихся в лабораторной библиотеке, ученик продолжал чего-нибудь не понимать, то он обращался к одному из своих товарищей, и если последний тоже не мог ему помочь, то оба они обращались к третьему и т. д. И только если никто из присутствовавших

не в силах был преодолеть встретившуюся трудность, то все обращались к учителю, и тот им ее разъяснял. Когда ученик чувствовал себя достаточно подготовленным, он обращался к преподавателю, прося подвергнуть его проверочному испытанию. Если он его выдерживал, то результат вносился в регистр, находящийся у учителя, а копия записывалась на специальном листе, имеющемся у каждого ученика. В случае неудачи, ученик имел право просить учителя подвергнуть его новой проверке, хотя бы на следующий день, и так неограниченное количество раз, до тех пор пока кандидат не выдерживал испытания. Таким образом учащийся был полным хозяином своего времени, но в конце учебного года у него не должны были оставаться несданные зачеты, в противном случае он повторял год. Если в течении второго года ему снова не удавалось сдать все зачеты, то такого ученика исключали из школы. Иногда педагогический совет разрешал держать осенью переэкзаменовку.

Все учащиеся, по очереди, должны были дежурить в лабораториях, т. е., раз в несколько недель, жертвовать одним днем. Дежурный штемпелевал карточки, выдавал и отбирал книги, приводил в порядок библиотеку и т. д.

Почти все учителя этой школы сделали свою карьеру еще в царской гимназии, и были отличными педагогами. Я был весьма доволен ими, а они мной. С товарищами по классу дело обстояло хуже. Здесь тоже царил антисемитизм. Правда, что он не был столь наглым и откровенным, как в первой школе, но мне приходилось от него страдать немало. Все же я сошелся с некоторыми из моих соучеников. Один из них, Николай Петров, тихий и очень приличный юноша лет восемнадцати, был слепым от рождения. Я ему помогал чем мог: читал вслух, объяснял. Мы с ним подружились. Коля быстро научился узнавать о моем приближении по звуку шагов, и это было очень трогательно. Другой мальчик, по имени Семен Лаврентьев, был любителем шахмат, и на большой перемене мы часто с ним сражались.

В январе два наших старших класса с педагогическим уклоном отправились на экскурсию в примосковские деревни, с целью познакомиться с деятельностью сельских школ. Мой отец очень боялся, что в такие холода (термометр иногда показывал —30), я простужусь, но поездка была обязательной, и он, скрепя сердце, согласился меня отпустить. Мы заняли двухэтажный дом, чью-то бывшую дачу, в 25 верстах от Москвы, по Ярославской дороге.

Правительство там основало государственное, опытное, молочное хозяйство. В нем выращивались замечательные, по своей толщине, коровы. Ежедневно нам приносили пить парное молоко. Кругом стоял, занесенный снегом, хвойный лес. Воздух там был прекрасный. Прожили мы на этой ферме дней с десять. Осмотрели пару сельских школ, но главное: ели, пили парное молоко, спали и гуляя по лесу, дышали морозным, хвойным воздухом. Иногда холод щипал нам носы и уши, но это нас не смущало. В нижнем этаже, на походных койках, спали мальчики, а наверху — девочки. Я выбрал себе место возле печки, и возвращаясь по вечерам с прогулки, согревался возле нее. Нас сопровождало четверо учителей. Приехал я домой отдохнувшим и поздоровевшим, но папа был очень рад, что его сын вернулся, из такой опасной экспедиции, живым и невредимым. Так прошла зима и весна 1927 года.

ГЛАВА ПЯТАЯ: Прощай, Родина!

В мае месяце занятия в школе окончились, и я перешел в девятый класс. Через год мне ничего не оставалось, как получить диплом учителя сельской школы, так как, по вине ленинской процентной нормы, мне, как сыну интеллигента, поступить в высшее учебное заведение было очень трудно. За этот год я сильно устал, похудел и побледнел. Мама решила повести меня к хорошему врачу, но в Москве она не знала к кому обратиться. Ее двоюродная сестра, Анна Маршак, бывшая замужем за братом жены Рыкова, пообещала устроить мне прием у доктора Левина, главного врача кремлевской больницы.

Несколькими годами позже, Сталин, найдя знаменитого писателя, Горького, политически слишком влиятельным и независимым, тайно его умертвил. Но по стране поползли нехорошие слухи. Тогда, дабы, отвести от себя всякое подозрение, тиран велел арестовать доктора Левина, у которого писатель лечился, обвинить его в отравлении Горького, судить и расстрелять.

Вот к этому самому доктору — еврею, милейшему человеку, и повела меня моя мать. После довольно долгого, и очень аккуратного, осмотра, доктор ей сказал:

— Знаете, сударыня, когда вы привели ко мне вашего сынка, я, взглянув на него подумал: "он такой худой и бледный, что у него я найду не одну серьезную болезнь". Теперь я вам скажу:

ваш сын совершенно здоров. Он устал. Повезите его на юг на черноморское побережье, и пусть он там купается в море и загорает. Питайте его хорошо.

— Я думала повезти его этим летом в Одессу, — отвечала мама.

— Ну и прекрасно! В Одессе есть чудесная рыба — скумбрия. Давайте ему ее есть.

Моя мать успокоилась, и мы вновь, как и в предыдущие годы, уехали в Одессу.

В этом году мы сняли дачу вместе с Альтерманами, еврейской, одесской семьей, на Большом Фонтане, и решили там оставаться до конца августа. Папа взял свой шестинедельный отпуск, и первого июня, отец, мать и я поехали в Одессу.

В 1927 году общее положение в стране стало вновь ухудшаться: сказывались первые сталинские мероприятия. В Москве, перед булочными и некоторыми другими магазинами, появились "хвосты". Незадолго до нашего отъезда на дачу, проходя по улице мимо одного из таких "хвостов", мы с мамой услыхали крик какой-то бабы: "Опять хлеба нету! Это все жиды проклятые! Они весь хлеб забрали, да в Кремле спрятали".

Мы все были рады, хотя бы на несколько недель, уехать на юг. Отец нам сказал, что его, вероятно, в этом году пошлют за границу, в Италию, хотя он предпочел бы оставаться еще один год в Москве, чтобы дать мне время окончить девятилетку. Мы с мамой ничего не возразили, но были, на этот счет, другого мнения.

Из Москвы в Одессу было сорок часов езды. Приехав, мы остановились, на пару дней, у тети Рикки. Уже свыше двух лет, как у нее проживали престарелые родители. Мы их нашли сильно подряхлевшими, в особенности дедушку. Сердце у него ослабело, и он больше не выходил из дому. Целые дни дедушка проводил перед своим столом, куря одну папиросу за другой, и раскладывая пасьянс. Бабушка была бодрее; она помогала тете по хозяйству, и регулярно, по субботам и праздникам, посещала одесскую синагогу, которую власти оставили открытой. Весть о нашей близкой поездке за границу их сильно огорчила. Моя мать, как могла, успокаивала своих родителей, объясняя им, что ничего еще не решено, и, что, во всяком случае, наше пребывание в Италии не продолжится больше года. Дня через два мы переехали на нанятую, на Большом Фонтане, дачу. Через пять недель отец уехал на службу в Москву.

Купание в море, загорание на солнце, прогулки в компании моих кузенов, кузин и друзей, ухаживание за Флорой, дочерью адвоката Небесова, все это занимало мое время, и оно летело быстро. Я много играл в крокет, и в этой дачной игре достиг довольно значительной степени совершенства, оказавшись, однажды, победителем на устроенном нами турнире. В августе погода начала портиться, но мы решили оставаться на даче до двадцать пятого числа этого месяца, а после погостить у тети Рикки, в Одессе, еще с неделю. В Москве, занятия в моей школе начинались пятнадцатого сентября.

19 августа в 9 часов утра мы по обыкновению отправились на пляж. Стоял холодный и ветренный день. Купаться было невозможно, и через час мы поднялись, чтобы вернуться на дачу. Не доходя еще до нее нам встретилась тетя Рикка, с распечатанной телеграммой в руке. Подойдя к нам, она молча протянула ее маме. Телеграмма была от отца, из Москвы: "Через десять дней уезжаем Италию выезжайте Москву первым поездом Моисей". Сегодня, в девять часов утра, у себя на одесской квартире, тетя получила, на имя мамы, эту телеграмму, испугалась, и распечатав ее, села в трамвай и приехала к нам на Большой Фонтан. Собрав наши пожитки, мы спешно оставили дачу, и к часу дня были уже в Одессе, в доме тети. Дядя пошел на вокзал, покупать билеты. Все были взволнованы, бабушка плакала.

— Мама, чего ты плачешь? — уговаривала ее моя мать, — ведь я уезжаю только на год.

Но бедная бабушка была безутешна:

— Знаю я, что значит — на год. Шутка-ли: в Италию! В такую даль. Ведь я так стара, и тебя, наверное, больше никогда не увижу.

Бедняжка! Она не ошиблась!

Дядя достал билеты в мягкий вагон поезда, отходящего в Москву в 16 часов. Мы наскоро пообедали, взяли извозчика, и отправились на вокзал. На прощание, бабушка, обливаясь слезами, дала нам на дорогу баночку, ею самой сваренного, розового варенья, а дедушка, стоя у окна, долго махал нам вслед рукой. Снова сорок часов езды, и утром, 21 августа, на Брянском вокзале, нас встретил отец. Все было готово к отъезду, паспорт взят, и 29 августа нам предстояло отправиться в далекий путь. Папа рассказал как он старался протянуть время, пока ему не заявили, что если он не возьмет теперь своего паспорта, то месяца через

два его все же пошлют за границу, но не в Геную, а в Варшаву. Папа взял паспорт.

Последняя неделя прошла быстро, и как бы в полусне. Мы с отцом пошли в московскую сберегательную кассу, и он положил, на свое имя, порядочную сумму, обусловив, что, в случае его смерти, я, его единственный сын, являюсь наследником этих денег.

В Москве стояли ясные, теплые и тихие дни конца лета. Утром, в канун отъезда, я отправился в Александровский сад, и там провел с час, любуясь Кремлем.

Наступило 29 августа. Наш поезд отходил с Варшавского вокзала ровно в 17 часов. Мы совершили последние сборы. Я взял с собой несколько учебников, чтобы иметь возможность, во время моего пребывания в Италии, повторять пройденные предметы. По русскому обычаю, прежде чем переступить порог, мы все присели на минуту. Носильщик, нанятый на вокзале, помог нам перенести чемоданы через площадь, и поставить их на перрон, в ожидании подачи поезда. Нас провожала небольшая группа родственников и знакомых. Среди них были: дядя Миша с тетей Аней и моим двоюродным братом, Женей; Маршак, двоюродная сестра моей матери, с мужем; Джанумов с дочерью... Елизавета Георгиевна плакала — ей очень хотелось уехать из СССР. Пришли Либманы, но без Соли. Он был на каком-то заседании, и опоздал. Подали поезд и мы сели в международный вагон. В это время, весь запыхавшись, прибежал Соля. Я вышел ему навстречу и мы обнялись, после чего я поспешил вернуться в вагон и стал у окна. Поезд тронулся. "Смотри, не сделайся в Италии фашистом!" — закричал мне Соля. Провожавшие нас засмеялись. Перрон, с людьми на нем, пополз назад. Замелькали железнодорожные строения, загрохотали вагоны на стрелках... Прощай Москва!

Наш вагон был спальным, международным. Пассажиров в нем ехало мало, и нам досталось четырехместное купе. В соседнем купе находились два папиных сослуживца по Экспортхлебу. Они были назначены в Варшавское Торгпредство. В другом купе ехала в Париж семья, состоящая из мужа, жены и дочери, девочки моих лет. Несколько дальше, ехали два японских дипломата, транзитом через СССР. Они направлялись в одну из западноевропейских стран. Вероятно, и в других вагонах имелось много свободных мест. В те времена еще не существовало Интуриста, и сообщение между СССР и другими странами было слабое.

Я уселся поудобней у окна, и стал смотреть на мелькающие

телеграфные столбы, и уходящие назад предместья Москвы. Скоро начались бесконечные леса. Стало смеркаться; зажглись огни. Прозвонил колокольчик, приглашая пассажиров в вагон-ресторан, ужинать. Отец повел нас туда. Мы выбрали уютный столик у огромного зеркального окна. Ужин оказался превосходным. Пока мы ели, поезд остановился на большой станции. Это была Вязьма. Двое железнодорожных рабочих трудились над чем-то у самого нашего окна. Мне стало немного стыдно: ведь, как никак, социалистическое государство, и вот, поди ты! Мы сидим в вагон-ресторане и ужинаем. Все здесь шикарно: ярко светит электричество, на столе маленькие вазочки с цветами, нам прислуживает внимательный кельнер, а за окном рабочие трудятся, и, вероятно, никогда им не сидеть за этим столиком. Но поезд вновь тронулся, и Вязьма исчезла позади, а с ней и все мои угрызения совести. Кончился ужин; мы вернулись в наше купе, и вскоре улеглись спать. Я устроился на верхней полке. Вагоны катились по рельсам и мерно постукивали. За окном, в темноте, проносились силуэты стройных сосен. Я уснул.

Проснулся я довольно рано, и моей первой мыслью было: мы едем за границу. Но вот, во мраке, замелькали редкие огоньки еще спящего города. Я поспешно соскочил с моей койки и прильнул к окну. Заскрипели буфера. Ярко освещенный перрон. Минск. Засуетились около поезда железнодорожники. К нашему вагону подошли двое в военных формах и беретах — чины пограничного ГПУ. Постояв минуты две, они поднялись к нам в вагон, и пошли по коридору, открывая все двери, зорко и подозрительно вглядываясь в полусумрак каждого купе. Поезд тронулся, и вскоре послышались их голоса: "Граждане, паспорта! Паспорта! Граждане, пожалуйте ваши паспорта!" Весь вагон проснулся, зажгли свет. Вновь прошли чины ГПУ по вагонам, теперь они отбирали у всех паспорта, и еще зорче вглядывались в лица, сверяя их с фотографиями. Тем временем начало светать. Клубы пара и дыма летели за окнами, цепляясь за ветви деревьев. Умывшись, мы сели завтракать, взятыми мамой в дорогу, несколькими бутербродами. Бежал поезд, летело время! Вновь и вновь прошли по вагонам агенты ГПУ, все время сохраняя на своих лицах все то же выражение крайней подозрительности. Было немного жутко. Справа, за окном, появилось большое, неуютное, деревянное здание, серогрязного цвета: станция Негорелое — советская пограничная таможня. Мы все вышли, таща с собой наш багаж. Утренний,

свежий, приятный воздух. Пахнет сосной и немного паровозным дымом. В таможенном здании душно; тускло светят электрические лампочки. Наш багаж осматривает какая-то женщина. Она любезна, но, с упорством педанта, роется во внутренностях наших чемоданов. Нашла мои учебники: "Учебные пособия вывозить из СССР запрещено, но, впрочем, вы, вероятно, скоро вернетесь. Можете их везти с собой. У нашего соседа по вагону нашли советский, юмористический журнал "Крокодил". Таможенный чиновник предупредил: "Поляки его не пропустят". На этом свете все имеет свой конец, даже советский таможенный осмотр, и вот мы вновь погрузились, со всеми нашими чемоданами в вагон. Снова пришли чины пограничного ГПУ. На этот раз они возвращали пассажирам их паспорта. Это происходило так: один из них держал в руках пачку паспортов, и показывал их пассажиру, один за другим, спрашивал: "Это ваш? Это ваш?".., а другой, в это время, внимательно глядел на вопрошаемого. Нужный паспорт всегда оказывался последним в пачке. Это был трюк, значение которого мне неизвестно. Наконец, мой отец, подвергнутый, как и все прочие, этой странной процедуре, получил свой паспорт, и чины ГПУ прошли далее. Застучали по рельсам вагоны, и серогрязная станция, Негорелое, уплыла назад, и стала прошлым.

Ехавший в Варшаву папин сослуживец по Экспортхлебу, уже не в первый раз совершавший это путешествие, посоветовал нам, если мы желаем увидать границу, глядеть в левое окошко. Я, буквально, прильнул к стеклу. Рядом со мной стояли мои родители, а у соседнего окна поместились муж, жена и дочь. Всем хотелось узреть этот последний пограничный пункт. Чтобы понять наше настроение надо помнить, что, в то время, весь мир делился на две неравные части, насмерть враждовавшие между собой: одна шестая земной суши — СССР, и остальные пять шестых. Мы приближались к демаркационной линии их разделяющей. Агенты ГПУ открыли двери нашего вагона и стали на его подножку. Показались деревянные, вероятно, наблюдательные, вышки. Поезд шел все медленнней и медленней, и наконец остановился перед небольшим белым зданием, с маленькой четырехгранной колонкой на крыше. На верхушке этой колонки виднелись скрещенные серп и молот. Впереди, на дороге, стояло нечто вроде арки. Я позже узнал, что это были ворота над железнодорожным путем. На одной из ее сторон было написано: "Коммунизм сотрет границы". А на другой стороне: "Привет рабочим запада". Чины ГПУ

соскочили с подножки вагона, и в тот момент, когда поезд вновь тронулся, отдали ему, по-военному честь, приложив три пальца к своим беретам. Поезд прошел под аркой. Рядом с ней стоял последний красноармеец-часовой. В руке он держал винтовку с привинченным к ней штыком. Теперь мы двигались со скоростью человеческого шага. За окном был пустырь. Виднелись наблюдательные вышки и колючая проволока. Это была нейтральная зона. Девочка, стоявшая у окна, воскликнула: "Кончено!" Родители ее немного смутились. Ползли минуты...

И вот за окном снова появилось такое же белое здание, с четырехгранной вышкой, но на ней виднелся, растопырив крылья, белый польский орел. Действительно: кончено.

"Господа, паспорта, паспорта! Господа, пожалуйста, предъявите ваши паспорта!" Как непривычно звучало слово: "господа". Два польских жандарма вошли в вагон, отбирая у всех пассажиров их документы. Говорили они по-русски, без всякого акцента, и я от них не слыхал ни одного польского слова. Снова остановка — последняя: советский поезд дальше не шел. Станция Столбцы. Надпись на фронтоне польская — латинскими буквами. Небольшой чистенький, даже изящный домик, с цветочными клумбами перед ним. Железная дорога проходила с двух его сторон: ширококолейная — советская, и узкоколейная — западноевропейская. Мы вновь взяли наш багаж, и с помощью носильщика, перенесли его на станцию. Польский таможенный осмотр оказался подстать советскому. У пассажира, везшего юмористический советский журнал "Крокодил", он был, несмотря на все просьбы и протесты, отобран. По окончанию довольно длинных таможенных формальностей, мы вышли через другие двери вокзала, и сели в вагон первого класса польского поезда. идущего в Варшаву. Пришли польские жандармы, и без всяких трюков вернули всем пассажирам проверенные и проштемпелеванные паспорта.

Поезд тронулся. Было утро, 30 августа 1927 года.

Прощай, Родина!

КОНЕЦ ВТОРОГО ТОМА.

ОГЛАВЛЕНИЕ